ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[6] 2013

16+

КАРЛО ЭМИЛИО ГАДДА

В РУБРИКЕ «ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА»

«В УСТЬЕ ГУДЗОНА С АЛЕКСЕЕМ ЦВЕТКОВЫМ»: ПЯТЬ ЭССЕ

Основан в 1955 году

[6]
2013

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Александр Попович *Чулок в сто петель.* Комедия абсурда. Перевод с сербского Ларисы Савельевой

36 Антония Поцци *Стихи разных лет.* Перевод с итальянского Петра Епифанова

44 Джоби Уоррик *Тройной агент.* Журналистское расследование. Перевод с английского Н. Н. (Окончание)

Из классики XX века

174 Карло Эмилио Гадда

175 Геннадий Федоров *Инженер слова, прекрасного на сказ и на слух*

181 Карло Эмилио Гадда *Рассказы.* Перевод с итальянского Г. Федорова

Статьи, эссе

211 Ольга Седакова *Ангелы и львы*

220 Игорь Клех *Золото басен*

Путешествие по книге

230 Григорий Рыскин *Дэвид Шилдс и его Manifesto*

В устье Гудзона с Алексеем Цветковым

241 *Пять эссе: Литература в академической роще. Объект под охраной. Место действия. Потерянный в переводе. Точка бифуркации*

Писатель путешествует

259 Григорий Стариковский *Мраморная крошка, или Итальянские каникулы*

БиблиофИЛ

272 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

275 *Среди книг* с Ольгой Пановой

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2013

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Б. В. Дубин

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

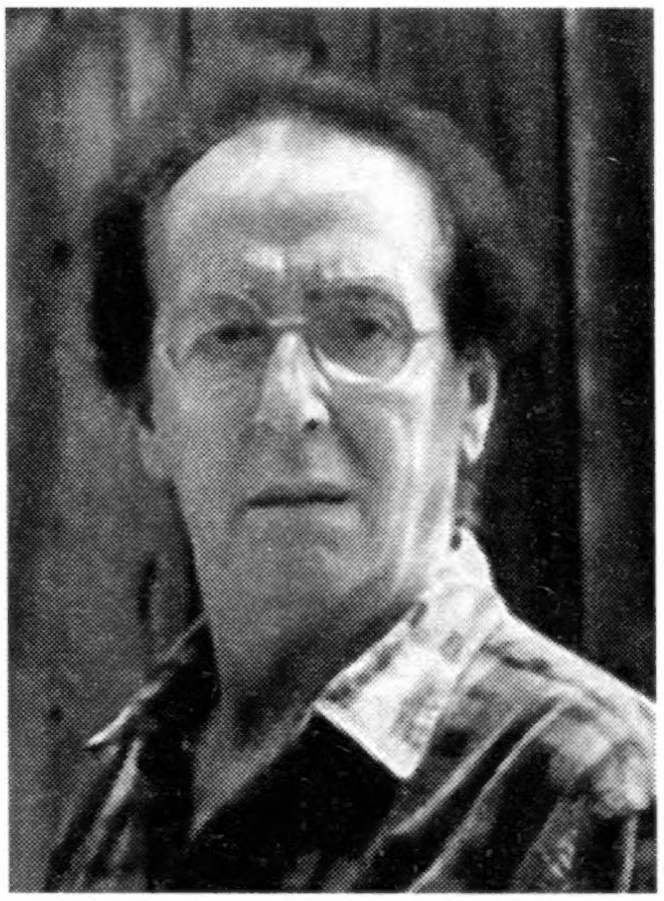
Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Александр Попович



Чулок в сто петель

Комедия абсурда

Перевод с сербского Ларисы Савельевой

Действующие лица

Веля и Агнесса
Драголюб
Флора Дворникович

Действие происходит то днем, то ночью.

In memoriam I

Темнота.

Письменный стол с огромным количеством ящиков. На столе телефон. Возле рампы, с краю, скамья для посетителей. На стенах лозунги: “Большая взятка уже не взятка”, “Не упусти своего!”, “Узы родства — святы”, “Все мы братья, но платит каждый за себя”, “Одно лечим, другое калечим”, “В себя, на себя, под себя!”, “Неизбежное примем как должное!”, “Нас остановит только

© Александар Поповић
© Лариса Савельева. Перевод, 2013

смерть!" За столом сидит Флора Дворникович. На скамье, обхватив голову руками, спит Драголюб.

Веля и Агнесса (*со скаткой через плечо, по-солдатски, входит и направляется прямо к Драголюбу*). Эй, дядя!

Флора. Что такое? С утра пораньше и уже гам!

Веля и А. Эй, дружище! (*Трясет Драголюба.*) Братец!

Флора. Если вы не прекратите шуметь, мы перестанем считать, и вы же останетесь ни с чем!

Веля и А. (*быстро подходит к столу*). А вы тоже хороши... весь вход завален, шею свернуть можно! Почему порядок не наведете?!

Флора. Вам бы лучше прикусить язык! Это такой же гражданин, как и вы!

Веля и А. Чего же он тогда корчится на лестнице?

Флора. Он сидит!

Веля и А. (*подходит и проверяет*). Корчится!

Флора. Сидит!

Веля и А. (*возвращается к столу*). Я видел собственными глазами, он там корчится.

Флора. Это не важно, что видели вы... важно то, что у меня здесь написано!

Веля и Агнесса наклоняется, чтобы прочитать, что написано, но Флора заслоняет рукой.

Он присел подождать, а его настигла смерть!

Веля и А. (*подходит к скамье и смотрит на Драголюба*). Ему можно позавидовать — блаженная смерть! Улыбается! (*Возвращается к столу.*) Или вы со мной просто шутите по вашему обыкновению? Он действительно мертв?

Флора. Тс! Наполовину... как сказал бы наш исполнитель: в гражданском смысле...

Веля и А. Ну, чего только не наслушаешься по этим вашим кабинетам! Если бы я вчера, не дай бог, польстился на ту рыбу в кафе, то и сам бы уже умер и не узнал бы, что существует гражданская смерть!

Флора. Не напрасно же говорят наши старики, раньше, чем суждено, не умрешь...

Веля и А. Но я как будто предчувствовал! Нас было семнадцать человек за стойкой, и, кроме меня, никто не добрался до дома... всех "скорая помощь" подбирала по дороге, на улице... рыба была тухлая...

Драголюб медленно встает со скамьи.

Флора. Тс!

Веля и А. (*испуганно*). Что за черт? Почему он встает?

Флора. Тс! (*Тихо.*) Через каждые сорок два дня он сам себе устраивает "поминки", боится, что мы его совсем забудем.

Флора встает. Сейчас она стоит между ними.

Все (*поют громко*). О, Сербия, милая мать, вечно будем тебя так звать. Милый край, милый дом, в сердце навсегда моем!

Драголюб садится и продолжает спать, будто ничего и не было.

Веля и А. (*задирает рукав*). Поглядите, я весь в мурашках!

Флора (*смотрит*). Какие мурашки? Это у вас диатез — ничего страшного, само пройдет. (*Возвращается к столу.*) Не следовало отрывать меня от работы из-за такой ерунды.

Веля. Ну, знаете, я тоже пришел не на него любоваться.

Флора. А зачем?

Веля. Собственно... хотел узнать, какой у вас сейчас ассортимент смертей... есть ли какая новая смерть на складе?

Флора. Из новинок... освоили производство только этой, гражданской... но в проекте есть еще несколько...

Веля. А вы и талончики выдаете?

Флора. Когда есть, выдаю.

Веля. Могу ли я через вас наверняка рассчитывать?

Флора. На исключения — нет, только если вы в списке.

Веля: Вот, не умеем мы нормально договариваться... по-человечески... и нам это еще выйдет боком... эта наша разобщенность! Неужели нельзя по-другому, а то ведь как рот откроем, так и облаем всех подряд.

Флора. Прекратите это краснобайство и подхалимаж. Я выдаю талончики в порядке очереди, а не по своим симпатиям. Если бы я так работала, меня бы давно вышвырнули со службы... Вы это и сами прекрасно знаете!

Веля. Не знаю, поверите ли вы моему слову?

Флора. Я на слово не верю и родной сестре. Работала тут одна, до меня, так куда она сгинула? Вот такие ее и погубили.

Веля. Э-э, я не позволю так о себе! Извините! Спросите любую из тех, кто со мной гулял, так сказать... Я никогда не подводил в решающий момент!

Флора. Видите, теперь вы и сами по-другому заговорили, как культурный человек, стоило только захотеть... Как вас зовут?

Веля. Веля и Агнесса.

Флора. А ваша жена пусть сама приходит... не упадет с нее корона! Не надо так многозначительно улыбаться, здесь это не пройдет. Талончики мы выдаем только лично, в руки, при предъявлении прописки. Пока мы этого не делали, было много разных злоупотреблений! И пусть принесет документы на петуха, если вы его прививали, а если нет, то тем хуже для вас... скрывать это от вас я не имею права...

Веля. Видно, что вы новенькая...

Флора. Почему?

Веля. Сразу перепутали цифры. Но не нужно из-за такого незначительного замечания сразу впадать в летаргию. Кроме того, тот, кто разлиновывал эти страницы, был просто пьян. Все у него вкривь и вкось. Поплюйте на ластик и сотрите то, что вписали ошибочно, никто и не заметит.

Флора. Чтобы не стирать второй раз, давайте я сначала запишу ваши данные. Ваше семейное положение?

Веля. Как сказать... скорее несемейное... не знаю, в ваших краях тоже так говорят — "на стороне"?

Флора. Кем же вам в таком случае приходится эта Агнесса?

Веля. Это моя святыня! Моя покойная мама! Ее имя я держу рядом со своим из уважения! Неужели вы не читали в газетах? Вот такой некролог был! Как же вы пропустили? (*Вынимает из кармана газету и протягивает Флоре.*) Пожалуйста, прочитайте, она это заслужила?

Флора. Нет у меня времени на чтение!

Веля. Можно не сейчас! Я же не сказал — немедленно! Или сов. секретно! (*Сует газету ей в руки.*) Возьмите, прочтете после обеда, когда приляжете на кушетку.

Флора берет и взглядом пробегает по странице.

Это внизу! Там написано: "В память о...", то, что обведено... это я чернилами обвел!

Флора и Веля и Агнесса (*она читает, он декламирует вслух вместе с ней*). Охваченный постигшим меня огромным горем... в связи с трагической смертью моей нежной и благородной мамы Агнессы-Аги (*она замолкает, он замолкает вместе с ней*).

Веля. Почему вы остановились? Читайте дальше.

Флора. Да вы это наизусть знаете!

Веля. А как же мне не знать!

Флора. Тогда продолжайте, пожалуйста... мне трудно читать, я в спешке позавчера забыла дома очки...

Веля. Хорошо... я тогда... в общем, без подготовки, только чтобы сделать вам приятное, но дома вы прочтите еще раз, как следует, и дайте другим прочитать, из рук в руки, я так себе это и представлял, распространить в народе...

Флора. Итак?

Веля. Если собьюсь, вы не рассердитесь? Ведь без музыки же. Начали?

Флора. Можно!

Веля. Охваченный постигшим меня огромным горем...

Драголюб (*медленно пробуждается и поднимается*). Дайте же и мне, пока я еще жив! (*Медленно садится.*)

Веля. В связи с трагической смертью моей благородной и нежной мамы Агнессы-Аги...

Драголюб (*медленно пробуждается и поднимается*). Засыпьте меня цветами и венками, еще при жизни (*медленно садится*).

Веля. ...шлю мою горячую благодарность профессору Авакумовичу... из первой хирургической клиники...

Драголюб (*медленно пробуждается и поднимается*). А когда умру, мне хватит и двух метров (*медленно садится*).

Веля. ...за сердечное участие и гуманность, которые он проявил в ходе мучительного и неудачного хирургического вмешательства!

Драголюб (*медленно пробуждается и поднимается*). Так как грех не входит через уста! (*Медленно садится.*)

Веля. ...во время болезни моей дорогой мамы Агнессы-Аги!..

Драголюб (*встает быстрее*). Не грех есть?! (*Садится.*)

Веля. ...а также медицинской сестре Этелке, которая была рядом с покойной и облегчала ее ужасные страдания!

Драголюб (*встает быстрее*). Ибо и пальцы на руке не все одинаковы! (*Садится.*)

Веля. ...также... благодарю всех родных и друзей, которые в письменной форме выразили мне самое искреннее сочувствие!..

Драголюб (*встает быстрее*). А потому! Раз она мать, моя родина, то пусть не считает куски, когда дает!

Веля. ...или лично проводили ее до последнего пристанища?

Драголюб. Ибо все мы будем там! Только одни раньше, другие позже!

Веля. ...и возложили многочисленные венки и тем самым разделили со мной невыразимую боль и страдание!

Драголюб. О! Страдание!

Веля и Агнесса. Флора и Драголюб (*поют вместе*). Дайте жить мне как в раю, где блаженство век продлю. Здесь я буду, здесь всегда, проводить свои года.

Свет.

Как Веля и Агнесса и некий Драголюб крутятся вокруг одной дамы

Свет.

Драго. (*подходит к столу*). Какой это участок?

Веля. По-старому, третий, по-новому — восьмой, хотя здесь есть шесть восьмых: восьмой-новый, восьмой-старый, восьмой-левый, восьмой-правый, восьмой-восьмой и восьмой-не-восьмой.

Драго. Может я не туда попал?

Флора. Зависит, что вы ищете.

Драго. Мне сказали, что где-то здесь "дают" талончики.

Веля. Если где-то и правда "дают", позовите и меня.

Флора. Мы ничего не решаем! Только выдаем талоны!

Драго. Тогда я в точку попал! Блуждаю по этому лабиринту уже три дня и никак не могу попасть в вашу дверь. (*Поднимает ногу.*) Смотрите, придется новые набойки делать... Выдайте мне один талончик!

Флора. Вы опоздали!

Драго. Так еще даже не рассвело!

Флора. Поздно!

Драго. Так я же был здесь еще вчера вечером, перед дверью, но мне не хотелось вас беспокоить... я подумал, может, вы уже заснули, чего вас будить!

Флора. Талонов больше нет, ни для кого!

Драго. Когда же вы их выдали!

Флора. Что вы меня здесь проверяете, как будто мы в загсе!

Веля. Сказано же вам, нет талонов, так о чем тут говорить?

Флора. Вот, человек недавно мать похоронил, но мы и ему не дали!

Веля (*Флоре*). Совсем не обязательно повсюду об этом звонить.

Драго. Значит, и вы по тому же вопросу?!

Веля. У меня есть враги... я не хотел бы, чтобы об этом стало известно, пока не получу решения на руки...

Флора. В этом смысле еще никому никогда не удавалось себя обезопасить.

Драго. Всегда найдется кто-то, кто подгадит...

Веля. Если бы я не зашел так далеко, я бы отступил... (*Драголюбу.*) Это к вам относится...

Драго (*Флоре*). И вы того же мнения?

Флора. Зарплату мне платят не за это.

Драго. Так что же вы мне раньше-то на это не намекнули, как-нибудь так, чтобы и вы, и я довольны остались! А так... теперь я ни там ни здесь... ужинать мне рано, еще не хочется в постель... а закусывать поздно, испорчу обед... (*Флоре.*) Что вы мне посоветуете?

Веля. Бросьте темные делишки!

Драго. Это ваше личное мнение, а что слышно по официальной линии? (*Флоре.*) Вы все молчите? Еще не пора обнародовать? Да сколько же эти ваши решения лежат в ящиках? И ни слова от вас? Почему вы так неприступны? Из вас что, клещами нужно каждое слово тянуть?

Веля. Долго вы будете женщине морочить голову?

Драго. И что мне теперь делать? Прилично ли в мои годы таскаться по кинотеатрам?

Веля. Это наша трагедия! То, что мы так безответственно относимся к событиям, которые сейчас встречаются на каждом шагу, куда ни глянь!

Драго. Ах, какой фильм! Не знаю, может вы уже смотрели? "Несбывшаяся любовь"? Весьма поучительно. Такое ни одна женщина вашего уровня не должна пропустить. Что скажете?

Веля. Что она может сказать на такую наглость?

Драго. Вы не раскаетесь!

Флора. Раскаюсь не раскаюсь, мои лучшие годы прошли впустую! Согласитесь и сами — раз я не ходила в свое время, что ж сейчас-то!

Драго. Вы совсем не так стары, как пытаетесь представить.

Флора. Сколько бы вы мне дали?

Веля. Сказать вам, сколько вам лет... самое большее двадцать восемь!

Драго. Ну, это он загнул! Я даже из одного стихотворения вспомнил: "Не верь тому, кто льстит вот так, ведь сердце у него — наждак!"...

Флора. А вы что скажете?

Драго. Вам гораздо больше... но пусть меня перережут в самом тонком месте, если вы хоть немного старше двадцати трех!

Флора. Ох, где вы мои двадцать три года!

Веля. Не надо, не надо так скромничать, он этого ничем не заслужил! Вы и так еще вполне в цене!

Драго. Значит, мы договорились, я займусь билетами?

Флора. Не спешите... мне не хотелось бы, чтобы вы потом по всему городу трубили, что Флора Дворникович заставила вас потратиться... зря...

Драго. Ну, если вы стесняетесь общественного мнения, можно взять такси со шторками.

Флора. Хватит того, что учетчицы из отдела снабжения трепали мое имя из-за того, что у меня трусики такого же сиреневого цвета, как ряса у патриарха.

Драго. Я так и предполагал, что дело в этом, но вы знаете, почем там ложи на балконе? Эти, что в углублении? Самые лучшие для парочек, которые не хотят, чтобы их увидели!

Флора. Я все это понимаю, но не могу же я оставить свое рабочее место... у нас с этим очень строго.

Веля. Слышите, вы! Если до меня дойдет, что вы Флоре Дворникович испортили репутацию, держитесь! Залеплю вам вот такую оплеуху!

Драго. Так это ваши последние слова? Чтобы мне зря не тратить время!

Флора. Практически да, если только на днях не будет какого-нибудь официального праздника?

Драго. Раз я уже столько прождал, потерплю, пока вы перелистаете этот ваш календарь...

Веля. Отлепитесь вы наконец от стола? Вам же по-хорошему сказали! Или с вами надо по-другому? Не отвечаете и продолжаете это бесстыдство! Вы оккупировали все учреждение, из-за вас перерыли весь архив за сто лет!

Драго. Все, сейчас, кончаю... не нервничайте, пусть только еще раз проверит, на какой день недели у них приходится следующая перестановка столов и перенос картотеки!

Флора. Вы такой же везучий, как и толстый!

Драго (*Веле и Агнессе*). Видите, а если бы я вас послушался, то так бы и ушел ни с чем!

Веля. Э-э, с вас причитается, если ваше дело решено положительно!

Драго. Спокойно, я еще не услышал, что там написано.

Флора. В вашем распоряжении четыре дня, в худшем случае.

Веля. Где это сказано? Я тут у себя никак не найду, что это за официальный праздник в пятницу.

Флора. Может, у вас по ошибке не пропечатано, но у меня совершенно ясно обозначено: “Грунтовка и окраска деревянных предметов”.

Драго. Так я побегу брать билеты, пока кассирша не пустила их из-под полы?

Флора. Даже если вы их и возьмете, я не готова...

Драго. А перенести на другой день? Например, на среду вечером?

Флора. Нужно посчитать... какой сейчас у нас месяц?

Веля. Май.

Флора. Если малярам в мае до обеда выдадим аванс, мы будем иметь май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь... они, значит, вряд ли появятся с инструментами раньше осени.

Драго. Ну, к этому времени уж наверняка подойдет ваша очередь к парикмахеру?

Флора. Трамваи переполнены, но, если я протиснусь и пройду на переднюю площадку... до двух я к нему успею... поставят меня на вторник утром... я постоянный клиент, на чай даю щедро, суну побольше, чтобы записаться на день накануне праздника!

Драго. Столько могу и я подождать здесь на сухом пайке! Как будто я в походе!

Флора. Боюсь, вам будет очень скучно без спутников?

Драго (*тихо Флоре*). А разве этот не будет здесь ночевать?

Флора (*тихо Драголюбу*). Не заставляйте меня у него спрашивать... О! Он подумает, что я ему навязываюсь!

Драго (*переключается на Велю и Агнессу*). Итак, дружище, остались мы с тобой при своих интересах?

Веля (*очнулся от дремоты*). Не надо нас смешивать! Я не знаю, кто вы такой и что вы вчера вечером заказывали в кафе! А то потом окажется, что мы сидели в одной компании, и меня будут хватать за глотку за ваши долги.

Драго. Хорошо, если вы не знаете меня, то это-то официальное лицо вам известно?

Веля (*пристально смотрит на Флору*). Только с чужих слов.

Драго. И что говорят за ее спиной здешние дамы?

Веля. Говорят: хозяйка каких мало! Из одного цыпленка может сделать семь блюд, и хватит на две недели, и ей, и ее кавалеру... вот он, совсем отощал, пальто на нем висит как на вешалке, семь потов с него сошло, еще вопрос, сколько он протянет?

Драго. Что с ним?

Веля. Катар, причем считают, что на нервной почве, говорят... жирного он никогда не ел... его доконали шесть ревизий за три дня! А у него, бедняги, цифры никак не сходятся... днем получается избыток, а ночью — недостача. Весь высох... питается, должно быть, неправильно?

Драго. Или ему вреден этот суровый климат?

Флора (*которая до этого была в стороне*). Так вы двое что-нибудь решили?

Драго. Я его зову кутнуть, а он не хочет, говорит, что у него печальный опыт общения с официантами.

Веля. В сущности, я еще обдумываю... Препятствием может быть только вариант холодного ужина... если нет горячего, так, считай, и не ел ничего.

Драго. Вы его слышите? Он бы хотел сразу на два стула усесться, да, не такой он наивный! (*К Веле и Агнессе.*) Слушайте, вы, можно ужин и пропустить, если имеешь в виду сэкономить кое-что на новый плащ! Живот не стеклянный, ничего не видно. Вам же самому лучше: меньше ешьте, а лучше одевайтесь. Приближаются осенние дни, не обвиняйте потом правящий режим, когда все оденутся в новые пальто, а вы будете дрожать на ветру в пиджаке!

Веля. Теперь я и сам не знаю, кого слушать! Вы тут проповедуете одно, а недавно, уж не помню кто, говорил мне, причем публично, перед людьми — нельзя смотреть на все только через деньги!

Флора. Веля и Агнесса!

Веля и Агнесса (*быстро подходит к столу*). Наконец-то и моя очередь подошла!

Флора улыбается.

Что теперь?

Флора. Ничего, ничего... Мои подруги из коммерческого просто хотели посмотреть, какой вы на вид.

Веля и Агнесса приосанивается.

Пока что вы больше не нужны! Идите!

Веля и Агнесса сникает и возвращается к Драголюбу.

Драго. Замерзнуть ночью вы не замерзнете... я вижу у вас есть чем прикрыться.

Веля. С тех пор как я принял магазин, я без этого из дома не выхожу... когда бы за мной ни пришли, я знаю, что делать, сразу хватаю махорку и одеяло.

Драго. Вам, как и мне, повезло, они за вами следят! Поэтому я вам и говорю, что надо заняться гардеробом. Хорошая одежда поднимает авторитет... например, пиджак должен быть двубортным, и пусть портной не жалеет материала, когда будет кроить лацканы! И карманы с клапанами! Тогда увидите, как вас все будут уважать!

Веля. Так-так-так! А это не связано с большими расходами?

Драго. Если вы сегодня останетесь здесь ночевать, мы сможем посчитать, на сколько это потянет.

Веля. И я так думаю... это намного лучше, чем мусолить карты.

Драго. Значит, вы остаетесь здесь еще на одну ночь? (*Веля и Агнесса кивает головой. Драголюб Флоре.*) Здесь все в порядке, а вы теперь поспешите к парикмахеру, чтобы он потом не сделал вам прическу тяп-ляп!

Флора. Я не уйду, пока вы здесь не устроитесь. Сначала о вас позабочусь, чтобы потом не думать об этом... (*Роется в столе.*) Ну, с вас причитается, повезло. Лежит со вчерашнего вечера! Ну и понаписали! Без папки и завязок два с половиной килограмма будет... У меня рука заболела перелистывать. (*Сует что-то Драголюбу в руку.*) А вы думаете, мне кто-нибудь сказал "спасибо"?

Веля. Так это же талончик!

Флора (*Драголюбу*). Вот вам лучшее доказательство, что никогда и никому не следует идти навстречу, если потом не хотите оказаться бог знает кем!

Веля. Вас же никто не заставлял давать талон без очереди?

Драго. И это в благодарность, что она на нас целый день потратила?!

Веля. Но ведь была моя очередь, я имел преимущество, я пришел раньше... У меня горе... мама умерла... могла бы мне дать, в утешение...

Драго. Как вам не стыдно? Сейчас, когда вам нужно утешение, вы вспомнили Флору Дворникович!

Флора. Что же вы раньше не вспоминали о Флоре Дворникович, тогда, когда устраивали гала-вечеринки бог знает для кого?

Драго. Где сейчас те, кто за ваш счет обжирался и лакал вино?

Флора. Пусть теперь они вас утешают! А я для вас всегда — и тогда, и теперь — всего лишь официальное лицо, не более того!

Веля. Я не ищу вашей благосклонности, но не будьте так неприступны, скажите, кто был первым в очереди?

Флора. Не мое это дело думать о том, кто когда появился на свет. Сами между собой разбирайтесь! Как бы я справлялась со своей работой, если бы мне пришлось еще и данные о вас собирать?

Веля. Вот наша общая беда! То, что мы людей по одежке оцениваем!

Флора. Для меня важнее всего, чтобы никто меня не упрекнул, что я что-то припрятываю для своих родственников и ближайших друзей. Впрочем, я не обязана перед вами отчитываться, и вообще, мне некогда!

Драго. Пожалуйста, пожалуйста! Это совсем не так уж важно.

Флора. Может, еще когда-нибудь жизнь нас сведет?

Веля. Только тогда не убегайте от меня на другую сторону улицы!

Драго. Неужели Флора Дворникович кажется вам похожей на какую-то дешевку?

Флора. Сядем где-нибудь и наговоримся досыта обо всем...

Драго. Но только при одном условии! Не бежать в сортир в тот момент, когда подходит официант со счетом! Это нужно делать или до или после!

Веля. Хорошо, только не подумайте, что я хочу отвертеться, но имейте в виду, что с женщинами у меня так заведено — выпить, пожалуйста, но остальное — ни-ни! Уж так я привык — а то они как тяпнут на голодный желудок, так сразу и готовы, как индюшки становятся, делай с ними что хочешь.

Флора. Итак, договорились?

Драго. После воскресенья...

Веля и Агнесса. Флора и Драголюб (*вместе*). ...в один из дней, не важно в какой...

Флора. Значит — сказано?

Веля. Сделано!

Флора. Сказано?

Драго. Сделано!

Флора быстро выходит.

Веля (*за Флорой идет к выходу и Драголюб*). Куда же вы? Ведь назначено заседание.

Драго. Одними заседаниями жив не будешь, есть дела поважнее!

Веля. Разве вы не обещали, что обязательно подождете?

Драго. Обещал? А, да... да... Но если бы я в своей жизни выполнял все обещания, которые давал, меня бы уж давно в живых не было! (*Уходит.*)

Веля (*быстро идет за ним и хватает его за галстук*). А вы не думаете, что я в подходящий момент могу все это использовать против вас?

Свет гаснет.

In memoriam II

Темнота.

Драголюб и Веля и Агнесса (*входят с другой стороны, встают в середине сцены и поют*). Ой, Сербия, милая мать, всегда буду тебя так звать, Милый край, милый дом, в сердце навсегда моем! (*Оба быстро двигаются к столу. Приветствуют друг друга по-разному, раскланиваются, крестятся, падают на колени.*)

Драго (*быстро отходит от стола и поворачивается к залу*). Теперь вспомнил! На вагон воды у меня шло три вагона сахарного песка... эксперты потом установили, что я взял сладких денег примерно около тринадцати с половиной миллионов, но я не записывал чистый результат! (Возвращается к столу).

Веля (*выходит к рампе*). Эх, мне бы сейчас нынешний ум и былую молодость, я бы не дрожал при приходе официальных лиц и инспекций! (*Возвращается к столу.*)

Драго (*выходит к рампе*). И все через веревку... один конец засунут в мешок до дна, другой опущен в бак с водой... к утру сахарный песок впитывает всю воду из бочки... нынче ребята этого не умеют, профаны! А в бакалейной торговле самое важное — уметь вертеться! (*Возвращается к столу.*)

Веля (*выходит к рампе*). Пропали мы, говорю, папа! Мы ведь насекомых не морили еще с весны. (*Возвращается к столу.*)

Драго (*выходит к рампе*). И я никогда не в убытке, выливаю соус, требуху опускаю в тазик! (*Возвращается к столу.*)

Веля (*выходит к рампе*). Переворачиваю ящик, забираюсь на него, и что же я вижу! Муравьи так и кишат... все черно от них! (*Возвращается к столу.*)

Драго (*выходит к рампе*). На литр воды две столовые ложки уксуса... вымочить... (*Возвращается к столу.*)

Веля (*выходит к рампе*). Ну я и струхнул! Машу щеткой!.. повалил все банки со шкафа, но все же успел смахнуть пыль с перекладин, а они уж в дверях! И прямо к окну, к карнизам, пробуют пальцами, проверяют, есть ли пыль! (*Возвращается к столу.*)

Драго (*выходит к рампе*). Только на одну ночь... Вода с уксусом вытягивает всю вонь... (*Возвращается к столу.*)

Веля (*выходит к рампе*). Не можем же мы весь дом вверх дном перевернуть из-за этих сраных местных органов власти! (*Возвращается к столу.*)

Драго (*выходит к рампе*). Пальчики оближешь! Еще вкуснее, чем свежие, потому что пока ешь, не грызет мысль, сколько это стоит! (*Возвращается к столу.*)

Веля (*выходит к рампе*). Пусть только это кончится, а уж потом мы по-другому поговорим, вырвалось у меня! Ну, думаю, что? Чего боюсь — остаться без ярма... Будто мне орден дадут... Черта с два! (*Возвращается к столу.*)

Драго (*выходит к рампе*). И еще один плюс — все-таки не выбросил, хотя уже почти распрощался с ним! Только нужен острый ножик, чтобы как следует всю плесень сверху соскрести... замотаешь хлеб в мокрую тряпку и сунешь в духовку... любо-дорого потом, когда разогреется — просто слюнки текут... (*Возвращается к столу.*)

Веля (*выходит к рампе*). Моя покойная жена тоже не хотела терпеть такой кавардак ни в комнате, ни на кухне. (*Возвращается к столу.*)

Драго (*выходит к рампе*). Только за ушами трещит! А надираются до чертиков! Бутылки хватают с полок, никого даже не спрашивают... иной раз по ошибке схватят уксус, да и вылакают, даже не заметят!

Веля (*выходит к рампе, стоит рядом*). Ладно, будь это еще хоть какая-никакая квартира, другое дело... А то ведь кладовка и сарай, ни солнца ни луны не видать!

Драго (*как бы для себя*). Ага... ртутная мазь и шпанские мушки...

Веля. Только керосином спасались! Но — хитрили, хитрили...

Вместе. ...и дохитрились!

Веля. Ну, ладно, за наше здоровье!

Вместе. Дайте жить мне как в раю, где блаженства век продлю. Здесь я буду, здесь всегда, проводить свои года. (*Медленно уходят.*)

Свет.

По ту сторону замка

Свет.

Драго (*влетает с другой стороны, как будто ему поддали под зад*). Вокруг да около и в маленькую дверку! (*Оглядывается вокруг.*) Неужели все еще по средам макароны с повидлом, а по субботам — баня? (*Оглядывается вокруг.*). В одну дверь выпустят, в другую впустят.

С другой стороны влетает Веля и Агнесса, как будто ему под зад поддали, и попадает в объятия Драголюба.

Ох, зять-зятек! Прямо как заколдованный круг какой-то, опять мы здесь оказались!

Веля. Уж где оказались, там и оказались... Считая от сегодняшнего дня, через шесть недель все будет в порядке...

Драго. То же самое и мне на входе сказали... Похоже, они всем одно и то же говорят...

Драголюб и Веля и Агнесса (*вместе*). Теперь у вас будет достаточно времени подумать обо всем...

Веля. С какого края начнем?

Драго. Вынимай блокнот, я продиктую...

Веля. А можно одновременно... сделаем два дела одним махом... Загляни им в душу, Драголюб, загляни! Боюсь я, как бы наши жены в первый же день не вывесили красный фонарь... (*Вынимает блокнот.*) ...Мне и не жалко, но хотя бы не в первый вечер, пусть хоть простыни остынут от моего тепла...

Драго. Не верю я им, зять... сменят постельное белье...

Веля. Тут ждать долго не придется, правильно... во всем умном они отстают, а здесь будут первыми...

Драго. Давай пиши, хоть немного забудем об этих ужасах...

Веля. Поехали!

Драго. Пиши! Три метра хорошей ткани, шевиота, по шесть с половиной тысяч!

Веля. Трижды шесть — восемнадцать... и там три раза по пол, это...

Драго. Два метра шелкового сатина на подкладку... по тысяче!!!

Веля. Два пишу, три в уме...

Драго. Метр холстины на карманы и пояс... шесть сотен...

Веля. От пяти семь нельзя... занимаем один...

Драго. На лацканы бортовка... это... динаров восемьсот за метр длины... погоди... тут ширина семьдесят, не пиши, значит, хватит тебе и три четверти, записывай...

Веля. Девять в восьми ноль раз, пишу ноль!

Драго. Ничего я не забыл? Нет! Еще на пуговицы, молнию и прочее, теперь считай, а я загляну... (*Открывает подряд все ящики стола и заглядывает в них.*)

Веля. Ноль, ноль, ноль... два, два... два и один — три... три, три, три и два это пять... пять! Это будет одиннадцать на двадцать пять... Смотри, Драголюб, смотри! Не спи! Одиножды пять будет пять... а одиножды два будет два...

Драго. Никого нет, из столовой всю крышу видно.

Веля. Теперь опять на один... одиножды пять опять пять... и одиножды два опять будет два...

Драго. Повытаскали доски, чтобы ими топить...

Веля. Тут у меня туго... со сложением.

Драго. Когда больше нечем было топить, они через конфорки нассали в печку и удрали.

Веля. Это всего, всего, всего... две сотни и семьдесят пять... Здорово они нам насчитали...

Драго. Но мы не съели одиннадцать штук! Я отмечал на скатерти, одиннадцати не было!

Веля. Видал, каковы! Других поучают, а сами жульничают! Откуда по двадцать пять, когда они сроду не были дороже, чем по двадцать два?

Драго. Если тебя кто услышит — обсмеют... ты не в курсе... так, как ты говоришь, действительно было, но когда? Сейчас по новым правилам.

Веля. С каких пор?

Драго. С послезавтра, притом что с позавчера они применяются на практике.

Веля. Это я отвергаю... я вычту... Знаем мы, как это делается. Я их научу, если они сами до сих пор не научились. Где у них плакаты, почему не вывесили?

Драго. Вывесили, зять, вывесили... просто это ты не в курсе... вот в октябре будет два года как ты ничего не читаешь, кроме похоронных объявлений... оглянись вокруг!

Веля (*читает со стен*). "Большая взятка — уже не взятка!"

Драго. “Не упусти своего!”

Веля (*читает со стен*). “Узы родства — святы!”

Драго (*читает со стен*). “Все мы братья, но платит каждый за себя!”

Веля (*читает со стен*). “В себя, на себя, под себя!”

Драго (*читает со стен*). “Неизбежное примем как должное!”

Веля (*читает со стен*). “Нас остановит только смерть!”

Драго. “Одно лечим, другое калечим!” Ты все это выразил в баллах?

Веля. Я — нет!

Драго. Довольно легкомысленно с твоей стороны, как бы нам это не аукнулось.

Веля. Если мы будем полагаться на их добрую волю, наверняка пропадем.

Драго. Успокойся, зять, успокойся.

Веля. Такое и до нас кое-кому удавалось. Я от многих слышал. Тс!

Озираются и на цыпочках отходят в угол сцены, поворачиваются спиной и страстно шепчутся, бормочут что-то неразборчивое, потом поворачиваются лицом к залу и продолжают.

Драго (*тихо, как бы про себя*). Мы не знаем ни сколько будет дважды два... куда нам дуракам...

Веля (*тихо, как бы про себя*). Мы очень наивны... любой нас одурачит...

Драго (*тихо, как бы про себя*). И неграмотны... без образования... нам только коз пасти...

Веля (*тихо, как бы про себя*). С нами все как кошка с мышкой...

Драго (*тихо, как бы про себя*). Простодушные и глупые, как индюки...

Веля (*меняет тон*). Когда будем отдавать белье в стирку... в трусы записку, а трусы в газетку...

Драго. Хорошо бы, зять, если бы только не ваш дворник... он мне очень подозрителен...

Веля. Почему, Драголюб...

Драго. Когда мы тащим корзины с рынка, он всегда заглядывает... сам как бы отворачивается, а через плечо подглядывает — прямо в нашу кладовку! Он все про всех знает!

Веля. Пусть знает, все что хочет, но он не может и пикнуть, он у меня вот где! Ему слаще мои чаевые, чем три зарплаты, которые он получает официально!

Драголюб и Веля и Агнесса (*поют дуэтом*). Ой, Сербия, милая мать, всегда буду тебя так звать, Милый край мой, милый мой дом, в сердце навечно моем!

Веля. Ай, как быстро пролетело шесть недель!

Драго. Да, и я удивляюсь! День за днем, день за днем, вот и еще годик спихнули... а записочку-то не послали?!?

Веля. Давай снимем трусы и запакуем!

Драго. Э нет, хватит одних твоих.

Веля. Думаешь?

Драго. Я уверен, зять! Когда я был у тебя в гостях...

Веля. На маминых поминках?

Драго. Да нет! Когда ты свинью заколол!.. Я посмотрел, как ты потом снимал с себя засаленную одежду... знаешь, зять... это твое исподнее, его никто бы не согласился даже палкой потрогать...

Веля. Эх, Драголюб, очернил ты меня перед властями! А мы ведь другое обещали друг другу!

Драго. Вот те крест! Неправда, Веля!.. и Агнесса! Не видать мне счастья, если я не говорил для протокола все в твою пользу!

Веля. Ладно, ладно, Драголюб! Ничего, ничего, родственничек, дорогой... пусть слышат... пусть знают... что и между родней бывают свои счеты... Это столько стоит, а то столько... и каждый пусть рассчитывает на свой кошелек... Вот и ты теперь выбирай! Решай, будем мы посылать записку?

Драго. Кому?

Веля. Кому же еще, как не кладовщику? (*Тихо.*) Чтобы уничтожил дубликаты накладных.

Драго. Знаю, но, если потянут свекровь завхоза, будет скандал!

Веля. Давай и ей, пока не поздно, черканем несколько слов... Пусть она просто говорит, что у нее в то время был нервный срыв... например, потому что он ей подложил подлянку как раз в тот момент, когда она об этом и не думала... снюхался с другой... а она будто бы сразу не смогла найти ему замену... и это ее будто бы изнутри грызло... Попросту говоря, из-за личных переживаний она не помнила даже, что вчера и позавчера на ужин ела, а уж как ей было упомнить номера всех этих заказов!

Драго. Это еще так и сяк, но я боюсь, не следит ли уже кто-нибудь за свекром бухгалтера... у того котелок хорошо варит?!

Веля. Мне самому не нравится, что он ввязался в строительство двухэтажного дома... это не так-то легко опровергнуть... разве что написать контролеру, чтобы послал вечером сноху к техническому...

Драго. Он на нее и так глаз положил...

Веля. Если она пойдет ему навстречу, а он ей... надо только нажать на ночного сторожа, чтобы тот не лез...

Драго. И они ничего не смогут!

Веля. Он не считал, сколько было листов кровельного железа на верхних полках — вот так!

Драго. Ненормальный, как его можно обвинить! Если он не следит даже за собственной женой и детьми, что с него спросишь?.. Не уйти ему от принудительных работ, а мы — только условно, за недостатком доказательств, что мы украли... Ловко ты все рассчитал, зятек! Молодец!

Веля. Я всегда таким был... ты меня знаешь... я всегда таким был, не могу себе позволить остаться без запасов, чуть пошло дело в минус, я сам не свой! В кладовке у меня всегда всего полно! Сам видел!

Драго. Значит, ты свою задницу — в сторону, а я остаюсь под прицелом?

Веля. Каждый заботится прежде всего о себе! Впрочем, послушаем! Что ты предлагаешь?

Драго. Главное — мне выпутаться... это всем будет выгодно... Тихо, сейчас я говорю!.. Не нарушай регламент! Если меня во вторник утром отпустят, хватаю такси и к одиннадцати я уже в филиале!

Веля. Важно успеть до полудня депонировать убытки!

Драго. Когда я покрою погашение долга, у меня будут развязаны руки... Я раздую статьи и в сальдо покажу прибыль — огромную! Тогда можно взять краткосрочные кредиты, а там уж все пойдет само собой!

Веля. Но до двух ты должен успеть в кассу с чеком!

Драго. Я им только скажу: “Поставьте мне здесь внизу круглую печать”, а они закудахчут: “Извините, все ваше уже ушло на депозит, наложен административный арест, ваша статья погашается... а со счета на счет мы не можем перевести...”

Веля. “Не требуйте, чтобы мы шли ради вас на финансовые нарушения, мы не имеем права” — у них на все один ответ!

Драго. А я им шлепну чек под нос! Да как рявкну: “Мать вашу так, бездельники! А это что? Это оно и есть, что вы, не

видите? Сходите к глазному, пусть вам очки пропишут! Если вы способны выполнять работу, за которую вам платят, работайте! Если нет, берите шляпу — и до свидания! Вон! Катитесь! Убирайтесь!”

Веля. Проваливайте!

Драго. К черту!

Веля и Драго (*поют*). Дайте жить мне как в раю, где блаженство век продлю. Здесь я буду, здесь всегда, проводить свои года.

Драго. Ну, я вам всем покажу! Ты меня еще не знаешь! Тебя обмануло то, что я так тихо вел себя, когда ты и твоя мамаша моего ребенка угробили!

Веля. Не бери грех на душу, дорогой Драголюб! Ошибаешься! Напрасно ты расправился с моей мамой!

Драго. У твоей старой ведьмы... у этой старой ведьмы было сто болезней! Сто болезней! И еще язва двенадцатиперстной кишки... Никто не знает, отчего она в ящик сыграла, может и не в моем кулаке дело! И мы уже с этим однажды разобрались... что было, то было...

Веля. Знаю, но не надо чернить память о моей маме... Еще недавно... как будто вчера это было... как сейчас ее вижу... в этой нашей комнатенке, ее лицо... когда мы жили... напротив живодерни. Она, бывало, ощипывает индюшку и все гладит ее по голове, и говорит ей моя покойная мама: “Поцелуй, Лепосава, ножку! Ради своего Вели! Ему вкуснее есть будет, если поцелуешь!” Я это говорю тебе не потому, что Лепосава как никак твоя родня... да будет земля ей пухом!.. Вот такие слезы катились у нее по лицу! Попку целует! Грудку целует! Крылышки! И кожицу! Целует, целует! Целует и слезы льет!

Драго. Но ты-то, зять, просто прорва какая-то! Как только в тебя влезает целая индюшка?

Веля. И уж так хорошо они с моей мамой жили! Ни слова плохого между ними, знаешь, как это бывает у некоторых, загрызть друг друга готовы! И почему твоя Лепосава навек сомкнула глаза, мне и по сей день не ясно!

Драго. С голода умерла! Потому что в семью к жмотам попала! Но мы об этом громко говорить не будем... мы свои люди!

Веля. Погоди, погоди, не горячись... Если ты на меня рассчитываешь в смысле дать в лапу, то у меня с деньгами совсем плохо, от меня пользы мало...

Драго. Кому ты врешь, скупердяй! У тебя — нету? А на какие же деньги ты тогда даешь такие некрологи в газетах?

Веля. Это просто камуфляж, Драголюб! Просто, чтобы создать видимость, чтобы люди не удивлялись: "Где этот столько гребет? А почему его имени никогда нет в газетах, в отличие от других ворюг?"

Драго. Когда тебя увидишь на улице в этом твоем поношенном пальтишке... можно подумать, что ты порядочный человек, настоящий человек, все отдаешь обществу! (*Идет к выходу.*)

Веля. Драголюб! Мне больше нравится, когда люди меня жалеют, а не завидуют... здесь я прошел самую хорошую школу! (*Уходят каждый в свою сторону, под музыку менуэта.*)

In memoriam III

Темнота.

Веля и Агнесса и Драголюб во фраках, Флора Дворникович в платье с кринолином, длинном и пестром.

Веля (*Флоре, которая сидит на скамье и смотрит в небо.*) Что вы наверх смотрите? (*Оглядывается на Драголюба, тот тоже смотрит наверх.*)

Флора. Что, летит что-то?

Веля (*пробует рукой*). Дождь идет, Дворникович.

Флора (*пробует рукой*). Действительно... моросит...

Веля и Агнесса садится рядом.

Вот и осени мы дождались на этой скамейке!

Веля (*декламирует*).

А кум у кума, воруя солому
с давних пор,
рассыпал ее по дороге,
как золото впотьмах,
и ворам оставил Млечный Путь!

Веля и Агнесса, Драголюб и Флора (*поют*).

Осенние листья опали уже,
и травы нет, пусто повсюду...
В моем сердце, в моей душе,
все еще царит великая стужа...

Веля (*встает*). Осины осыпаются... и собака всю ночь лаяла на перекрестке... в кармане я нашел какое-то письмо... старое, шуршит... но, когда я получше посмотрел... ви-

жу, это знамение смерти... Кто же это любит меня? Пытаюсь вспомнить уже три дня...Какие такие маленькие деньги получу за большую дорогу? С вечера жду гостя... в годах, брюнета-господина, пожилого... в мечтах и наяву... И опять я думаю, и вертится у меня на кончике языка их имя... Может быть, Стефания? А может быть, Наталия?.. но напрасно... Давно это было!

Драго. Сыпешь соль на раны!

Веля. Как только вспомню, и по сей день... слезы набегают... Да и не часто я вспоминаю!

Флора. Может, оно и к лучшему?

Драго. А может, и к худшему?

Веля. Много мы сделали, а еще больше осталось.

Драго. А в тот вечер уж как я прихорошился! И слышу, тетка на веранде шепчет: "Ну, просто как конфетка!"

Веля. Сколь роковой была эта наша осенняя холостяцкая пирушка! Все перезрелое, румяное, сочное!

Флора. Нет больше в продаже того белого шелка, но в мои времена во всех магазинах были эти белые платья с кушаком из синеватой ткани!

Веля. А когда приходит в Сербию осень, и солнце на закате заливает все как маслом, и все багровеет вокруг...

Драго. От кафе "Три ключа" до пивного завода как грянет шесть оркестров духовых, и военных, и городских!

Флора. Проплывают пары, и белый шелк вьется вокруг юных девичьих фигур, как облако дыма, перехваченное синим обручем на талии...

Веля. Но тут безответно влюбленный фотограф выстрелил из партера в Мицу Натину, сидевшую в ложе, и она упала на плечо греческому консулу...

Драго. Мы тогда получали мужское образование у мадам Калиопы... там, известное дело... чай... фанты, фантики...

Флора. И капитаны из военной академии проносились верхом через Топчидер, мимо монастырской гостиницы, соревнуясь, кому удастся поймать на кончик сабли брошенный с балкона девичий белый платочек..

Веля. А Мицу Натину домой привезли с париком на голове, чтобы мать не увидела, что у нее вытекли мозги...

Флора. Склонились над рекой грустные ивы, чтобы увидеть, чье это тело тихо несет течение.

Драго. И с платанов попадали золотые листья, освобождая место воронам и во́ронам.

Флора. Последний лепесток лилии упал на влажную листву, на клумбе у вдовы в саду!

Веля. Поздняя осень прокралась в жизнь...

Драго. А камень тянет... (*Падает на колени.*) вода засасывает...

Флора. А когда болезнь прикует несчастного к постели... он только и может, что глядеть в окно.

Драголюб и Флора резко встают. Драголюб деловито скидывает фрак.

Веля. Почему вы встали?

Драго. Я бы до утра сидел, но завтра рано вставать!

Драголюб и Флора торопливо уходят.

Веля. И именно тогда, когда приятнее всего? (*Еще немного медлит, удивленный, потом резко встает, снимает фрак.*) Что ж я, белая ворона, что ли? (*Уходя, бормочет.*) Пора и мне вернуться к реальности.

Как сводят старые счеты

Свет.

Драго (*проходит по сцене в обнимку с Флорой, в прекрасном настроении. Говорит ей тихо что-то такое, "что касается только их двоих"*). Осечки не будет!.. За мной такого не водится... Никогда не пересыхает...

Флора (*возвращается*). Что это с вами. Веля и Агнесса!.. Могли бы сразу сказать, что вам так тяжело это видеть!

Драго (*возвращается*). Ты думаешь, мы вместе потому, что у нас роман?

Веля. А чего бы вам иначе быть вместе?

Драго. Нужно, чтобы нас увидели!

Веля. Мне бы тоже хотелось общего внимания и известности!

Флора. Мы позаботимся о подъеме вашей репутации! Расскажем и то, что было и чего не было...

Веля. Я не уверен!.. если я вас сейчас упущу, не знаю, выловлю ли еще когда-нибудь?.. Это вопрос?! Не часто мы с вами, Флора-Лора, видимся!.. И проникнуть к вам нелегко! Как ни спрошу о вас, они сразу с вопросами, кто я таков, да каков...

Флора. Я распоряжусь, чтобы вахтер вас пропускал!

Веля. Не кормите меня пустыми обещаниями...

Флора. Если бы у вас не было телефона, еще можно было бы как-то оправдываться!.. Неужели вам так трудно набрать номер!

Веля. А если сейчас кто-нибудь позвонит?

Флора. Для всех, кроме моих домашних, я на заседании в Главном правлении...

Веля. А если спросят, когда оно закончится?

Флора. Скажите — нескоро. (*Оборачивается к Драголюбу, который руками показывает: "столько".*) О-о-о! (*Веле и Агнессе.*) Пусть позвонят через год!

Веля. Значит, пришли такие времена, когда муж становится женой, а жена мужем!

Драго. Зажмурься, зятек, зажмурься! (*Собирается уйти с Флорой.*) И присмотри за кабинетом... и не выпусти кур на улицу!

Веля. Я, Драголюб, должен сторожить дом, а она с моим бывшим компаньоном пойдет в кино! Ну, нынешние браки ничего не стоят!

Драго. Побереги нервы, зять... возьми себя в руки... все это скорее на дружеской основе... далеко от того, что ты подозреваешь!

Флора (*взбешенно*). Хорошо!.. Но если вы отправитесь воровать железобетонные плиты, не забудьте со страха нож в винограднике!.. Именно на этом попался предыдущий бухгалтер!

Драго. Ага!.. Цап-царап, и накрыли его!

Веля. Слушай, Драголюб... если ее я накрою, это будет совсем не так!

Драголюб, перепугавшись, хочет удрать, но Веля и Агнесса его останавливает.

Мы можем и продолжить, но она должна записывать, на что тратит каждый динар! Я покончу с этим мотовством! Флора-Лора! Каждый день, буквально каждый день, покупаются подарки! Если ты такой утонченный, Драголюб, то купи себе сам запонки для рубашки! Кто хоть что-то купил мне?

Флора. Хорошо!.. Так, растопка в ящике, не забудьте!..

Веля. А разве нужно что-то топить?

Флора. Так огонь же, под котлом... помойте пол возле лавки...

Веля. А если они спросят — где ваши справки?

Флора. А вы спрячьтесь... вот тут у вас в ящике скрипка... поиграйте немного, попойте... а как только разделаетесь с бухгалтерскими книгами — вы свободны!

Веля и Агнесса вынимает из ящика скрипку и смычок.

Не все ж только работать. (*Обращается к залу.*)...Я думаю, надо и отдыхать... развлекаться по-всякому...

Веля и Агнесса играет на скрипке.

...Вот!

Веля (поет под скрипку).

Ой, Сербия, милая мать! Всегда буду тебя так звать.

Милый край мой, милый мой дом, в сердце навечно моем!

Драго. Потом мне только не жалуйся, пожалуйста, на трудную жизнь! Вижу я, как плохи твои дела!

Веля (*играет, потом останавливается*). Эх... да это я с горя пою. Не хочу доставлять удовольствия брату и снохе, что я так вляпался со своей женой!

Флора. Знаю я таких, только и ждут смерти своих близких, с которыми живут вместе... чтобы расширить жилплощадь!

Веля. И за что? За то, что не дал им денег в долг! Как будто я их сам печатаю! Они займут и не возвращают! Хотят таким манером всю жизнь жить! И они не только со мной так! А оправдываются малыми детьми! Э, об этом надо было вовремя подумать, а не плодить нищих! А теперь я виноват, что они света белого не видят! А мне и так хорошо! Не правда ли, Флора-Лора? Флора-Лора! Как мне нравятся хорошо обставленные комнаты. С отдельным входом и разрешением пользоваться ванной. Горячая вода! Красота! Не знаешь просто, что́ приятнее, теплая водичка в ванне или пружинный матрац под простыней!

Драго. Почему вы возвращаетесь, Дворникович?

Флора. Не спрашивайте!

Драго. Шесть раз уже уходили и шесть раз возвращались с порога! Что с вами?

Флора. Прямо в точку попал!

Веля и Агнесса играет над ее ухом на скрипке.

Именно это я просила сыграть моему четвертому бывшему.

Драго. Значит, я ваш — пятый, а вы моя — одиннадцатая!

Веля. Она мне — десятая, а я ей — седьмой! Опять я по всем статьям от тебя отстаю!

Драго. Цыц! Ты младше! И возраст здесь играет определенную роль!

Флора. А он, несчастный, потом все отрицал на следствии... И, дескать, я на семнадцать лет старше его... и как он за эти семь месяцев, что мы были вместе, на свою мизерную стипендию сшил себе семь костюмов... А все официанты знают, что сотни летели как туалетная бумага... Даже возникла его родственница, клянчила, чтобы ей купили джемпер с костюмом, знаете, такой цвета розового дерева, из двух частей, с эполетами...

Драго. Пусть даже она ему и была родственницей! Это не самое страшное... но и у вас, Дворникович, это в крови! Транжирить! Как сейчас!

Флора. Я вами сыта по горло, такими, что лезут в чужие дела! С вами женщина никогда не знает, что ее ждет! Толкут воду в ступе по полгода, вместо того чтобы сразу перейти к делу! Пустите! Пустите! Отпустите вы меня! Дайте мне разгуляться!

Веля. Слыхал, Драголюб! Сматывай удочки, Флора передумала!

Драго. И так подло! Ни с того ни с сего! Ладно, пусть! Придет время! И вы своего дождетесь! Я тоже долго ждал! Многого дождался, пережил, выживу! Наплачетесь вы еще по Драголюбу, да уж Драголюба больше не будет! (*Уходит, бросая на ходу Веле и Агнессе.*) И ты еще пожалеешь, что ударил меня!

Флора. Подождите, Драголюб!

Драголюб останавливается и поворачивается.

Вы мне были ближе, а он — милее!

Драголюб опять собирается идти.

Подождите! Подождите! Я разрываюсь! Подождите! Я схожу с ума! Подождите!

Драго. Подожду на углу, мне и так надо зайти к портному... у меня еще с прошлого года шов на брюках расходится и никак не разойдется! Но и я в долгу перед ним не остался, по три раза в день к нему захожу, спрашиваю, что же будет с этим нашим делом? Ничего не попишешь! Боюсь, как бы эти брюки не остались у него навсегда! Тогда пропал мой лучший костюм. Эх, сдается мне, что его племянник на танцульках был в этих самых брюках... А я к нему подошел, да так прямо и сказал: “Поосторожнее, парень, у тебя вон, пиво через край льется! А от пи-

ва такие пятна остаются, ничем их после не выведешь!" (*Драголюб недвусмысленно собирается уходить.*)

Флора. Вы уходите, Драголюб!

Драголюб останавливается.

И ничего не говорите, а что же будет с нашей маленькой Билей?!

Веля и Агнесса ухмыляется.

Вы скалитесь, а речь идет о жизни и смерти!!

Драго. Пока было возможно, я не делал проблем, но у вас слишком большие требования, Дворникович! Оставляю вас Веле... и Агнессе... они вас на голодную диету посадят... сразу шелковой станете... (*Хочет уйти.*)

Флора. Подождите, или!..

Драго (*останавливается*). Я бы ждал и до утра, но у меня мотоцикл перед домом, сопрут глушитель, что тогда делать?

Флора. Я знаю! Собираетесь какую-нибудь девку в коляске прокатить! Только через мой труп! Я встану перед мотоциклом и давите собственную жену! и ребенка! И пусть эта бесстыжая порадуется!

Веля (*хохочет*). Я и не знал, тесть, что у тебя такая богатая двойная жизнь! (*Флоре.*) А и вы! Хороши, как вы могли с таким типом пуститься в авантюру! Противно даже подумать, с кем вы ни таскались! Фи!

Флора. Если бы вы видели мою малышку! Вы бы изменили мнение! Знаете, какая она! Как яблочко!

Веля. Интересно! А чем вы ее кормите, что она так цветет?

Флора. Она просто объедается бисквитами!

Драго. А во что это обходится? И кому обходится?

Флора. И протертое ест... и шпигованное тоже... и глазированное, и сгущенное, и тертое, и маринованное, и шинкованное, и пареное, и тушеное, и резаное, и вареное, и молотое, и паровое... все ест... но на жареное и смотреть не хочет! Но зато апельсиновый сок! Она может выпить, сколько ни дай! А особенно вечером, перед сном!

Веля. А вы знаете, что французы говорят?

Флора. Хорошо бы было, если бы знала! Да откуда мне знать?! Как раз этой осенью мы собирались съездить в Париж... но теперь все пошло прахом!

Веля. Французы говорят: "Апельсин утром — золото... л'ор, днем — серебро — л'аржан, а вечером — железо, л'фер"...

И я этому следую... свобода, равенство, братство... Так меня моя покойная мать учила... И не давайте детям много шоколада, в нем содержится свинец... это вредно!

Флора. А не из жадности ли вы этому следуете? И почему мне так не везет — вечно нарываюсь на жмотов!

Драго (*подходит к Веле*). Ну, что я тебе говорил, зять? Она такая! Транжирит — не дай бог! Миллион профукает за один день, если найдется идиот, который ей столько даст! (*Хватает Велю под руку и они быстро уходят.*)

Флора (*им вслед с бешенством*). Но неужели вы меня оттолкнете, с ребенком! И у меня окаменеет сердце, раз у вас его нет! Я тоже не обязана всю жизнь кормить этого вашего золотушного ребенка, у которого такой плохой аппетит! Ну и черт с ним! Пусть помирает с голоду! (*Уходит взбешенная.*)

In memoriam IV

Темнота.

Веля (*входит под руку с Драголюбом*). Что, брат, Боголюб, помнишь?

Драго. Немного...

Веля. Скажи честно?!. это у тебя с твоей женой был мой ребенок или же у меня с моей свояченицей был ребенок твоего брата... никак не могу разобраться, а помню, что об этом тогда много болтали?

Драго. Погоди, вспомню... Твоя свекровь...

Веля. Так...

Драго. Нет, не так! Наоборот... моя жена родила от тебя ребенка... через тестя моего брата по матери, а сестра, эта его невестка, которая была в неофициальной связи с шуриновым отчимом, и она не могла забеременеть, и тогда она от золовкиной названой сестры усыновила ребенка, о котором говорили, что он твой... а почему ты спрашиваешь?

Веля. Потому что никак у меня не сходится... начальник отдела снабжения стал моим родственником через теткину племянницу или через твою жену?

Драго. А ты не путаешь? Я был финансовому директору свидетелем у его свояка, который достал разрешение на строительство приемному сыну моего дяди.

Веля. Кого же я тогда упек на каторгу? Знаю, что их было трое. А кто третий? Кстати, твои племянники смогли мне нагадить только с четвертой попытки.

Драго. Ну, ты хватил! Вспомнил племянников! А еще до того ты с женой моего шурина... с той, что была диспетчером в транспортном, — закрутил роман... Ты перевозил, она тащила... До тех пор пока вашу шарашкину контору не опечатали!

Веля. А разве она не была главным референтом в коммунальном отделе, когда меня во второй раз... нет... в первый, второй, третий, четвертый... когда меня в пятый раз переводили из тюрьмы в Пожаревце в тюрьму в Сремской Митровице?

Драго. Может, и да?

Веля. А может, и нет?

Драго. Настолько все это связано и переплетено, что сам черт не разберет!

Веля. И чем больше распутываешь, тем больше все запутывается!

Флора (*входит быстро*). А кто кого жалеет?

Драго. А кто кого спрашивает?

Веля. А кто кого хвалит?

Флора. А кто кого лягает?

Драго. А кто кого подмазывает?

Веля. А кто кому гадит?

Флора. А кто у кого крадет?

Веля. А кто к кому подлизывается?

Флора (*все быстрее и быстрее, горячее и горячее*). А кто кого толкает?

Драго. А кто кого пихает?

Веля. А кто куда лезет?

Флора. А кто кому кланяется?

Драго. А кто на ком ездит?

Веля. А кто кого убирает?

Флора. А кто кого одобряет?

Драго. А кто кого тащит?

Веля. А кто кого гладит?

Драго. А кто кого успокаивает?

Веля. А кто кого восхваляет?

Веля, Флора, Драго (*вместе*). Кто разберется — кто что делает?? (*Запевают все вместе, а в это время медленно гаснет свет.*)

Дайте жить мне как в раю, где блаженства век продлю.
Здесь я буду, здесь всегда, проводить свои года.

(*Уходят со сцены в темноте.*)

Смерть на рабочем месте

Свет.

В темноте звонит телефон. Зажигается свет. Веля и Агнесса, Флора и Драголюб все время в движении, в разных направлениях разносят по сцене папки, бумаги и прочее.

Веля (*кладет папку на стол и набирает номер*). Алло! Дайте, пожалуйста, справку, понесу ли я ответственность, если она убьет нашего ребенка? Посмотрите на "у" – убийство! У вас такого нет? Что же вы можете мне предложить? Взять вас и вашего ребенка, а потом нам двоим взять и ее ребенка, чтобы она его не убила? Я знаю, но мне маленькие дети вредны! Лучше пусть этот ваш возьмет ее с ее ребенком, и пусть они потом возьмут и вашего ребенка, чтобы вам не пришлось его убивать! Нет смысла? А почему? У вас и второй уже на подходе? Э, кто что, а вы знай детишек печете! Тогда я с вами не вхожу ни в какие варианты! Как это – почему? Потому! Не могу позволить себе такую роскошь! (*Бросает трубку. Телефон опять звонит. Снимает трубку.*) Алло? Да-а... Минуточку... Дворникович!

Флора быстро подходит.

Вас спрашивают! (*Передает Флоре трубку.*)

Флора. Как раз выходят! да... если вы их возьмете на улице, момент!.. А вообще? Вообще вовсю нахваливают власти.

Веля и Драго (*останавливаются на ходу с папками и громко кричат*). Да здравствует!!!

Флора. Переглядываются, стоит мне только отвернуться... Это да!.. Я пробовала по-всякому, но они не поддаются...

Веля и Драго (*останавливаются с папками и громко кричат*). Единогласно!!!

Флора. Хитрецы... О вас только самые лучшие слова говорят... Что говорят?.. Говорят: "О, какой прекрасный человек! Занимает такую должность, но так демократичен! Ни одной юбки не пропустит?!"

Веля и Драго (*останавливаются с папками и громко кричат*). Девяносто девять целых и девяносто девять сотых процента!!!

Флора. Хорошо, попробуем еще и это! Конденсация сознания! (*Кладет трубку. Вынимает из стола молоток. Звонит телефон. Снимает трубку.*) Алло? С удовольствием, только проверю, есть ли здесь такой? (*Кладет трубку на стол.*) Кто здесь Драголюб?

Драго (*останавливается*). Как вы сказали? Боголюб иди Родолюб?

Флора. Сла-во-люб!

Драго (*останавливается*). Погодите, дайте я у него выясню... (*Подходит к Флоре, она молотком ударяет его по голове, он подчеркнуто подмигивает и кричит.*) Отлично! (*Флора отстраняется, он тоже.*) И еще немного завтра! (*Подносит трубку к уху.*) Алло! Какого Веролюба вы ищете? Того, которому вы через воронку заполнили голову... Миролюба? Так это я, только я не тот Миролюб, который еще не покончил с прошлым... я все пережитки прошлого вовремя ликвидировал, теперь кормлюсь своим трудом... Так я же Драголюб! Только не так быстро, у меня сквозняк в ушах, в одно ухо влетит, в другое вылетит... не так быстро, если хотите чтобы у меня что-нибудь осталось в голове... уже поздно для этого, рабочие уже закончили и рихтовку, и шпаклевку, и смывку, и грунтовку... а то, что вы хотите... так, это не получится без долбежки, в таком случае пропали ящики с штекерами... как — почему? мы же пробьем изоляцию, а это два толстых слоя джута и три слоя битума. Мелочи?.. а дверные и оконные рамы? Должны?! Только учтите, это отразится на перекрытиях... и это связано с плинтусами, консоли треснут, и все полетит к черту! Второй этаж провалится на первый. Я не говорю, что я лучше знаю, я просто напоминаю вам, что из-за одного дополнительного окошка нам придется разворотить только что законченное шестиэтажное здание, причем до фундамента, а сезон уже кончается... я только говорю, что я уверен, строительный мусор мы не сможем вывезти до весны... значит, придется отрезать весь район... от площади до рынка... и все отгородить... верно, за забором оно может и подождать пять-шесть лет... простите?.. (*Кладет трубку и уходит.*) Ломаем все подряд!!

Веля (*подходит и набирает номер*). Алло! Это стоянка такси? Пожалуйста, пришлите за нами машину к дирекции, к запасному выходу. Сколько нас?.. Двое... Как это на сколько мы потянем?? Еще и это? Пожалуйста, пожалуйста... Вместе примерно сто восемьдесят килограмм! Как? А-а, на сколько мы потянем при оплате? Не любите возить индюков, которые заглядывают в таксометр?

И чтобы мы не жаловались на требуху? Как вы сказали? Так мы все на требухе выросли! Хорошо, хорошо, без выбора... вы же тухлятину не повезете к себе домой... абсолютно ясно! А вы не знаете, не прокисшая ли она, вы же ее пробовали... Что ж поделаешь? Как?.. Куда поедем?.. В Грецию?.. А вы не знаете, сможете ли вы там развернуться?.. Да, это верно... Тогда лучше мы вам деньги за поездку оставим в кафе на углу... Скажем, что это для вас... и пройдемся пешком... это же не далеко, а мы молоды...

Веля, Флора и Драго (*прыгают с папками и кричат*). Мы молоды!.. молоды! молоды!

Флора (*звонит телефон, она хватает трубку раньше всех*). Это ты? А я думаю, интересно, кто это! Что? Спрашивай, не стесняйся! Не знаю ли я, на сколько петель набирают чулок? Знаю, на сто! Сто, и сто, и сто, и сто — четыре спицы, четыреста!.. Слишком свободно?.. Мы так носим... Ну, может они сто набирают и на джемпер... нам это тесно... Ну и пусть, пусть экономят... на еде?.. А когда они у нас в гостях, то едят так, что за ушами трещит... Отек?.. Может быть... как повадится... гони от себя как можно дальше! (*Кладет трубку.*)

Веля, Флора, Драго (*телефон звонит, все бросаются к нему с криками*). Это меня! Это меня! Это меня!

Веля (*первым хватает трубку и грубо отталкивает Драголюба*). Алло! Это опять вы?.. я угадал... мне не жаль денег!.. но такая прекрасная бочка! Ну, прошу вас, я дал и бочку, и деньги, и что же... (*Подходит с трубкой к рампе, обращается к залу.*) Что я могу вам посоветовать, если вы умнее всех на свете? Ну ладно, раз вы так настаиваете, я вам скажу... Бережливого бог бережет! Сами знаете! Ну, я же говорю, что вы все знаете! Кому говорю? Моим коллегам из нашего кабинета! Почему это я вас позорю? Ну, что вы, шутка есть шутка! (*Опять подносит трубку к уху, но остается у рампы.*)...Чего вы боитесь?.. что, сядет при стирке?.. а не боитесь, что придет слишком большой счет за электричество? Как будто я это выдумал? Ну, и вам бы не следовало, не надо... не надо... не надо так... Никола Тесла, наш великий... А при чем здесь моя мама?.. моя мама умерла... (*Замирает.*)

Темнота.

В центре сцены лежит Веля и Агнесса с скрещенными руками и с телефонной трубкой в них, вместо свечи. С одной стороны, Флора, с черной вуалью на лице, а с другой — Драголюб с бархатной подушечкой для наград. На подушечке наручники и две отмычки.

Флора. Прекрасный был человек...

Веля (*не двигаясь, дрожащим голосом*). Салют!

Драго. Жаль такого человека...

Веля. Салют!

Флора. Для меня с его смертью умерло все...

Веля. Салют!

Драго. Все мы так много потеряли...

Веля. Салют!

Флора. Мне дома сообщил курьер... Ваш Веля пал на службе... рухнул под письменный стол...

Веля, Флора и Драголюб (*Веля вскакивает с пола. Все трое вместе*). И больше его не было!

Антония Поцци

Стихи разных лет

Перевод с итальянского Петра Епифанова

От редакции

Антония Поцци (1912—1938) — дочь крупного миланского адвоката Роберто Поцци и представительницы знатного североитальянского рода, графини Лины Каванья Санджулиани. В 1935 году закончила филологический факультет Миланского университета, защитила диплом по творчеству Флобера. Со студенческих лет дружила с поэтом Витторио Серени. Интересовалась философией, владела несколькими языками, включая древнегреческий и латынь. Стихи писала с детства, но первая стихотворная книга "Слова" вышла уже после ее смерти: в отчаянии от жизненных неудач двадцатишестилетняя Антония Поцци отравилась.

В предисловии ко второму изданию "Слов" в 1948 году Эудженио Монтале назвал автора "единственной подлинной женщиной-поэтом, которую видела Италия в двадцатом веке". Стихи Поцци, многократно переиздававшиеся в Италии, к настоящему времени переведены на английский, французский, немецкий, испанский и другие языки, опубликованы ее дневники и письма. На 66-м Венецианском кинофестивале в 2009 году был показан документально-игровой фильм режиссера Марины Спада "Стихи меня хранят", роль главной героини исполнила итальянская актриса болгарского происхождения Елена Гяурова.

© Петр Епифанов. Перевод, 2013
Книга стихов Антонии Поцци "Слова" готовится к печати в Издательстве Ивана Лимбаха.

Легкомыслие

Вспоминаю сентябрьский день
на Монтелло. Я — ребенок еще,
с тощей косичкой и зудом
от дикого лазанья на коленках.
Отец, забравшись в окоп,
вырытый в каменистом пригорке,
рукой мне показывал вдаль, сквозь расщелину,
на Пьяве[1], на те холмы, говоря
о войне, о себе, о своих солдатах.
В тени холод остролистой травы
ощущали икры; в глубинах земли
корни еще, может быть, тянули
последние капельки крови. Но я горела
желанием выпрыгнуть вон,
в наглое солнце, чтобы сорвать
горсточку ежевики.

1929

Н*евинность*

Под солнечным зноем
в тесной лодке
озноб —
чувствовать против моих коленок
мальчика чистую наготу,
упоение мукой — носить в крови
то, о чем он не знает.

Санта Маргерита,
28 июня 1929

Н*оябрь*

И тогда — если случится, что я уйду, —
останется что-то
от меня

1. Пьяве — река в Северной Италии. Прилегающие к ней местности (в том числе упомянутая выше холмистая зона Монтелло) в 1917—1918 гг. были ареной ожесточенных боев, в которых Роберто Поцци участвовал в качестве офицера артиллерии. (*Прим. перев.*)

в моем мире —
останется слабый след тишины
среди голосов —
тонкое дыхание белого
в сердце лазури —

И однажды ноябрьским вечером
хрупкая девочка
на углу улицы
будет продавать хризантемы,
и будут звезды,
холодные, зеленовато-далекие —
И кто-то заплачет —
кто знает, где — кто знает, где —
И кто-то будет спрашивать хризантем
для меня
в мире,
когда случится, что без возврата
я буду должна уйти.

Милан, 29 октября 1930

Стыдливость

Если какое из бедных моих слов
придется тебе по сердцу,
и ты мне об этом скажешь
хотя бы только глазами,
я распахнусь перед тобой
улыбкой счастливой,
но все-таки буду дрожать,
словно маленькая юная мама,
что краснеет,
от прохожего слыша,
как младенец ее прекрасен.

1 февраля 1933 г.

Сицилийский пейзаж

Над кручей, что одела в нежную зелень
юное хлебное поле,
на ослике

женщина
едет верхом —

между коленок, у мирного чрева
держит сына,
чтоб спал он в покое,
не ощущая толчков —

пристально глядя, как тучами
даль занавешена неба,
обе полы плаща
поднимает
высоко-высоко —

и укрыт с головою
ребенок —
пишут так на иконах
Марию, в бегстве ее —

16 мая 1933

Амбары

Полукруглою бровкой
обкошенная трава
обступает амбары —
как будто желая
очертить на земле
круг вершин,
что высокое небо
сжимает —

На почернелом пороге
две девочки
смотрят в кувшин молока —
одна — улыбаясь —

Перед ними — гора
в этом вечере тихом —
словно ангел огромный,
заслонивший крылами
лик в затаенной молитве —

12 сентября 1933

В *снегах*

Восходила я в день высокий, живущий
за елями,
я гуляла полями, горами
светлыми,
по озерам ледовым скользила — и тайную
песнь шептали мне волны
плененные —
проходила белые реки, окликая по имени
горечавки цветы
уснувшие —
засыпала в снегах безмерного
города цветов
погребенного —
я жила на горах
как колючий цветок —
и смотрела на скалы,
высокие рифы
морей ветровых —
и дальнее пело во мне
лето
и жгучими рододендронами
в крови моей полыхало.

1 февраля 1934

Н*очлег*

Туман. Говор камней
в руслах. Воды голоса
внизу, от снегов, в ночи.

Ты на соломе
мне одеяло стелешь;
крепкими твоими руками
плечи мне укрываешь,
чтобы я не замерзла.

А я — размышляю о тайне
великой, живущей
в тебе, за гранью тихого
твоего жеста — о чувстве
человеческого нашего братства,
без слов, средь огромных
горных уступов.

И, может быть, больше звезд
и безмерных тайных путей
меж нами, в этом молчанье,
чем в целом небе, простертом
за пеленою тумана.

Брешль, 9 августа 1934

Корни

Снегом засыпанный дом
протекает. Капель
стук монотонный
пронзает меня.

Так, распадаясь,
всякая вещь болит.

Но вдали,
за покровами солнца, за робкими бликами,
за цветовыми переходами дня,
смиренно живет
мир травы и земли.

Корни
в недрах горы,
весны соблюдая обеты,
затаились,
и знаю лишь я
по имени каждый цветок,
что еще расцветет,
знаю кусочек глины, знаю тот луч света,
под которым впервые блеснет
листиков нежная плоть.

Корни
хранят всех начал
погребенный секрет
в недрах горы глубоко
и то, чьей силою вновь выхожу на свет —
бледным, бесстрашным
ростком.

15 февраля 1935

В этих домах каждым жестом
твердят о надеждах,
которым не сбыться.

В печи зажигают огонь,
дыхания облако выпуская,
и в каждом сердце — горит
завтрашняя заря.

Вечереет — ты, словно бабочка,
меж двух стебельков
крылья сложила,
испугавшись дождя.

30 мая 1935

Бабушке

Обниму тебя, чтобы чуять твое тело,
покоем полное, близкое к смерти —
такое прохладное, сухое,
рядом с моим дыханьем.
Слов не надо; будем вместе слушать
ровное сердцебиенье,
пока не настанет
единственное, последнее
переполнение
жизнью.
Оттуда, с берега темных озер,
обернувшись, чтобы взять с собой еще света,
иными, совсем голубыми глазами
взгляни на меня обновленно.
Ныне, к коленям твоим прижавшись,
скрываясь в твое глубокое лоно,
вровень делаюсь я
смертному твоему весу, что исчезает.
И не разделит нас с тобой земля,
но для обеих
темна и легка станет.

1 мая 1937

Уверенность

Ты — трава, и земля, и такое чувство,
словно кто-то ступает ногами босыми
по свежей пахоте поля.
Для тебя я надела мой красный передник
и вот наклоняюсь над этим ручьем,
беззвучно затерянным в пазухе горной;
знаю: мгновенье
— полдень заплещет
зябликов трелью —
и прольется твое лицо
в светлое зеркало, вместе с моим.

9 января 1938

Джоби Уоррик

Тройной агент

Журналистское расследование

Перевод с английского Н. Н.

7. Джихадист

Иордания, Амман – июль 2009

В Северо-Западный Пакистан Хумам аль-Балави прибыл 19 марта, сошел с самолета один, с двумя потертыми сумками в руках, и тут же затерялся на просторах огромной страны. Платные соглядатаи ЦРУ видели, как он прошел таможенный контроль в Пешаваре, потом мелькнул в толпе на автовокзале, где садился в рейсовый автобус, отправляющийся в сторону города Банну на границе с Южным Вазиристаном. Но после этого он исчез, растворился во мраке одного из самых суровых и изолированных от остального мира мест на планете.

В Аммане Али бен Зеид каждый день проверял электронную почту. Для Балави завели электронный адрес — специальный, только для этого нового агента, которому бен Зеид присвоил кодовую кличку Панцер — грозен, мол, как немецкий танк. Балави предупредили, чтобы пользовался почтой пореже, а то вдруг за ним наблюдают, но дни проходили за днями, а он не вышел на контакт ни разу. Что с агентом? Не заболел ли? Может, заблудился? Весьма возможным объяснением, как хорошо понимал бен Зеид, было то, что он попросту убит. Всякого приезжего, особенно прибывшего из прозападной Иордании, талибы считают заведомым шпионом. Владение арабским и английским вряд ли в трудный момент поможет, поскольку в стране талибов говорят преимущественно на пушту. Балави знал это и сам.

Боюсь, что в Пакистане я погибну, вдруг выпалил Балави во время одной из их последних встреч. *Меня убьют, и некому будет позаботиться о жене и детях.*

Окончание. Начало в № 5 за 2013 г.

Тогда бен Зеид постарался его ободрить, но теперь разведчика снедало беспокойство и чувство вины. И он стал внутренне готовиться к тому, что эксперимент с Балави, возможно, провалился. Такое случалось и раньше.

Но вот однажды утром в конце марта, сидя за компьютером и разбираясь в пришедшей за ночь почте, бен Зеид краем глаза заметил, что над одним из редко используемых адресов выскочил и запульсировал конвертик. Надпись на нем была набором слов, кодом, но логин отправителя не оставлял сомнений.

Текст тоже был зашифрован — несколько коротких, заранее согласованных между агентом и куратором фраз, которые должны были удостоверить подлинность первого контакта. В переводе на человеческий язык послание означало: *Это Балави. Я на месте.*

Несколькими следующими записками Балави сообщил, что с первым шпионским заданием худо-бедно справляется. Устроился в центральном городе Южного Вазиристана, крохотной торговой Ване; живет на деньги, которыми его на первое время снабдил Мухабарат. Как в большинстве более-менее похожих на город местных поселений, в Ване есть переговорный пункт с компьютерными терминалами, которыми и будет пользоваться Балави для связи с Амманом. У Балави имелось несколько адресов пакистанских джихадистов, с которыми он общался в интернете, когда был Абу Дуджаной аль-Хорасани. Планировалось, что в Ване Балави войдет в доверие к эмиссарам "Талибана", попросив их помочь ему организовать что-то вроде передвижной амбулатории для обслуживания пациентов в деревнях на Территории племен. Себя он должен будет позиционировать как благочестивого врача, который видит свой джихад в том, чтобы лечить больных и раненых талибов. Если это сработает, Балави обзаведется прекрасным прикрытием и сможет свободно перемещаться по подконтрольной талибам территории, собирая информацию для донесений, которые, возвращаясь время от времени домой в Вану, будет отсылать бен Зеиду.

В своем ответе новоявленному агенту бен Зеид на похвалы не скупился. Мы с вами делаем важное дело, писал он. Старался побольше напирать на патриотизм доктора, благодарил его за жертвы, которые тот несет на алтарь отечества и служения королю. "Мы вами уже гордимся", — присовокупил он в конце одного из посланий.

Скинул Балави записочку и на имейл жены. Перед отъездом он признался Дефне, что уезжает не в Турцию, как сообщил домашним, а в Пакистан. *Хочу повышать квалификацию там*, сказал он ей. Объяснение прозвучало не слишком прав-

доподобно, но Дефне поняла, что переспрашивать не надо. Теперь же Дефне Балави с дочерьми жила у родителей в Турции, куда по просьбе свекра отправилась якобы на поиски мужа. Несколько недель всех помурыжив, она в конце концов сообщила старшему Балави правду: Хумам в Пакистане. Туда его послал Мухабарат.

Старик опешил.

— Как это в Пакистане? — недоуменно переспросил он. — Как он туда попал? Да он перед площадью с круговым движением и то не может в знаках разобраться! — После чего принялся давить на невестку, требуя, чтобы она возвращалась в Иорданию, в дом своего свекра, потому что это единственное место, где приличествует пребывать замужней женщине, чей муж в отъезде.

Хумам об этом не хотел и слышать. *Жди меня в Турции! Приеду к тебе туда*, написал он жене. Пообещал прислать деньги на квартиру и мебель и давал советы, в каком районе лучше поселиться. В итоге-то ведь они будут жить там вместе.

Ободряющие увещевания куратора, похоже, возымели действие. Записки по электронной почте шли от Балави регулярно весь апрель и первые дни мая, в них он шифровкой сообщал о своих контактах с талибами низового звена. Затем, в середине мая, он бен Зеида прямо огорошил: оказывается, он принял приглашение поселиться вместе с несколькими членами "Техрик-и-Талибан", крупнейшей из группировок повстанцев во всем Южном Вазиристане. "Талибан", оказывается, нуждается в его врачебных талантах, и доктору предложили пожить в одном из их тренировочных лагерей.

Я буду очень занят, да и смотреть за мной будут в оба, писал он своему куратору. *Так что на какое-то время замолкаю.*

Бен Зеиду это показалось поспешностью, граничащей с безрассудством: не исключено, что агента завлекают в ловушку, но отговаривать поздно. Все попытки бен Зеида связаться с Балави по имейлу оставались без ответа. Прошла вторая половина мая, потом весь июнь. Стоял уже июль, а от агента ни слуху ни духу.

Ход событий бен Зеид обсудил с Дарреном Лабонте, постоянно живущим в Аммане сотрудником ЦРУ, которого бен Зеиду официально назначили в напарники, сделав куратором Балави от ЦРУ. Оба были согласны: долгое молчание это, конечно, дурной знак. Может быть, Балави нет в живых, а может быть, он переметнулся к талибам — добровольно ли, нет ли...

Сама идея послать необученного, непроверенного Балави в Пакистан была чистейшей воды лотерея, это бен Зеид пони-

мал. Еще одна из множества ставок на темную лошадку, попыток пустить стрелу наугад: задача стояла неимоверно сложная — требовалось проникнуть во внутренние круги "Аль-Каиды". Со временем, да притом еще, какой толстый у ЦРУ кошелек, одна из таких стрел авось да угодит в цель.

Зажегся огонечек, талиб-интервьюер включил магнитофон. В ожидании вопросов Хумам Халиль аль-Балави поерзал на стуле.

— Абу Дуджана, как персонаж интернета, известен нам своими статьями на джихадистских форумах. Мы бы хотели, чтобы почтеннейшая публика узнала о нем побольше. Кто же он?

Балави поднял взгляд на репортера, пуштуна, говорящего по-арабски, который собирал материал для летнего выпуска интернетского журнала талибов "Авангард Хорасана". Что ж, это правильный вопрос. *Кто он на самом деле?*

Балави начал от печки, причем немножко не в тему.

— Ваш меньший брат пришел к вам с Аравийского полуострова, — начал он. — Ему чуть больше тридцати, он женат, имеет двух малолетних дочек.

Возникло ощущение полнейшей нереальности происходящего: в прошлом-то он все о себе хранил в секрете — начиная от имени его интернетского альтер эго и вплоть до решения отправиться в Пакистан. А сейчас сам о себе рассказывает, и получается что-то вроде джихадистского интервью со знаменитостью; перед всем миром он сознается: дескать, да, я (или мой двойник, который зовется Абу Дуджаной аль-Хорасани), бросив все свои писания, отправился совершать джихад. В том, чтобы вот так вдруг выйти на публику, есть и реальная опасность: ведь каждое его слово будут проверять, причем не только разведчики в ЦРУ и Мухабарате, но и контрразведка "Аль-Каиды".

В тот момент все взоры были устремлены на него, и никто — ни на той стороне, ни на этой — не знал, что с этим Балави теперь делать.

Когда зашла речь о публикациях Дуджаны в интернете, Балави вполне непринужденно обрисовал обстоятельства, подтолкнувшие его к написанию первой онлайновой статьи — о разгроме "Аль-Каиды" в иракском городе Эль-Фаллудже[1]. По-

1. Во время наступления на Эль-Фаллуджу в ноябре 2004 г. американцы сбросили на город большое количество белого фосфора; бомбы применялись в нарушение Конвенции ООН о видах обычных вооружений. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

говорил и о тех авторах, которыми восхищался сам. При этом употреблял крепкие выражения: например, хакеров, взламывающих джихадистские сайты (в том числе и старый сайт "Аль-Хезба", на котором он не так давно работал модератором), называл "жидовскими собаками из 'Хаганы'"[1]. Жаловался, что своими кибератаками они прекращают работу форумов и дезактивируют гиперссылки, ведущие к другим джихадистским ресурсам.

Однако его опять и опять заставляли возвращаться к рассказу о себе. *Что изменилось в вас, когда вы ступили на землю джихада?*

– Вы бы лучше спросили, что во мне *не* изменилось! – усмехнулся он в ответ. – Я здесь как будто заново родился!

Это уж – будьте уверены! А вот в том, успеет ли Балави выйти из нового своего младенчества, приживется ли в здешнем чуждом ему мире, уверенности было куда меньше. Балави действительно пригласили пожить среди членов самой мощной в регионе группировки талибов. Приглашение поступило от главаря – низкорослого толстяка с диковинной черной бородищей и садистическим чувством юмора. Его звали Байтулла Мехсуд, и в тот момент розыск по нему велся настойчивее, чем по кому бы то ни было на всем юге Азии.

Байтулла едва умел читать, арабского почти не понимал и посему вряд ли мог оценить писательский дар иорданца. Зато Байтулла доверял своим инстинктам, а они – во время первой же личной встречи – подсказали ему, что молодому врачу можно верить. У них даже нашелся общий знакомый – один из арабских спонсоров Байтуллы знал Балави по его деятельности в качестве модератора на веб-сайте и поручился за него, в результате чего командующий талибов с пониманием отнесся к печальной повести о том, как Балави прессовали, заставляя согласиться поработать на иорданскую разведку. То, что Балави – квалифицированный врач, очень впечатлило Байтуллу, которого мучил диабет и больные ноги, а главное, ему позарез не хватало медиков для ухода за больными и ранеными бойцами. А когда Балави бросил на стол толстую пачку банкнот – подъемные, что выдал ему Мухабарат, – матерого моджахеда оставили последние сомнения.

Но не все были готовы так уж сразу поверить Балави. В лагере Мехсуда суждения главаря зачастую оспаривали его же

1. "Хагана́" (*оборона, защита; ивр.*) – еврейская военная подпольная организация в Палестине, существовавшая с 1920 по 1948 гг. во времена британского мандата в Палестине. С образованием еврейского государства стала основой Армии обороны Израиля.

родичи, особенно двоюродный брат Кари Хуссейн Мехсуд. Всего полугодом ранее, нарушив приказ Байтуллы, Кари Хуссейн обезглавил похищенного польского геолога, записав эту жуткую кровавую казнь на видео. После этого убийства отношения между братьями разладились на много месяцев. Вот и теперь Кари сверлил иорданца взглядом, в котором сквозило подозрение.

Да и вне клана Мехсуда другие группировки тоже выражали открытое недоверие к пришельцу. Уверенный в том, что Балави — шпион, Сираджуддин Хаккани отказался с ним встречаться, так же поступили и командиры "Аль-Каиды", они не хотели даже находиться в одном с ним здании. Так что в случае, если бы Байтулла Мехсуд внезапно исчез, Балави запросто мог разделить судьбу польского геолога.

Ну, то есть в случае, если бы американцы не прихлопнули его первыми. Неослабная угроза смерти под бомбежкой уже вовсю натягивала нервы Балави, как и всех обитателей Территории племен. Негромкое стрекотанье дронов ЦРУ слышалось постоянно и так изводило Балави, что у него началась бессонница. С начала июня "предаторы" нанесли уже восемь ракетно-бомбовых ударов по Северному и Южному Вазиристану, в том числе два по городку Макин, где ночевал и Балави в составе небольшого подразделения боевиков Мехсуда — правда, все в разных домах и, по соображениям безопасности, каждые несколько дней меняя место ночлега. Они перемещались по двое-трое и автомобилями без крайней нужды не пользовались.

Под открытым небом чувствуя себя безопаснее, Балави иногда выносил свою постель во двор. Смотрел в черное, непроглядно-влажное и полное невидимой угрозы небо, а в ушах звучал и бил по съехавшим и так уж набекрень мозгам вопрос интервьюера: *Кто же ты?*

А семечко-то ведь посеял Балави сам. *Я что*, сказал он как-то раз бен Зеиду, я *могу и в ФУТП поехать*! ФУТП это Федерально управляемые территории племен — горная страна, протянувшаяся на северо-западе Пакистана вдоль границы с Афганистаном. В самом названии уже слышится нечто грубое, ничему не подвластное, отсталое и чреватое экстремизмом. Страна "Аль-Каиды". Гм, Балави утверждает, что у него там имеются связи!

Бен Зеид сидит, слушает.

Это происходило в феврале, во время одного из их совместных обедов в Аммане. Они уже провели несколько вечеров вместе, так что беседы стали непринужденнее. У доктора и

офицера разведки даже обнаружилось кое-какое совпадение взглядов — оба, например, терпеть не могли иорданских "Братьев-мусульман", которые в прошлом были радикальным суннитским движением, но, благодаря сделке с монархом, стали легальной политической партией. Балави присутствовал на нескольких обедах "Братьев", так называемых "обедах-мансаф", получивших это наименование от блюда из риса с бараниной, столь любимого в Иордании и весьма популярного на их благотворительных банкетах.

— Братья по мансафу! — усмехнулся бен Зеид. — Болтают о джихаде, мансаф кушают, а в реальности не делают ровно ничего, да?

Заметив интерес к теме, бен Зеид тоже начал исподволь приоткрывать завесу, скрывающую от подопечного мир Мухабарата. Руки у разведслужбы очень длинные и ее достижения велики, сказал он, хотя наиболее крупные из них так и не стали известны общественности. Рассказал бен Зеид и о своем собственном участии в операциях на границе, в ходе которых добровольцев, ушедших на священную войну в Ирак, обманом заставляли являться на приграничные пункты, где Мухабарат и брал их, что называется, тепленькими.

Балави, одобрительно кивая, с уважением слушал.

Между прочим, продолжил бен Зеид, именно иорданская разведка предоставила американцам данные, позволившие нанести сокрушительный ракетно-бомбовый удар по Абу Мусабу аз-Заркави, главарю "Аль-Каиды" в Ираке. А ведь Мухабарату случалось добывать и гораздо более крупную дичь! Как раз таки иорданский агент стоит за одним из самых ловких и загадочных ликвидаций крупных террористов в последние десятилетия: взять хотя бы устранение бывшего шефа безопасности "Хэзболлы" Имада Мугнии[1]. Человека, которого за сверхъестественную неуловимость окрестили Абу Доханом (отцом дыма), уничтожили в Дамаске бомбой, спрятанной в подголовнике сиденья его машины. Вначале подозрения пали то ли на соперников "Хэзболлы" по терроризму, то ли на сирийские спецслужбы. Но эксперты по терроризму в США пришли к заключению, что это, скорее всего, дело рук израильского Моссада — больно уж красиво и точно акция была спланирована и осуществлена; а то, что израильтяне ото всего открещиваются, что ж... На Мугнию точили зубы многие,

1. Имад Фэйез Мугния (1962—2008) — с 1983 г. участник или организатор крупнейших терактов против американцев и израильтян; сотрудничал с бен Ладеном. Погиб в результате взрыва машины в пригороде Дамаска; до сих пор никто не взял на себя ответственность за его убийство.

был он в списках разыскиваемых преступников и у ФБР, которое возлагало на ливанского боевика (коренного ливанца) ответственность за бейрутские взрывы 1983 года, когда взлетели на воздух казармы американской морской пехоты, а перед этим тамошнее посольство США. При взрыве посольства погибло более шестидесяти человек, в том числе восемь сотрудников ЦРУ. В истории разведки Соединенных Штатов таких потерь за один раз прежде не бывало. И только Мухабарату, по словам бен Зеида, удалось покарать злодея.

Нет, ты погоди, погоди удивляться! Одна из самых застарелых загадок, так и оставшихся неразгаданными со времен основания современного джихадистского движения, это кто же все-таки убил Абдуллу Аззама[1] — уважаемого палестинского муллу, который в 80-е годы помогал организовывать в Афганистане партизанскую войну против советского диктата. Аззам был духовным наставником и учителем Усамы бен Ладена, хотя позднее и разошелся с его последователями, подвергнув сомнению их уверенность, что ради продвижения к цели можно проливать сколько угодно и чьей угодно крови, пусть даже правоверных мусульман. Его смерть в 1989 году в Пешаваре от взрыва бомбы, приведенной в действие с помощью провода, тянувшегося из канализационной трубы, стала в мусульманском мире примерно тем же, чем было для американцев убийство Джона Кеннеди: по ее поводу высказывалось множество догадок, озвучивались разного рода теории заговора, попеременно возлагавшие вину за нее то на Советы, то на Израиль, на американцев, пакистанцев, афганцев и даже на самого бен Ладена. А в действительности — ничего подобного, выдержав паузу, тихо и скромно продолжил бен Зеид. На самом деле смерть Аззама тоже дело рук Мухабарата. Бен Зеид даже назвал имя исполнителя этой казни: им, якобы, был непосредственный его начальник Али Бурджак, Рыжий Дьявол.

— Если ты, отправившись туда, ликвидируешь кого-нибудь из главарей моджахедов, станешь в Иордании большим человеком, как мой начальник, — сказал бен Зеид.

Теперь, когда стало окончательно ясно, чего добивается от него Мухабарат, Балави, подумав, решил сделать шажок навстречу. *Я-то могу и в ФУТП поехать.*

1. Абдулла Юсуф Аззам (1941–1989) — выходец из Палестины, влиятельный суннитский ученый, теолог, автор 5 книг по теории и практике вооруженного джихада. Предложил создать некую группу, которая выступит в авангарде всемирного джихада и в то же время станет ядром нового исламского общества, его надежной основой (аль-каида).

Это его предложение вызвало жаркие споры в кабинетах мухабаратского Центра антитеррора, которым совместно управляют иорданцы и ЦРУ. Балави? Да вы что! Какой из него агент? Смех один. Обучение не прошел, на пушту не говорит, да и доверять ему после нескольких суток в тюрьме и двух-трех обедов за компанию с бен Зеидом было бы крайне опрометчиво. Но с другой стороны... чем мы рискуем?

По ключевым пунктам достигнуть согласия удалось быстро. Затратив всего несколько тысяч долларов, можно отправить Балави в Пакистан, снабдив более-менее приличной легендой. К счастью (или несчастью) для него, им уже сделаны вложения, которые позволят мигом стать своим в стране талибов, да и медицинский диплом не помешает, как и известность в интернете. При этом его можно будет как угодно долго кормить одними посулами, плату же приберечь на тот невероятный случай, если он действительно сумеет добыть крупную дичь. Его не надо снабжать хитроумными устройствами связи и вообще ничем таким, что могло бы в кризисный момент изобличить в нем шпиона. А если его убьют (что весьма вероятно), то по нему никто кроме близких родственников плакать не станет.

Не обошлось без обсуждения того, почему вообще этого Балави вдруг осенила мысль бросить семью и работу ради столь опасной деятельности. Чего ради? Судя по тому, как он держался во время бесед с бен Зеидом, ответ казался очевидным: ради денег. Из отчетов куратора, где он подвергал анализу то, что Балави сам говорил о возможном будущем задании, было видно, как его бросает из стороны в сторону — от тревоги за свою безопасность к непрестанно повторяющимся вопросам о размере вознаграждения.

Когда к делу полностью подключилось ЦРУ, логистику путешествия Балави утрясли в два счета. Нужна ускоренная пакистанская виза — нет проблем! Письмо с приглашением иорданского врача в Пакистан на конференцию по диабету — еще проще! Быстренько создали и проверили электронные адреса. Придумали и заучили кодовые фразы.

Так, что еще? Да, ему нужна новая кличка. Нет, ну какие могут быть "панцеры" — бред! Вы бы еще дредноутом его назвали. У нас он будет Волк.

Самым сложным для ЦРУ было решить, информировать ли Пакистан, союзное с США государство, о своем намерении внедрить на его суверенную территорию нелегального агента. На это из Лэнгли ответили без колебаний — конечно, нет. В руководстве возобладало мнение, что в пакистанской "Интер-сервисиз интеллидженс" (разведке и контрразведке) засе-

ли двурушники, сочувствующие Джалалуддину Хаккани, пуштунскому военачальнику, которого Исламабад открыто поддерживал в 80-е, а он переметнулся и помогает теперь афганскому сопротивлению бороться с американцами. Им расскажи, и Балави будет предан и убит прежде, чем распакует чемоданы.

Ну, и последнее: билет на самолет. Билет купили в оба конца, но с открытой датой обратного вылета, и отдали бен Зеиду вместе с толстым конвертом, набитым долларами.

Спустя несколько месяцев некоторые чины американской разведки сами недоумевали: как же быстро-то удалось свести воедино все кончики! И как легко ветеранам разведки задурили головы идеей, будто неумеха Балави сумеет выжить на беззаконных Территориях племен! Хотя бы выжить, а не то чтобы проникать в какие-то бандформирования. Этого не может быть, потому что такого не бывало никогда.

Как-то слишком уж вовремя Балави выложил на стол Мухабарата свой набор козырей: врач по профессии с безупречной репутацией в джихадистских кругах, вдруг решивший положить жизнь на алтарь отечества, да еще и в момент, когда ЦРУ вместе с новой администрацией США изо всех сил чешет в затылке, изыскивая новые методы и новых агентов для эскалации всемирной охоты на Усаму бен Ладена.

"Балави болтанул, что не откажется туда поехать, — сказал один недавно вышедший на пенсию начальник из ЦРУ, который был в курсе внутриведомственных споров вокруг личности иорданца. — И так совпало, что он подходит тик-в-тик".

Хумам Халиль аль-Балави никак не мог уснуть. Прошедший день был адски жарким, до сих пор еще на дворе было градусов под тридцать пять, хотя солнце давно зашло. Хуже всего то, что, когда лежишь в темноте, стрекот и гуденье дронов становится будто громче — зудят, как комары, от которых не отмахнешься.

Всю середину лета домом для Балави служил обнесенный высокими стенами двор, принадлежавший кому-то из соплеменников Мехсуда, которые в основном и составляют население Макина — небольшого поселка, состоящего из саманных строений, беспорядочно разбросанных между поросшими кустарником горами. В доме он не ложился, выносил тюфяк подальше во двор и, развернув поблизости от одного из постов охраны, пытался уснуть. Из густеющих сумерек выступал знакомый силуэт парализованного мужчины, которого бойцы называли Ахмад. Ноги у этого пуштуна перестали действовать по болезни, но он ни за что не желал отказываться от несения ка-

раульной службы, иногда и по окончании вахты не хотел уходить с поста. Сидел и сидел в инвалидном кресле с автоматом на коленях до рассвета. Хумаму было слышно, как инвалид шепчет себе под нос молитвы, а иногда всхлипывает. Этакая демонстрация преданности, и весьма впечатляющая, но, как всё у талибов, доведенная до бессмысленной крайности.

Точно так же и сам Байтулла Мехсуд. Взять хоть мелочи, вроде его поведения во время званых обедов. Байтулла каждый раз целый спектакль разыграет, собственноручно выуживая из котла лучшие куски мяса, чтобы отдать гостям, пока самому не останутся одни кости и жир. От этой показухи Балави передергивало, и он всеми правдами и неправдами старался избегать совместных трапез с хозяином.

Кроме того, Байтулла Мехсуд, похоже, сам попал под влияние мифа о своей неуязвимости. Пробыв два года главой всего пакистанского "Талибана", он полюбил быть в центре внимания массмедиа и с удовольствием созывал пресс-конференции, позволяя нацеливать камеры на голову, за которую, говорят, назначена награда в пять миллионов долларов. А в промежутках между пафосными выступлениями давал длинные интервью по обычному незащищенному телефону, казалось, совершенно забывая о том, что телефонный сигнал в ЦРУ могут использовать как маяк для наведения на его жилище ракеты. В бахвальстве доходил до абсурда: хвастал, будто его крошечная банда неграмотных, плохо экипированных горных бойцов вот-вот победит в сражении не только с властями Исламабада, но и с великими державами Запада.

"Сейчас мы молим Аллаха даровать нам силы на то, чтобы сокрушить Белый дом, Нью-Йорк и Лондон, — заявил он в телевизионном интервью. — Аллах всем дает по их вере. Наша вера тверда. Очень скоро на ваших глазах свершатся чудеса джихада".

Байтулла так настаивал на своем превосходстве в любом деле — от военной стратегии до совершенно прозаических вещей, таких как дележка прибылей от контрабанды, — что это его упорство зачастую приводило к кровавым конфликтам с другими Мехсудами. Ко всему прочему этот, в общем-то мелкий, полевой командир своими выходками с легкостью провоцировал сеть Хаккани, да и другие военные группировки талибов, на никому не нужное противостояние Пакистанской армии и разведслужбе, практически вынуждая Исламабад с ними со всеми разобраться, что в конце концов и происходило. Однажды, окружив и взяв в плен целый гарнизон из двухсот пятидесяти пакистанских солдат и служащих военизированных организаций, Байтулла первым делом троим

пленникам отрезал головы — чтобы бойчей пошли переговоры об обмене пленными.

Как далеко все это было от той исполненной благочестия священной войны, которую Байтулла прославлял в своем блоге! Ни революционером, ни пророком Байтулла Мехсуд не был. А был громилой с непомерно раздувшимся эго, душегубом, получавшим удовольствие от убийства — в том числе и других мусульман. Находившийся под покровительством Байтуллы городок был грязным, отсталым и нищим; там девочки чуть-чуть постарше его дочери Лейлы обречены оставаться бесправными и практически необразованными, а у новорожденных в тех краях шансов умереть, не дожив до года, в три раза больше, чем у детей, родившихся на родине Балави, в Иордании.

При всем при этом на тот момент Байтулла Мехсуд был единственным, у кого Балави мог искать защиты. Правда, они едва друг друга понимали, общались на смеси ломаного арабского и пушту. И тем не менее Байтулла все более убеждался в правдивости иорданца. Но продолжал испытывать: чтобы проверить его взаимодействие с американцами, даже устроил ему что-то вроде необычайного по жестокости экзамена.

План, как вспоминал потом некий посвященный в это дело деятель пакистанского "Талибана", состоял в том, чтобы Балави, задействовав свой канал связи с ЦРУ, заказал ракетный удар по Байтулле Мехсуду, но реальная мишень при этом оказалась бы пустышкой, а не самим предводителем группировки. Балави должен был послать сообщение о том, что Байтулла направляется в район, который называется Ладха, и описать его автомобиль — "тойоту" хэтчбек той модели, которая среди местных жителей известна как *гхвагей* — корова[1]. В машине, изображая Байтуллу, будет ехать один из его доверенных водителей. По всем остальным признакам и машина, и ее маршрут будут в точности совпадать с наводкой, которую Балави даст ЦРУ.

Все получилось как запланировано — во всяком случае, согласно той версии событий, которую озвучили представители талибов. Машину расплющило взрывом, а человек, изображавший главаря племени мехсудов, погиб. В местной прессе об инциденте ничего не сообщалось, никаких подтверждений со стороны ЦРУ тоже не последовало. Но в среде бойцов Байтуллы этот случай сразу сделался легендарным.

1. "Гхвагей" — так там именуют не определенную модель "тойоты", а все дорогие полноприводные машины, потому что их контрабандой перегоняют через границу с Афганистаном по бездорожью, подобно стадам коров.

Позже Байтулла Мехсуд утверждал, что в план был посвящен и водитель, — дескать, он сам вызвался принести себя в жертву, чтобы помочь боссу доказать ЦРУ, что Балави действительно ценный агент. Стороннему наблюдателю такая жертва может показаться непомерной, но у главаря талибов были свои резоны. Каждая американская ракета, освещающая взрывом небо над Пакистаном, говорил он, подобна плакату на рекрутском пункте, призывающему идти на джихад: она привлечет в его лагеря новых разгневанных мужчин и юношей.

"Каждый удар с беспилотников, — повторял он, — приводит ко мне троих или четверых новых шахидов".

Пятого августа Байтулла Мехсуд с небольшой группой верных телохранителей под покровом темноты передислоцировался в Зангару, крошечный городок в нескольких милях к востоку от основной базы в Макине. На окраине городка располагалась большая и хорошо ему известная усадьба, обнесенная высокой стеной. Это был дом его тестя, Малика Икрамуддина, откуда он взял молоденькую девушку, недавно ставшую его второй женой. В тридцать пять лет, будучи отцом четырех дочерей от другой жены, Мехсуд посчитал своевременным приложить серьезные усилия к тому, чтобы обзавестись наследником.

Но он не знал, что каждое его движение записывают. Следят сразу две пары электронных глаз — "предатор" и еще один дрон поменьше, кружащий совсем близко. Беспилотники проследили за ним до Зангары и наблюдали, как он вошел в сложенную из саманных блоков хижину. Один из дронов сманеврировал так, чтобы заглянуть в комнату на втором этаже, где Мехсуд расположился. Тотчас же в шести тысячах миль к западу, посреди штата Виргиния, в Лэнгли, коридоры административного этажа наполнились беготней — это из кабинета в кабинет носили срочные донесения: идентификация цели подтверждается. Можно бить прицельно.

Но Мехсуд внезапно опять задвигался, заходил туда и сюда по верхнему этажу дома в своем белом шальваре камизе[1]. Пилот-оператор и наводчик оружия "предатора" выпустили из рук джойстики и молча смотрели на экраны. Что ж, придется подождать.

1. Шальвар камиз обычно состоит из трех частей: шальвар (шаровары) — брюки, широкие или узкие; камиз (курта) — туника с разрезами до талии; дупата — платок, шарф, обычно накидывающийся на плечи.

Ночь была жутко жаркой, и Мехсуд все никак не мог улечься. Из-за диабета его постоянно мучила жажда, а ноги опухали и болели. Вскоре после полуночи он отворил маленькую дверку и в сопровождении человека в длинном халате и с медицинскими инструментами в руках поднялся на крышу. Полная луна заливала ее ярким сиянием, в котором бородатая фигура Мехсуда выступала так четко, словно он на подмостках сцены. На крыше лежал тощенький тюфячок, к которому Мехсуд подошел и плюхнулся на живот. Второй человек встал около него на колени и начал налаживать нечто похожее на капельницу для внутривенных инъекций. Эксперты ЦРУ без колебаний пришли к выводу, что вторая фигура — врач. Может быть, это Балави? Впрочем, какая разница. "Предатор" снова нацелил на дом свои "хеллфайры".

Ракету можно пускать, было бы только "добро" директора ЦРУ, но тут-то и загвоздка. Леон Панетта разрешил удар по комнате второго этажа, а Байтулла Мехсуд лежит на крыше. Это разница, и не такая уж незначительная: Панетта настаивал на максимальных предосторожностях, чтобы избежать гибели непричастных, особенно женщин и детей. Что, если при попадании ракеты весь дом рухнет? Панетта, может быть, и одобрит несанкционированный пуск, а может, и нет. Но решать следует быстро: того и гляди упустим удобный случай.

В тот самый момент Панетты в его рабочем кабинете не было, он находился в центре Вашингтона, на совещании Национального совета безопасности в Белом доме. Когда на часах было без нескольких минут четыре пополудни (вашингтонского времени) он, извинившись, покинул собрание и вышел в коридор, чтобы ответить на срочный телефонный звонок. Послушав, нахмурился, явно встревожившись. Несколько минут расхаживал по коридору с прижатым к уху мобильником, задавал вопросы, выясняя подробности и обсуждая варианты действий. По многим признакам в одном доме с Мехсудом было несколько десятков человек, в том числе матери с детьми.

— А вся хибара-то не рухнет? — спросил Панетта. — Кто там, кроме него? В смысле — женщины, члены семьи...

На другом конце линии один из ближайших помощников директора, старший советник по антитеррору Джереми Бэш, передавал его вопросы по инстанциям дальше. Да, точный выстрел произвести будет непросто, ответили Панетте — с восьми километров, попробуй-ка! — но можно воспользоваться ракетой поменьше, она не произведет таких серьезных раз-

рушений. Прицеливание выполним с беспрецедентной точностью. И ущерб зданию будет нанесен минимальный.

На это Панетта согласие дал.

В пакистанской деревне в это время был час ночи. Байтулла Мехсуд, главарь пакистанского "Талибана" и главный защитник иорданского врача Хумама аль-Балави, расслабленно лежал теперь на спине, в его вену из капельницы вливалось лекарство. Вот его ноги, а вот к ним протянулись чьи-то руки, вроде бы молодые... Нет, сообразили в ЦРУ, руки принадлежат не доктору, а молодой жене, которая массирует больному опухшие щиколотки. Не обращая внимание на отдаленное стрекотанье дрона и не слыша тонким свистом прорезавшей ночной воздух ракеты, он глубоко вздохнул и посмотрел вверх, на звезды.

Ракета пригвоздила Мехсуда к тюфяку, войдя ему чуть ниже грудной клетки и разорвав тело надвое. Маломощный заряд взрывчатки, сдетонировав, отбросил его жену назад, а в том месте, где она только что стояла на коленях, выбил в штукатурке и кирпичах небольшой кратер. Звук взрыва задвоило эхо от ближайших холмов и — тишина.

Вверху еще несколько минут продолжали кружить дроны, не выключая видеорегистраторов. В Лэнгли наспех составили рапорт и отправили Панетте в Белый дом.

Погибших двое, других убитых и серьезно раненных нет. Здание стоит, как стояло.

8. *Давление*

Виргиния, Лэнгли – август 2009

11 августа, почти через неделю после удара той ракетой, пакистанским журналистам позвонил представитель "Талибана", чтобы опровергнуть "нелепые" слухи о смерти Байтуллы Мехсуда. Вождь талибов "жив и находится в добром здравии", сказал он, добавив, что подтверждение этому скоро увидит весь мир.

К тому моменту Леон Панетта уже видел все подтверждения, насмотрелся и был сыт ими по горло. Заснятое на видео попадание ракеты, убившей Мехсуда, было во всех жестоких подробностях воспроизведено на гигантском мониторе в кабинете директора в Лэнгли. Как будто этого мало, следом всплыло и другое видео — про то, как соратники готовят тело командира талибов к похоронам. Перед командой антитерро-

ра ЦРУ предстало лицо человека, чью смерть они организовали, — бледное и спокойное, в грубом дощатом гробу, где голова убитого покоилась на подушке, усыпанной бархатцами. Рука оставшегося за кадром скорбящего гладила лицо трупа, обходя десяток с лишним свежих ран, испещривших кожу вокруг глаз и на лбу.

Времени долго вглядываться в картинки у Панетты не было. Предыдущие несколько дней его помощники набрасывали проект предложения, которое он понесет в Белый дом. На пакистанской Территории племен дела ЦРУ еще не закончены, и Панетта собирался лично обратиться к президенту за помощью. Из всего множества секретных планов, которые ему приходилось визировать в качестве директора ведомства, ни один еще столь уверенно не сулил перелома в войне против "Аль-Каиды".

Успешная ликвидация Байтуллы лишь подчеркнула срочность работы, которую предстояло выполнить. Во-первых, непонятно, что с "устройствами" Мехсуда. Все лето, пока ЦРУ разыскивало главаря талибов, тысячи пакистанских солдат при поддержке боевых вертолетов прочесывали горные крепости талибов, по одному уничтожая укрепления и убежища. К тому времени, когда кампания завершилась, из захваченного пакистанцами стрелкового оружия можно было сложить гору, а взрывчатки набралось столько, что шахидских поясов хватило бы на школу-медресе. А вот "грязной бомбы" не было и следа. Счетчики излучений не пикнули ни разу. Руководители Центра антитеррора в ЦРУ много недель ломали головы над тем, что бы это могло значить. Многие из выживших талибов сбежали в соседний Северный Вазиристан, ища укрытия в доминирующей там военной группировке "Сеть Хаккани"[1]. Может, они с собой и бомбу прихватили? А может быть, все это было не более чем уловкой? На это тайные донесения ответа не давали. В перехваченных разговорах никаких упоминаний об "устройствах" больше не звучало, да и в Вашингтоне администрация Обамы ни словом не обмолвилась об угрозе грязной бомбы. На публике все выглядело так, словно такой опасности никогда не существовало.

Самое неприятное, что подразделения Байтуллы Мехсуда очень быстро перегруппировались и стремительно сменили курс на новый, еще более опасный. Ракетный удар в ночь на 5

1. Независимая террористическая организация в Афганистане, возглавляемая полевым командиром Джалалуддином Хаккани и его сыновьями Сирахуддином и Бадаруддином.

августа вызвал временный вакуум власти и привел к нескольким кровавым уличным столкновениям между претендентами на место Байтуллы, но затем власть взял в свои руки харизматичный двоюродный брат Байтуллы, дерзко-амбициозный Хакимулла Мехсуд. Если Байтуллу вполне удовлетворяли нападения на пакистанские войска и полицию, то его кузен оказался одержим куда более злокачественным антиамериканизмом и его куда легче было склонить к альянсу с "Аль-Каидой" и другими военными группировками, нападающими на американские войска в Афганистане. Теперь еще больше воинов-мехсудов стало записываться в Теневую армию "Аль-Каиды" – военизированные формирования, которыми руководил ливийский командующий Абдулла Саид аль-Либи, причем эта организация (имеющая даже особую форму) уже доказала свою способность наносить молниеносные удары по военным целям по обе стороны границы. Эти формирования стали новыми отборными отрядами "Аль-Каиды", получающими финансирование и пополнение из таких отдаленных мест, как Саудовская Аравия и Кашмир.

Такая вот перед Панеттой выросла проблема. Конечно, удары с воздуха каких-то целей достигают, но этого недостаточно. Убитых командиров вскоре сменяют другие, часто более молодые, настроенные еще более экстремистски и преисполненные глобальных амбиций. "Аль-Каида" приспосабливается, опираясь на все расширяющуюся сеть преданных последователей из самых разных незаконных военных формирований, которыми регион кишит кишмя. А наиболее значимые фигуры во всем этом движении, Усама бен Ладен и его разработчик операций Айман аз-Завахири, между тем сидят в безопасных убежищах и занимаются вопросами стратегии. Чтобы выкурить их оттуда, требуется что-то большее.

Конец лета и начало осени Панетта со своей командой посвятили окончательной отработке детального плана, который директор должен будет представить президенту и его Совету по национальной безопасности, на целый месяц завязшему в пересмотре общей стратегии войны в Афганистане. Панетта приготовил длинный список пожеланий, но самая первая позиция в нем была и самой важной: больше роботопланов! Их требуется множество! Нужны не только "предаторы", но и новейшие, более мощные "риперы", нужны к ним операторы и всяческая техника поддержки. Панетта хотел бы на порядок усилить давление на "Аль-Каиду", причем не только путем увеличения огневой мощи, но и при помощи ковровой, всеохватной слежки – в Территорию племен должны круглые сутки вглядываться столько глаз (как че-

ловеческих, так и электронных), чтобы никакое движение даже мелкой группы боевиков не могло от них укрыться. И надо, чтобы в целом это стало "самой агрессивной операцией в истории Управления", как позднее скажет сам Панетта, поскольку ее целью будет найти и уничтожить седобородых старцев, которые сеют смуту.

— Все руководство "Аль-Каиды" — сам бен Ладен и двадцатка высших главарей — сосредоточено в местности, которую надо сделать главной целью, — сказал Панетта. — А мы будем тем острием копья, которое эту цель поразит.

Когда настало время озвучить свои намерения, Панетта отправился в Белый дом, чтобы лично выступить с речью перед президентом Обамой.

— Мистер президент, — начал он, — для того чтобы выполнить поставленную задачу, мне нужны вот какие вещи...

Упомянув о живучести "Аль-Каиды" на Территории племен, он предложил выжимать оттуда террористов, сделав давление повсеместным, чтобы им негде было ни спрятаться, ни перегруппироваться.

Обама пару секунд задумчиво глядел на Панетту, потом повернулся к помощникам.

— Что ж, сделаем то, чего хочет Леон, — сказал он.

Обсуждение было закончено.

На то чтобы развернуть новые "орбиты" (так на ведомственном жаргоне в ЦРУ именуются комплексы беспилотных летательных аппаратов с операторами, спутниковой связью и обслугой), уйдет еще не один месяц, но собирать воедино все детали задуманного механизма начали немедленно. Согласно новой концепции, наводчики на цель понадобятся не только в Лэнгли, но и ближе к фронту, чтобы координировать весьма специфическую задачу поиска высших главарей "Аль-Каиды".

Пределы возможностей новой стратегии всем понятны. "Предатор" — это, конечно, впечатляющая машина, но превосходство в воздухе и изощренная робототехника дают не так уж много, когда враг рассредоточен по обширным пространствам Территории племен и прячется среди местного населения. Такая же техника позволила переломить ход событий, когда боролись с сопротивлением в Ираке, но тут есть существенное отличие: в оккупированном войсками США Ираке подразделения спецназа имели свободный доступ в любой уголок страны. Они работали с дронами в тандеме и могли незамедлительно, в любое время дня и ночи, реагировать на поступление новых разведданных, выдвигаясь небольшими группами для ликвидации или захвата. В Пакистане таких возможностей нет.

И еще одна проблема. Чтобы уничтожить генералов "Аль-Каиды", ЦРУ требуется сперва их найти. Со времени террористических атак Усамы бен Ладена на Нью-Йорк и Вашингтон прошло девять лет, а разведка США до сих пор понятия не имеет, где он находится.

Дело обстояло даже хуже, чем представлялось со стороны. За годы, прошедшие после терактов 11 сентября, официальные лица США несколько раз в своих интервью заявляли, будто ЦРУ приблизительно известно, где прячется бен Ладен. Однако они всего лишь выдавали желаемое за действительное. Последний случай, когда бен Ладена, похоже, и впрямь видели, имел место в 2002 году, вскоре после того, как саудовский террорист, покинув крепость Тора-Бора, перебрался из Афганистана через границу в Пакистан. И с той поры ничего — ни сообщений о едва не состоявшейся его поимке, ни очевидных ниточек, ни даже крошечной зацепки. Министр обороны Роберт Гейтс в приступе откровенности признал (в телеинтервью 2009 года), что дело о бен Ладене не сдвигается с мертвой точки "уже который год".

"Достоверно о местонахождении Усамы бен Ладена нам ничего не известно, — сказал Гейтс. — Было бы известно, пошли бы, да и схватили".

Время от времени какие-то зацепки вдруг возникали — казалось, чтобы оживить интерес к охоте. Одна из самых многообещающих материализовалась в виде курьера "Аль-Каиды", который будто бы носит записки, осуществляя связь между командирами среднего звена и бен Ладеном, тщательно избегающим телефонов и электронной почты. Почти всех наводчиков ЦРУ, в том числе Дженнифер Мэтьюс и Элизабет Хэнсон, сразу же подключили к поискам этого курьера. Через два года тяжелейшей работы, в результате нескольких удачных прорывов в 2007-м, Управление в конце концов вызнало фамилию этого человека; и тем не менее, спустя два года, никто так и не знал, ни где его искать, ни даже жив ли он.

Стойкая пробуксовка в деле поимки бен Ладена была этакой ложкой дегтя в бочке меда, жирным черным крестом, перечеркивающим два величайших тактических успеха в истории ведомства: первым было свержение власти талибов в 2001-м, а вторым — искоренение "Аль-Каиды" в Афганистане. Когда развалины башен-близнецов в Нью-Йорке еще курились дымом, ЦРУ уже ринулось в такую яростную атаку, что ускользнуть от его когтей удалось всего нескольким сотням пеших боевиков и горстке старших командиров, а тысячи других легли в землю или очутились за тюремными стенами.

Разгром "Талибана" был заслугой маленькой группки сотрудников ЦРУ, которые давно рвались заняться бен Ладеном — рвались задолго до того, как он отправил команду угонщиков с приказом врезаться на авиалайнерах в здания Нью-Йорка и Вашингтона. С подачи этих сотрудников уже через пару часов после атак 11 сентября директор ЦРУ Джордж Тенет положил на стол президенту Бушу план, согласно которому следовало начинать атаку на "Аль-Каиду" в Афганистане немедленно, не ожидая, пока Пентагон подготовит обычную военную кампанию. На встрече с президентом 13 сентября Кофер Блэк[1], который в ту пору был директором Центра антитеррора ЦРУ, объяснил, как можно силами подразделений спецназа под управлением специалистов из ЦРУ и при поддержке войск дружественного США афганского Северного альянса за неделю-другую сломить сопротивление тех, кто планировал позавчерашние атаки.

"Когда мы свою работу с ними закончим, — произнес Блэк свою знаменитую фразу, — по их открытым глазам будут ползать мухи!"

Буш план одобрил, и операция "Удар в челюсть" началась. Всего через три месяца, в декабре 2001 года, правительство "Талибана" пало, и остатки ополчения талибов ударились в бега через Южный и Восточный Афганистан. А Усама бен Ладен с несколькими сотнями последних верных ему людей попытался закрепиться в горной крепости Тора-Бора на границе с Пакистаном.

Однако пока в Пентагоне дискутировали, посылать туда для завершения дела американские войска или нет, главарю террористов удалось бежать, по слухам дав взятку кому-то из афганских армейских командиров. Просочившись сквозь окружение, которое в основном обеспечивали проамериканские формирования афганцев, его люди попытались укрыться сперва в Джелалабаде, а потом в деревнях восточных провинций Кунар и Хост. Недолгое время бен Ладен пробыл в качестве гостя у Джалалуддина Хаккани, своего бывшего соратника по гражданской войне, разгоревшейся в результате вторжения Советов, после чего окончательно исчез в горах Пакистана.

1. Джозеф Кофер Блэк (р. 1950) — 28 лет прослужил в ЦРУ; сейчас вице-президент госкорпорации "Блэкберд текнолоджиз", созданной для "предоставления разведке технических решений". В 2001 г., будучи главой Центра антитеррора ЦРУ, создал из своих агентов фальшивую ячейку "Аль-Каиды" для проникновения в ее внутренние структуры. В июле 2001 г. предупредил президента о грозящих стране терактах.

Что касается второго лидера "Аль-Каиды", то он ускакал в Пакистан верхом на лошади несколько другим маршрутом. В последующие годы мелькал то тут, то там, всегда проявляя бешеную активность, но все попытки поймать или убить его срывались. Бен Ладен же являл свой лик только на видео, его борода становилась все длиннее и белее, а обычную камуфляжную форму сменили халат и арабская куфия. Официально его поиски продолжались, но в реальности не делалось ничего, так как не было ни одной зацепки.

Спецподразделение ЦРУ "Алек-стейшн", созданное в 1996 году исключительно для поимки бен Ладена, постепенно лишилось всех своих наиболее квалифицированных поисковиков и наводчиков, которых забрали себе другие группы, занятые охотой на фигурантов меньшего масштаба. В 2005 году его расформировали.

Полученные Панеттой новые "предаторы" прибудут в Афганистан еще не скоро, лишь к концу года. Зато новыми сотрудниками свою кабульскую базу ведомство прямо-таки засыпало, и в их числе оказались некоторые из лучших наводчиков на цель. Послали туда и Элизабет Хэнсон.

До тех пор тридцатилетняя наводчица на цель с невероятным успехом поработала над доброй дюжиной весьма заметных мишеней, свои труды венчая взрывами ракет "хеллфайр" на пакистанской Территории племен. Помогла ЦРУ обнаружить кое-кого из крупнейших деятелей джихада — от Усамы аль-Кини до Байтуллы Мехсуда. И вот ее перевели в Афганистан осуществлять новый рывок в деле розыска теперь уже верховных вождей.

Августовский Кабул встретил ее пряными ароматами, пылью и испепеляющей жарой, так что предупреждения матери, прежде не достигавшие ее ушей, теперь зазвучали в полный голос. Хэнсон-старшая, которую тоже звали Элизабет, была совсем не рада тому, что дочь пошла служить в ЦРУ, а решение отправиться в такое опасное место, как Афганистан, и вовсе повергло мать в ужас. Неделями она пыталась отговорить дочку и продолжала раздраженно спорить, даже когда стало ясно, что решение это бесповоротно.

— А ты не думаешь, что, прежде чем туда ехать, сперва следовало хотя бы карате обучиться? — спросила мать накануне отъезда.

— Ну мам, — парировала дочь, — когда доходит до того, что требуется карате, игра уже проиграна.

В этом была вся Элизабет (Битси или Обезьянка, как звали ее в кругу семьи) — такая упрямица, что не переспоришь, зато

уж как скажет, так обязательно с веселой подковыркой; тут и захочешь, не станешь на нее сердиться. Миссис Хэнсон не оставалось ничего иного, кроме как отпустить дочку, но она взяла с нее обещание звонить домой каждый день и круглые сутки носить мобильник при себе, чтобы — мало ли что! — до нее всегда можно было дозвониться.

По правде говоря, миссис Хэнсон давно боялась, что этим кончится. Однажды, еще маленькой девочкой лет четырех, Битси, сидя за обеденным столом в своем кресле, заявила — очень по-взрослому, — что "хочет попробовать в жизни все и научиться всему, чему только можно". С этими словами она схватила хрустальный фужер с водой и с такой силой куснула его край, что посыпались осколки.

"Битого стекла у нее полный рот был, — вспоминает мать. — Но ее это нисколько не смутило".

Прошли годы, и ровно с той же целью она пошла в ЦРУ, предпочтя романтику и приключения большим деньгам, которые с ее образованием — частная школа, диплом экономиста — могла бы зарабатывать с легкостью. Она была очень женственной, обожала детей, любила красиво одеваться, ходила с маникюром, но, если надо, не гнушалась и замараться — будь то во время скалолазанья, прыжков с высоты на "тарзанке" или стрельбы из гранатомета с последующим ползаньем по грязи на полигоне разведшколы ЦРУ. Сама себя признавала занудой — конечно, кто же еще будет в свободное время читать учебник физики! — но вместе с тем умела внезапно становиться уморительно смешной, отчего друзья вполне серьезно советовали ей попробовать себя в амплуа эстрадного комика. Такая карьера, возможно, больше понравилась бы матери, если бы она не считала, что дочкино чувство юмора "не очень подходяще для юной леди".

То, что Битси вызвалась служить в Афганистане, было весьма под стать ее неуемной натуре; по словам друзей, получив шанс туда отправиться, она от радости была сама не своя. Жизнь даже в относительно безопасной афганской столице и то сопряжена с серьезным риском, ведь и там иногда бомбисты-смертники таранят колонны военных грузовиков, да и по пятизвездочным отелям нет-нет шарахнет очередью какой-нибудь фанатик с автоматом. Работать и жить Элизабет Хэнсон предстояло на базе ЦРУ внутри супербезопасного посольства США, однако по работе ей придется иногда встречаться с осведомителями, для чего нужно будет выходить за бронированные ворота. Хэнсон и здесь станет наводчицей на цель, но теперь она сосредоточит усилия на том, чтобы находить и убивать высших лидеров "Аль-Каиды" и "Талибана" — тех, кто

вдохновляет афганских мятежников и замышляет террор против Запада. Да-да, речь шла о фигурах именно такого масштаба, в том числе и о самих бен Ладене и аз-Завахири.

Мать никогда не выпытывала у Битси, в чем конкретно состоит ее служба, но, представляя себе общий смысл, не могла понять, каким образом дочка оказалась психически готова к работе, которая включает уничтожение других людей, пусть даже террористов. Вновь и вновь она задавала этот вопрос и дочери.

Политически Элизабет Хэнсон склонялась больше влево; как утверждает ее мать, "войну она ненавидела". Однако сомнений в том, что она делает нужное дело, у нее не возникало.

"Одобряешь ты войну или нет, это без разницы, — повторяла старшая Хэнсон слова дочери. — Либо ты прячешь голову в песок, либо надо помогать тем, кто на войне, кто ради тебя дерется".

В общем-то позиция ее дочери, как вспоминала потом мать, сводилась просто к тому, чтобы "делать то, чего нельзя не делать".

На новом месте Хэнсон в рабочий ритм вошла быстро. Выделенное ей жилье было крошечной клетушкой с общей для нескольких таких же комнат ванной, соседи подобрались не слишком-то располагающие к общению, и она предавалась работе. Четырнадцать часов в день, семь дней в неделю. Обедала прямо за рабочим столом. Вечером прерывалась, чтобы позаниматься гимнастикой. Когда в Лэнгли только начинали просыпаться, она успевала уже переделать дел на целый рабочий день, а потом еще на один полный день, когда сотрудники Центра антитеррора задавали ей вопросы, ожидая от нее новых данных.

Ее мишени теперь стали гораздо ближе — чуть-чуть к востоку, всего в каком-нибудь получасе лёта на вертушке: прятались в глубоких горных ущельях Кунара или Хоста, в крайнем случае на пакистанской Территории племен. Байтуллы Мехсуда среди них уже не было, однако его приспешники-талибы никуда не девались. Так же как и все эти Хаккани вместе с военизированным ополчением Теневой армии, верной "Аль-Каиде". Где-то там же, в какой-нибудь затерянной в горах деревушке замышлял следующий налет Шейх Саид аль-Масри, быть может консультируясь с Айманом аз-Завахири или даже самим Усамой бен Ладеном.

Если их в принципе можно разыскать, Элизабет Хэнсон их разыщет.

9. *Начальница*

Афганистан, Хост – 19 сентября 2009 г.

Без двух минут пять утра, за два часа до рассвета, Дженнифер Мэтьюс проснулась, оттого что где-то бабахнуло. По звуку вроде близко, хотя точно в темноте не определишь, да она и не привыкла еще к таким вещам; а бабахнуло будь здоров как: в ее крошечной комнатке даже фотографии в рамках на стене затрепетали. Она выпрыгнула из постели, схватила бронежилет и каску, вышла и направилась к бомбоубежищу. *Ракетная атака.*

Во дворе еще несколько фигур ковыляли той же дорогой; некоторые хмуро здоровались. Черное небо было все еще усыпано меловой крошкой звезд, но новой луны, которая нынче поздним вечером должна обозначить конец месячного праздника Рамадан, еще не было и в помине. Где-то в городе муэдзин завел предрассветный призыв к молитве, и его певучий баритон, то вздымаясь, то опадая, звучал под аккомпанемент разносящихся по базе из динамиков клекота и гудения, оповещающих о тревоге.

Мэтьюс ощущала тяжесть воздуха, даже в этот час еще жаркого. В пыльном тумане посадочные огни на взлетном поле светились желтым, бросая слабые отблески на запекшуюся землю за оградой. Выше по ущелью, словно отдаленные созвездия, мерцали гроздья крошечных огоньков армейской базы "Салерно".

Вид туда открывался чарующий и странно спокойный. Боевики Хаккани, изредка стрелявшие в сторону базы из миномета, не так уж часто попадали в цель, так что общие собрания в бетонном убежище, необходимые весьма условно, вызывали лишь раздражение, давая, впрочем, редкую возможность набраться свежих сплетен. Но начальницу базы Мэтьюс, еще и суток не прослужившую на новом для нее поприще, даже такая ерунда восхищала. Что казалась страннова-тым для женщины, которая всего неделю назад была живущей в пригороде мамой троих детей, работавшей в сверкающем офисном здании на севере штата Виргиния — но ей в Афганистане и правда понравилось.

"Здесь все так бодрит!" — поделилась она впечатлением с близким приятелем из Управления, оставшимся на родной земле. Пусть афганская командировка отнимет у нее год жизни, пусть почти все это время она проведет в разлуке с детьми, которых у нее трое. Жаль, конечно, что целых двенадцать

месяцев ей не посещать бейсбольных матчей, не целовать детей на ночь, не переживать из-за их мелких болячек и школьных передряг, не ходить на школьные концерты и не сидеть со всей семьей за обедом. Особенно жаль Рождества. Но Мэтьюс сама сюда вызвалась и теперь постарается извлечь из нового опыта все возможное. И по мере сил будет наслаждаться каждым проведенным здесь мигом: ну и пусть среди ночи иногда приходится нестись в бомбоубежище — даже это можно воспринимать позитивно.

В тот день налет оказался, слава богу, коротким, больше никаких взрывов не последовало. Вертолетчики облетели вокруг базы с прожектором, нашли разрозненные части тела и быстро сообразили что к чему. Какой-то одиночка, пользуясь безлунной ночью, подполз к главному въезду на базу и попытался прикопать СВУ, то есть самодельное взрывное устройство, спрятав его в рытвину на дороге, по которой через несколько часов пройдет утренняя колонна грузовиков. Но его бомба взорвалась преждевременно, разбросав куски тела подрывника по шоссе. Почти в точности такой же инцидент произошел на этом же месте несколько месяцев назад, разве что тогда лежать на шоссе остались двое несостоявшихся минеров, один из них школьный учитель.

Как ни странно, подобные вылазки лишь подкрепляли уверенность Мэтьюс в том, что не так уж и опасно жить в столь неспокойном месте. Она и родственникам, и друзьям говорила, что в Хосте будет в полной безопасности, поскольку за забор выходить не станет. Группы местных джихадистов довольно регулярно расшибают себе лбы о стены базы, но серьезной опасности они не представляли никогда.

“Мне она говорила так: ‘Я никогда не позволю себе лезть на рожон — у меня же дети!’ — вспоминает некий коллега из ЦРУ, видевшийся с Мэтьюс за несколько недель до того, как она улетела в Азию. — Наверное, и впрямь в это верила”.

С первого взгляда Мэтьюс решила, что жизнь в горячей точке не столь уж плоха. Этот свой первый взгляд на будущий афганский дом она бросила с качающегося борта вертолета “блэк хоук” после получасового полета из Кабула. Город и база ЦРУ притулились на горном плато, окруженном серо-коричневыми хребтами, которые вновь прибывшей показались такими же, как где-нибудь в Аризоне или Нью-Мексико. “Смотришь, и такое вдруг чувство, будто вот-вот из-за утеса выедет ковбой с рекламы ‘Мальборо’”, — пошутила она в одном из имейлов своей интернет-знакомой в Виргинии.

Суровая красота этих мест лучше всего открывается с воздуха. На севере, в ясный день хорошо видимые с базы, высят-

ся Белые горы, где моджахеды когда-то отгрохали целый укрепрайон с фортификационным комплексом Тора-Бора, который в 2001 году был взят, но Усаму бен Ладена упустили. Невидимая линия, отделяющая Афганистан от Пакистана, пролегает по другому горному хребту, он пониже и миль на двадцать восточнее. Расположенная между ними территория по афганским меркам почти процветает: сплошь орошаемые поля и кое-где даже деревья — не то что чуть ли не повсеместно в остальной стране: пустая бурая земля, в жаркое время года нещадно выжженная.

Город Хост, население которого составляет 160 тысяч человек (по национальности главным образом пуштунов), в 80-е годы выдержал четырехлетнюю военную осаду советских войск, но остался поразительно целым[1]. Вместо развалин и разорения в глаза бросается обычная бедность: лабиринт грязных улочек с глинобитными дувалами и лавками по сторонам и единственным более-менее приметным общественным зданием — построенной патриархом клана Хаккани Джалалуддином красивой мечетью с бирюзовым куполом. С востока город замыкают бетонные полосы аэропорта "Хост" и территория базы, островок Америки, изолированный от принимающей страны концентрическими кругами "бастионов Hesco"[2] — однотипных для всех американских военных объектов в Афганистане ограждений из прямоугольных мешков с песком — и колючей проволокой "концертина". Летное поле еще хранит кое-какие реликты советского присутствия: приземистую двухэтажную диспетчерскую башню (построенная русскими, она и теперь служит наблюдательной вышкой) и около десятка ломаных летательных аппаратов 1980-х годов по одну сторону от взлетной полосы. Более новые постройки в основном представляют собой военные сборные конструкции — например, грузовые контейнеры, наспех превращенные в казарменные бараки. Все вокруг — как природного происхождения, так и созданное руками человека (сооружения, улицы, дома, транспортные средства, форма военнослужащих), — одного и того же размыто-бежевого или грязно-коричневого цвета, тем более блеклого, что все покрыто слоем вездесущей пыли.

1. Автор ошибается: во время Афганской войны (1979—1989) город примерно 8 лет осаждали моджахеды.
2. Укрепления "Hesco Bastion" представляют собой короба из пластиковой рогожи, армированной крупной проволочной сеткой. Сложенные гармошкой, они компактны и легко разворачиваются, а заполненные песком или землей являются хорошей защитой.

Жизнь за проволокой не только предположительно безопасна, но и уровень комфорта там гораздо выше среднего. В столовой кормят на удивление вкусной едой, вплоть до лобстеров и крабовых ножек по пятницам. В комнате отдыха — телевизор. Снабженный спутниковой тарелкой, он предоставляет возможность смотреть прямые трансляции бейсбольных и футбольных матчей или новейшие голливудские шедевры. Поодаль бар с таким разнообразием вин и таким свежим, всегда холодным пивом, что свободные от службы сотрудники ЦРУ (охрана и обслуга не допускается) постоянно там толпятся. Спортзал блестит и сверкает новейшим оборудованием для фитнеса — от щадящих суставы "эллиптических" тренажеров до стоек со штангами олимпийского стандарта.

Мэтьюс предпочитала бег и вскорости завела привычку после захода солнца, зашнуровав кроссовки, делать кружок-другой вокруг летного поля вместе с довольно пестрой по составу группой военных и сотрудников ЦРУ, называвших себя "Клубом бегунов Хоста". Позанимавшись спортом, она возвращалась в свой больше схожий с трейлером домик, оборудованный тем, что было величайшей привилегией (во всяком случае, с ее точки зрения) — личной ванной. Надо сказать, что Мэтьюс долго спорила, прежде чем ей удалось отвоевать для себя право на такую приватность — роскошь, которой она дорожила больше всего.

От жилья до рабочего кабинета два шага, что куда приятнее, нежели два часа по шоссе, да еще и в пробках, неизбежных на столичной кольцевой. Но на новом посту ей предстоит испытание куда более трудное, чем то, что выпадало на ее долю дома. Здешнюю главную тематику, то есть все касающееся "Аль-Каиды" и повстанцев "Талибана", она знает назубок. Руководить людьми ей приходилось и прежде. Но теперь она должна командовать американцами и афганцами, мужчинами и женщинами, которые работают там, где рвутся реальные бомбы и летают пули. Впервые в жизни она должна, принимая решение, понимать, что выбор, сделанный ею в кабинете, может иметь для ее подчиненных серьезные последствия вплоть до летальных.

Как и прежде, Мэтьюс была подотчетна боссам из Лэнгли, но теперь она сталкивалась с партнерами, неизвестными ей прежде, с людьми, которые думают совершенно по-другому и чьи приоритеты и установки отличаются от принятых в ЦРУ. Это военные из Пентагона, натовское начальство в Кабуле, местные офицеры в Хосте и вокруг него, а теснее всего сотрудничать она должна была с командами спецназа, тоже

базирующимися на базе ЦРУ. В армии спецназовцы — как на гражданке рок-звезды: преисполненные уверенности в себе и своем мастерстве, они привыкли, чтобы к ним относились как к элите. Естественно, на базе они кучкуются вместе с такими же "спешл-форсес" ЦРУ, к ним тяготеют несколько служащих военизированного цеэрушного подразделения "спешл-активитис", да и подразделение охраны базы сюда же — бывшие "зеленые береты" и отставные "морские котики", считающиеся теперь гражданскими и работающие в частной охранной фирме "Блэкуотер". Некоторые с цеэрушниками держатся надменно, считая их салагами и "ученными в говне моченными". И не только потому, что сотрудникам ЦРУ не хватает военной выучки; многих присылают даже без знания местных языков и культуры, и они сидят на базе, боясь нос высунуть, а военные, разумеется, это видят.

Неприязнь имеет свойство быть взаимной. Болтая в своем кругу, при упоминании о виртуозах рукопашного боя оперативники и аналитики кривятся, видя в них питекантропов с ручищами ниже колен и безголовых бодибилдеров с самомнением, раздутым, как их накачанные бицепсы. И с той и с другой стороны это, конечно, всего лишь стереотипы, а вот что́ Мэтьюс действительно задевало, слишком даже задевало, так это мужской скептицизм — мужчины как будто не верили в ее способность справиться с работой. На протяжении всей своей карьеры она воевала за то, чтобы доказать обратное.

В 1989 году, когда Дженнифер Мэтьюс приняли на службу, мир ЦРУ был очень мужским. В тот же день, 3 января, в Управление поступили еще три женщины, и вся четверка сразу решила держаться вместе — всё же "единственные женщины в разливанном море мужчин", как вспоминала потом одна из них.

Случайно вышло так, что они оказались похожи: четыре белые женщины лет двадцати пяти, примерно одного роста, стройные шатенки. Когда они вчетвером (а это бывало частенько) шли по коридору, в чопорных пиджачных коридорах Лэнгли все чуть ли не сворачивали шеи. Вместе девушки ходили перекусить в кафетерий, вместе ездили в отпуск и даже помогали друг дружке в свадебных приготовлениях. Мэтьюс сразу ощутила необходимость взвалить на себя ношу старшинства, тем более что она и впрямь была на несколько недель старше подруг. Когда их, еще курсанток, определяя куда направить, на собеседовании спросили, как они видят свое будущее в ведомстве, Мэтьюс без колебаний ответила: "Вижу себя директором ЦРУ".

Эта беззастенчивая амбициозность вкупе с уверенностью в том, что силой воли и трудолюбием можно достичь чего угодно, была присуща ей с малолетства. Еще девчонкой, средней из троих детей штамповщика и санитарки, живя в семье, кое-как влачащей существование в рабочем пригороде Харрисберга, Пенсильвания, она корпела над книжками, в то время как ее подруги бегали за мальчиками и веселились на вечеринках. Чуть повзрослев, осознала себя феминисткой и еще крепче уверовала в божественное предназначение, которое в конце концов непременно определяет нашу судьбу. В детстве и отрочестве ее мирок был ограничен небольшим кружком воцерковленных христиан-сектантов, исповедовавших патриотизм, фундаментализм и признававших лишь буквальное толкование Библии. Ее подход к религии с возрастом слегка изменился, но всю оставшуюся жизнь она продолжала считать себя евангельской христианкой.

По окончании средней школы Дженнифер уехала на запад штата Огайо, в городок Седарвиль, где поступила учиться в баптистский университет — маленькое частное заведение, в котором гордятся строго богословским подходом ко всем наукам. Изучая там радиовещание, она познакомилась с таким же, как она, любителем бега трусцой, студентом отделения фармацевтики Гэри Андерсоном, буквально помешанным на религии парнем, за которого и вышла замуж. Позже оба посещали расположенный неподалеку Университет Майами в Огайо, который Дженнифер окончила с дипломом политолога. Недолгое время, выбирая, куда податься, она работала помощником нотариуса, пока какой-то ее родственник, уже освоившийся в разведке, не посоветовал ей попробовать устроиться на службу в ЦРУ.

В те дни очень немногие женщины удостаивались чести быть допущенными в элитное братство оперативных сотрудников, поэтому Мэтьюс и три ее новые подружки удовлетворились должностями, традиционно открытыми для женщин. Мэтьюс стала аналитиком по визуальным образам и часами корпела над спутниковыми фотографиями фабрики в Ливии, заподозренной в производстве химического оружия. Имея природный писательский дар, позже она стала ответственной за отчеты: теперь ей в обязанность вменялось переводить полученные с мест сырые разведданные в нечто похожее на связный текст.

Даже на этой должности Мэтьюс ощущала острейшую необходимость перещеголять окружавших ее мужчин — хотя бы для того, чтобы ее просто заметили, вспоминает одна из коллег, входивших в ближний круг ее подружек.

"Мы не щадили себя, не жалели времени. Каждая везла вместо центнера тонну. Ну и, естественно, делали больше мужчин", – сказала эта подружка, которая тоже, подобно Мэтьюс, впоследствии работала тайным оперативным сотрудником "под прикрытием".

Муж Мэтьюс устроился работать в швейцарскую компанию и уехал в Женеву, куда за ним последовала и Дженнифер, но пробыла там недолго. По возвращении пара, в интересах карьеры жены, выбрала загородную жизнь под Вашингтоном. Поскольку они работали в разных городах (Мэтьюс в пригороде Вашингтона, а ее муж в Ричмонде), дом купили примерно посередине, около Фредериксберга и, мотаясь на работу, накатывали по сто с лишним миль в день. Фамилию себе Мэтьюс оставила девичью; когда пошли дети, супруги стали нанимать нянек, чтобы Дженнифер могла быстрее возвратиться в офис. По словам их друзей, она обожала своих детишек, но без работы жить не могла. Стать домохозяйкой было бы для нее тем же, что отрастить плавники и жить в океане.

"В этом она была завзятой феминисткой, но в отношении брака и семьи сохраняла очень традиционные взгляды, – сказала одна из ее приятельниц из Управления. – Была в ней та двойственность, что позволяет отделять одну сторону собственной жизни от другой. Отчасти это и делало ее хорошим аналитиком".

После Швейцарии Мэтьюс вернулась в Управление в 1996-м, но запросы имела уже другие. Из аналитического отдела перешла в Оперативный директорат, то есть туда, откуда ЦРУ управляет нелегальными операциями за рубежом. Новая работа потребовала многих недель тяжелой физической тренировки в учебном лагере ЦРУ, который называется "Ферма". В итоге ей пришлось пожертвовать правом даже на собственное имя, став оперативником "под прикрытием". Сама ее личность стала государственной тайной – в точности как у Валери Плейм, ее коллеги, которую вскоре угораздило стать всемирно знаменитой[1].

1. Валери Плейм-Уилсон (р. 1963) – оперативный сотрудник ЦРУ, специализировалась на оружии массового уничтожения. В 2003 г. ее муж, дипломат Джозеф Уилсон, попытался через газету "Нью-Йорк таймс" дезавуировать заявление президента Буша о том, что у Ирака есть ядерное оружие, после чего массмедиа раскрыли истинное место работы Валери Плейм, и в 2005 г. она была уволена. В скандал были вовлечены высокопоставленные чиновники; супруги прославились, оба написали книги о своих приключениях; по книге Валери Плейм "Честная игра" в Голливуде снят фильм "Игра без правил" (2010).

Но по-настоящему Мэтьюс продвинулась, когда вошла в состав небольшого подразделения при Центре антитеррора, которое внутри ведомства называли "Алек-стейшн". В этой группе свели вместе сотрудников с разным опытом и подготовкой, чтобы они, объединив способности, все силы бросили на изучение малоизвестной исламистской террористической группы, которая сама себя именует "Основой", или "Аль-Каидой". В 1996-м, когда к ним присоединилась Мэтьюс, это подразделение в ЦРУ считалось задворками. Террористические группы рассматривались как угроза второстепенная, да и терялась среди них "Аль-Каида" рядом с такими большими и богатыми организациями, как "Хезболла" и "Хамас". Но в 1998 году все стало меняться. "Аль-Каида" организовала одновременно взрывы посольств США в Кении и Танзании, унесшие жизни двухсот двадцати человек, эти вылазки катапультировали бен Ладена на самые верхние строчки списка преступников, разыскиваемых ФБР, и внезапно группа "Алек-стейшн" с ее аналитиками сделалась всем нужна.

В группе все так бредили идеей убийства вожаков "Аль-Каиды" и так друг с другом сроднились, что стали в шутку называть себя "семейкой Мэнсона"[1]. Самым сложным оказалось убедить официальный Вашингтон, что Усама бен Ладен представляет угрозу для США и на американской территории тоже. Твердо ведомые начальником подразделения Майклом Шоэром, человеком прямым и никогда не скрывавшим своих взглядов, они постепенно завоевали поддержку высшего руководства ЦРУ, вплоть до директора Джорджа Тенета и Кофера Блэка, который был тогда главой Центра антитеррора. Группа Шоэра разрабатывала планы экстренной ликвидации бен Ладена с последующим изгнанием его союзников талибов из Афганистана, для чего предполагалось опереться на дружественных афганских моджахедов и недавно приобретенные ведомством беспилотные летательные аппараты "предатор". Однако администрация Клинтона в 1999 году упустила случай ликвидировать бен Ладена, а чиновники новоизбранного президента Буша, отклонив настоятельные просьбы Тенета разрешить ему активные действия, тянули с обсуждением вопроса об "Аль-Каиде" в высших инстанциях аж до 4 сентября 2001 года. А неделей позже взращенные "Аль-Каидой" угон-

1. Коммуна калифорнийских хиппи, члены которой под руководством своего лидера Чарльза Мэнсона в 1969 г. совершили ряд жестоких убийств; в числе прочих была зарезана беременная жена режиссера Романа Полански.

щики врезались на коммерческих реактивных лайнерах в башни Всемирного торгового центра и в здание Пентагона.

То утро в Лэнгли ничего не предвещало, начинался обычный рабочий день, даже не все сотрудники успели съехаться на работу, и тут первый самолет в 8.46 утра врезался в Южную башню Всемирного торгового центра. Когда через семнадцать минут еще один самолет влетел и во вторую башню, все так и выдохнули: "*Аль-Каида*"!

Кофер Блэк, директор Центра антитеррора ЦРУ, предположил, что штаб-квартира ЦРУ тоже может быть выбрана террористами мишенью, и приказал основной массе сотрудников покинуть здание. Сам же вместе с аналитиками из "Алекстейшн" остался, и вместе они взялись за работу. Кое-кого из них родные дожидались потом со службы несколько дней.

"Мы вступили в войну, особую войну, такую нам вести еще не приходилось, — обратился Блэк к команде специалистов. После чего последовал и собственно приказ о выступлении: — Каждому из нас придется выполнить свой долг. И не всем будет дано с этой войны вернуться".

Близкие друзья Мэтьюс говорят, что эти несколько недель навсегда ее изменили. До событий 11 сентября она тоже, бывало, задерживалась на работе вместе с коллегами из "Алекстейшн", пытаясь проникнуть в замыслы "Аль-Каиды", которые, как им казалось, еще можно было купировать, но после тех страшных атак и вовсе не возвращалась домой по нескольку дней и спала в кресле. В те дни она была беременна третьим ребенком и так себя физически истощила, что дождалась выкидыша, хотя это несчастье при такой работе могла бы и предвидеть. Однако продолжала работать, а в разговорах с друзьями постоянно повторяла, что опасается неминуемой новой атаки, и только ЦРУ имеет средства, чтобы ее предотвратить. Коллеги Мэтьюс по ЦРУ говорят, что из всех борцов с "Аль-Каидой" ей первой пришлось "хватануть цикуты".

Также первой была Мэтьюс и в череде сотрудников, возведенных в ранг наводчиков на цель — тогда эта профессия в Центре антитеррора только зарождалась, — и вскоре получила серьезное задание: руководить розыском одного из управленцев "Аль-Каиды", который проходил по делу под боевой кличкой Абу Зубайда. Настоящее имя этого палестинца было Зайан аль-Абидин Мухаммад Хуссейн; до 11 сентября он руководил джихадистским лагерем около Хоста и за годы деятельности обеспечил подготовку и переброску в Афганистан многих десятков боевиков "Аль-Каиды". Мэтьюс подозревала, что как раз Зубайда должен знать детали планов второй волны атак "Аль-Каиды" на США, и убедила руководство ЦРУ разре-

шить ей собрать команду из недавно нанятых на службу сотрудников для координации его розыска в глобальных масштабах.

Мэтьюс выгородила себе рабочее место в небольшом конференц-зале, и скоро там от людей и компьютеров стало тесно. Ее ребята работали не покладая рук неделями, пока в марте 2002-го не удалось выйти на финишную прямую: они обнаружили убежище Зубайды в пакистанском городе Файзулабаде. 28 марта пакистанская и американская разведки общими силами произвели там облаву; правда, захватить фигуранта удалось лишь после перестрелки, серьезно раненным. Зато он оказался первым значимым деятелем "Аль-Каиды", которого ЦРУ удалось зацапать.

Уже через несколько дней после поимки Зубайда преподнес следствию ценный подарок — выдал имя главного автора атак 11 сентября, которым оказался некий Халид Шейх Мохаммед[1]. Но потом Зубайда отвечать на вопросы перестал, и администрация Буша санкционировала применение к нему "усиленных методов допроса", в том числе и вотербординга. Среди свидетелей этой процедуры была и Мэтьюс, прилетавшая в Таиланд координировать действия дознавателей. А через несколько лет те допросы стали предметом ожесточенной грызни и разбирательства. Группы правозащитников, депутатские комиссии и даже бывшие чины администрации Буша перелопатили все, что касалось методов работы ЦРУ с Зубайдой, само имя которого стало символом скандала, связанного с использованием секретных тюрем, расположенных там, где не действуют обычные ограничения со стороны закона, и применением таких способов допроса, которые Международный комитет Красного Креста считает недопустимыми. Позже обнаружились факты, свидетельствующие о том, что Зубайда вовсе и не входил в круг подлинных главарей "Аль-Каиды", а был простым снабженцем и к стратегическим планам террористов имел доступ весьма ограниченный. Несмотря на это в Центре антитеррора Мэтьюс продолжали восхищаться как сотрудником, благодаря которому впервые удалось захватить террориста высокого ранга и вывести ЦРУ на главного организатора атак 11 сентября.

1. Халид Шейх Мохаммед (р. 1965) — пакистанский белудж, родившийся в Кувейте; по окончании университета в США, в 1986 г. уехал в Пакистан, где стал заниматься террористической деятельностью. В интервью в 2002 г. называл себя главой военного совета "Аль-Каиды"; участвовал во многих знаменитых терактах, лично обезглавил американского журналиста Дэниела Перла. В мае 2012 г. на базе в Гуантанамо начался суд над ним.

К середине десятилетия Мэтьюс выдвинулась, стала руководящим менеджером и направляла работу нескольких различных групп Центра. А по ходу дела старалась сдружиться с другими, столь же суровыми, дамами, выбившимися в начальство на несколько карьерных прыжков раньше. Одной из ее новых наставниц была известная крутым нравом рыжеволосая особа, игравшая ключевую роль во многих самых агрессивных (и самых сомнительных, как по методам, так и по результатам) операциях ЦРУ — от пресловутых допросов с пристрастием до засекреченной программы "переброски подозреваемых", в рамках которой оперативники ЦРУ отыскивали подозреваемого в терроризме в стране его проживания, похищали, перевозили в третью страну и уже там допрашивали, а если нужно, пытали. Обе женщины были страстными поклонницами одного и того же актера, Томми Ли Джонса[1], обе любили цитировать одну и ту же реплику из вышедшего в 2007 году фильма "Старикам тут не место": "Грядущего тебе не остановить. И жизнь под себя не подстроить".

По мере продвижения Мэтьюс наверх, ее все чаще винили в грубости, нетерпимости и упрямстве. Но больше всего она свирепела, если кто-то позволял себе усомниться в том, что она, будучи женщиной, способна справиться с каким-нибудь делом — каким угодно. По Лэнгли пошло гулять новое нелестное прозвище, которым наделил ее кто-то из коллег-мужчин, обозвав Железной Дженни.

И дома, и позже в Хосте она вновь и вновь ощущала необходимость жестко себя поставить, держалась так, будто она всегда на страже, беспрерывно ведет битву за уважение к женщине в мире, где доминируют мужчины.

"Вы все время пытаетесь объяснять мужикам, как им делать их мужское дело, — сказал ей однажды некий ветеран ЦРУ из афганцев, консультировавший Мэтьюс перед отправкой в Хост. — Обычно знаете, как на это отвечают? 'Милочка, что ты в этом смыслишь?'"

Правда Хост, в котором очутилась Мэтьюс, был не чета Хосту, который видели те, кто попадал туда несколькими годами раньше. В то время, когда база еще не стала достаточно безопасной для всяких там аналитиков и наводчиц, Хост безраздельно принадлежал уникальным, имеющимся только у Аме-

1. Томми Ли Джонс (р. 1946) — американский актер и режиссер; наиболее известен в амплуа невозмутимых, рассудительных шерифов, следователей и спецагентов, хотя успешно играл и эксцентричных злодеев.

рики, подразделениям "блэк-опс" — военизированному крылу САД[1]. Кадры этих подразделений набираются в основном из "зеленых беретов", "морских котиков" и других элитных армейских подразделений; с 1950-х годов служащие САД сделались главной в Америке ударной силой, способной действовать тайно и вне рамок каких бы то ни было норм, в том числе и принятых правил ведения военных действий; именно они осуществляют акты саботажа, совершают санкционированные сверху убийства и сражаются под видом неизвестно кому подчиненных партизан. В 2001 году команды САД совместно с подразделениями десантно-диверсионных частей как раз и были на острие удара по "Аль-Каиде" в Афганистане, они же свергли правительство Талибана. На исходе года около десятка служащих таких подразделений, готовясь начать зачистку последних очагов сопротивления талибов, стали лагерем в восточной части города Хост, и с тех пор служащие САД пребывают там постоянно.

В те последние дни 2001 года, пока Мэтьюс и ее подчиненные в Лэнгли с болью наблюдали за тем, как Усама бен Ладен, заметая следы, уходит в Пакистан, на авиабазе в пакистанском городе Джакобабад собрали отряд коммандос САД и вертолетом перебросили через горы в Хост с приказом взять под контроль аэродром. Задание было выполнено, хотя в первые минуты после их приземления дело явственно пахло катастрофой.

Легко одетые и с одним лишь стрелковым оружием, они прибыли в Хост в два часа ночи, причем ночи морозной. Душу грел лишь чемодан денег, да обещание местного полевого командира, который сам был противником талибов, оказать помощь. Местный командир ждал их, как и было обещано. Но вместе с ним их ждали и боевики конкурирующих кланов. Стоя на почтительном расстоянии, автоматчики в тюрбанах кидали друг на друга сердитые взгляды через головы американцев, оказавшихся между двух огней.

Несмотря на темноту, американские коммандос заметили, что некоторые афганцы — как с той, так и с другой стороны — достают гранаты. Позже в ЦРУ узнали, что моджахеды, оказывается, собирались биться насмерть друг с другом, потому что и те и другие хотели получить все привезенные американцами деньги и современное оружие.

"Не успели о нашем скором приезде узнать в одной группировке, как сразу эта новость облетела всех, — рассказывает

1. Отдел специальных мероприятий ЦРУ (Special Activities Division; SAD).

американский военный, который при сем присутствовал. — Была еще кромешная ночь, никто из них не успел даже выпить чаю, вот и схватились за гранаты".

Один из служащих ЦРУ мигом выступил вперед и принялся расхваливать гостеприимство и храбрость афганцев. Карманы Дяди Сэма глубоки, заверил он присутствующих, в толпе которых преобладали грубые, бородатые лица явных бандитов, многим американцам живо напомнившие персонажей какой-нибудь сцены в картине из очередной серии "Звездных войн". Боевики расслабились, стали расходиться, обстановка временно разрядилась. Почувствовав облегчение, усталые солдаты с осторожностью двинулись через темный город, оставив часть людей в брошенной начальной школе обустраивать ее под временный форпост.

На роль крепости школа подходила плохо. Здание стояло на транспортной магистрали, поэтому защитить его от бомбистов-смертников, да и от ракетных атак тоже, было бы почти невозможно. В близлежащих домах и среди деревьев было где спрятаться снайперам. В здании не работал ни водопровод, ни электроснабжение. Город был и так-то грязен и зловещ, да в нем к тому же правили вооруженные банды чуть ли не семи различных кланов, чьи симпатии и антипатии менялись день ото дня. Раздававшиеся там и сям в самое неожиданное время суток выстрелы держали людей в напряжении: никогда нельзя было сказать с уверенностью что́ это — нападение или очередная афганская свадьба.

Самый тяжелый момент настал 4 января 2002 года. После встречи американцев со старейшинами пригородной деревушки какой-то увешанный оружием афганец внезапно открыл огонь по прибывшим из Хоста коммандос. Один из бойцов военизированного подразделения ЦРУ упал: пуля попала в грудь сквозь щель между пластинами бронежилета. Упал еще один американец — энергичный сержант-связист из "зеленых беретов" по имени Натан Чапмен, ветеран "Бури в пустыне", направленный в Хост в распоряжение ЦРУ. Чапмену, которому шел тогда тридцать второй год, пуля угодила в бедро, и поначалу считали, что он ранен не так серьезно, как боец спецподразделения ЦРУ.

В считаные минуты оба были в вертолете, который доставил их назад в Хост, где раненный в грудь боец постепенно пошел на поправку. Чапмену же никак не могли остановить кровь: у него оказалась перебита бедренная артерия. К тому времени, когда вертолет приземлился в Хосте, молодой сержант скончался. Он оказался первым американским военным, погибшим в сражении на афганской земле.

Вскоре после этого ЦРУ переместило свою базу за город, ближе к аэродрому. В аэропорту, хотя и много лет простоявшем в запустении, хватало места и для отдыха, и для работы, да плюс еще диспетчерская башня — во-первых, совершенно целая, а во-вторых, на ее крыше можно поставить пулемет, из которого удобно было бы вести огонь на все триста шестьдесят градусов. Взлетное поле вполне ремонтопригодно, пусть и замусорено ломаной и разбомбленной авиатехникой времен советской оккупации. Американцы принялись за работу, для начала заполнив землей емкости "бастионов Hesco", из которых возвели стены того, что должно было стать первой базой ЦРУ в Афганистане за пределами Кабула.

Новый объект кто-то предложил именовать "Передовой оперативной базой Чапмен" — по имени первого бойца спецназа, погибшего несколько дней назад. Это стало официальным названием базы, хотя большинство обитателей называло ее незатейливо: база в Хосте.

Первым делом следовало решить, как быть с самой крупной группировкой боевиков в регионе. Местный полевой командир Джалалуддин Хаккани много лет был на жаловании у ЦРУ, когда во время войны с Советами служил командиром афганских повстанцев, и теперь под его началом были тысячи боевиков — вдоль всей афгано-пакистанской границы. В 1990-х, после того как в стране пришел к власти "Талибан", он провозгласил себя союзником талибов, но на деле был сам по себе: его больше интересовало сохранение собственной империи, основанной на контрабанде и рэкете, чем теология или завоевания.

Кроме того, Хаккани хранил верность друзьям, в том числе и бывшему товарищу по оружию Усаме бен Ладену. Репутации этих двоих сложились в 80-х, когда они успешно сражались с Советами в горах вокруг Хоста, многократно доказывая непроницаемость этих мест для русского вторжения. Бен Ладен, сын богатого строительного магната, использовал поступающие из Саудовской Аравии деньги и свои связи среди инженеров-строителей, чтобы помочь партизанам-моджахедам выстроить комплекс тоннелей и крепостных сооружений на основе горных пещер. А полевой командир Хаккани приобрел громкую славу, когда лично вел своих бойцов к невероятным, подобным победе Давида над Голиафом, победам над советским спецназом, действовавшим при поддержке боевых вертолетов. Советы заняли Хост и удлинили взлетно-посадочную полосу его аэродрома, тщетно пытаясь бомбежками выбить Хаккани и его союзников из их горной цитадели.

Итак, когда коммандос САД совместно с проамериканскими войсками афганцев в конце 2001 года чуть было не схватили бен Ладена, главарь "Аль-Каиды" обратился за защитой к тому высокому густобородому военачальнику, плечом к плечу с которым сражался против диктата Советов. Хаккани предложил старому другу убежище в доме на окраине Хоста — чтобы тот подождал там, пока не откроется возможность безопасно уйти в Пакистан вслед за своими последователями.

А Хаккани остался. В падении режима талибов он почти не сомневался и готов был переметнуться к новым хозяевам, что в прошлом случалось уже много раз. Официальные лица в Пакистане, имевшие с ним дело не первый десяток лет, настоятельно рекомендовали американцам примириться с Хаккани и, возможно, даже дать ему какой-нибудь второстепенный пост в новом афганском правительстве.

Однако в Вашингтоне чиновники Буша в Министерстве обороны торговаться были не склонны. Хаккани способствовал бегству Усамы бен Ладена, так, может быть, он и теперь знает его местонахождение? Как сообщает бывший высокопоставленный американский чиновник, непосредственно участвовавший в событиях, с эмиссарами Хаккани провели два раунда секретных переговоров — сперва в Исламабаде, затем в Объединенных Арабских Эмиратах. Но на обеих встречах, как говорит этот чиновник, со стороны США предлагались одни и те же условия: безоговорочная капитуляция вплоть до согласия самого Хаккани облачиться в оранжевый комбинезон и присоединиться к другим заключенным в недавно открытом американском тюремном лагере в Гуантанамо, на Кубе. Пробыв там какое-то время — видимо, до тех пор, пока не расскажет военным дознавателям все, что знает о бен Ладене, — Хаккани получит разрешение вернуться домой.

То, что Хаккани на эти условия не пойдет, было заранее очевидно, сказал все тот же бывший чиновник от разведки.

"Лично я всегда верил, что работать вместе с Хаккани мы как раз могли бы, — сказал этот чиновник. — Но в то время никто за горизонт не заглядывал, не думал о том, где мы можем оказаться лет через пять. Для политических кругов все было просто: 'чурок пора хватать за яйца'".

И точно: Хаккани отказался. В 80-х Джалалуддин Хаккани чуть не десять лет изводил русских партизанскими вылазками. Теперь, в возрасте пятидесяти одного года, он был не прочь повоевать и с американцами. Со временем так называемая Сеть Хаккани, которой руководил его сын Сираджуддин, превратилась в одну из главных угроз силам США во всем Афганистане; именно боевики Хаккани будили теперь Мэтьюс и

ее коллег по ночам, обстреливая ракетными снарядами стены базы в Хосте.

Бен Ладен сбежал, шли годы, а военизированные формирования ЦРУ в Афганистане продолжали действовать как и прежде, совершая свои операции и возвращаясь в небольшие, обнесенные стенами базы, где они жили и сражались бок о бок с афганскими солдатами. Да и старая база САД в Хосте выросла, раздалась и взяла на себя новые функции — в основном поддержку начинаний Пентагона. Выслеживание бен Ладена переместили в Пакистан, предоставив это дело главным образом роботам-дронам. И только тогда сотрудников ЦРУ из Лэнгли — оперативников, наводчиков на цель и аналитиков — стали регулярно допускать на фронтовые базы, чтобы они, влившись в ряды увешанных оружием мужиков, стали им помогать, собирая и интерпретируя разведданные, а там, глядишь, и руководить ими начали.

Тем временем в Лэнгли запустили программу перекрестной тренировки двух очень разных категорий сотрудников. Бойцов САД стали обучать классическим методикам сбора информации, а от направляемых в Афганистан гражданских сотрудников потребовали прохождения трехнедельных "подготовительных курсов для отправки за рубеж", дабы научиться выживать в зоне военных действий. В программу этих курсов входит стрельба, оказание первой медицинской помощи и преодоление на автомобиле дорожных препятствий и засад. Но, едва программа была запущена, некоторые тренеры стали жаловаться на ее неадекватность.

"Все это — сущий ликбез, начальный, рудиментарный уровень, — сетовал опытный преподаватель, который провел один курс обучения. — Не овладение специальностью, а лишь ознакомление с нею".

Десятью годами ранее такой же курс длился двадцать одну неделю и давал обширные знания по взрывчатым веществам и минному делу, слушатели обучались действиям в составе спецкоманды и подбору людей для таких команд, с ними проводились занятия по штурманскому и даже парашютному мастерству. Но эту длинную программу свернули, сочтя, что она чересчур дорога и отнимает слишком много времени, тогда как ведомству требуется разворачивать фронтовые операции быстро. Часть навыков, которым обучали в ходе этого курса (парашютное мастерство, например), сочли ненужными: и впрямь, зачем все это сейчас, когда столь многое в разведке зависит от компьютерных сетей, спутников и робототехники.

"После 11 сентября стали задаваться вопросом: каждого ли сотрудника надо обучать всем этим сложным премудро-

стям? Ответом было решительное 'нет', — сказал некий уволенный в отставку преподаватель "курсов для отправки за рубеж". — Проще ведь переложить эту часть работы на других".

Вот на этих-то самого разного вида и свойства премудростях и сосредоточилась деятельность военных и бойцов военизированных формирований. "Мясоеды", как некоторые из них себя называют, в Хосте по-прежнему необходимы. Но командная роль им больше там не отводится.

Теперь, когда подтвердилось, что Байтулла Мехсуд мертв, Мэтьюс, сидя в командном центре, могла сконцентрировать все свое внимание на миссии, которую она всегда считала первостепенной: розыск и уничтожение бен Ладена, его заместителя Аймана аз-Завахири и их непосредственных подручных.

Мэтьюс быстро оценила необычайно мощный инструментарий, который она может применить для этой охоты, находясь на базе. Первым и главным инструментом являются Поисковые группы — новые финансируемые ЦРУ подразделения афганских коммандос, обученных в САД. Это три тысячи бойцов в одной только восточной половине Афганистана; все по национальности пуштуны (кто афганского, кто пакистанского происхождения), которые могут, переодевшись в местное гражданское платье, просачиваться через границу, чтобы убивать и похищать подозреваемых в терроризме и собирать информацию. Разведданные они передают размещенным на базе американским оперативникам, которые, наряду с информацией, полученной обычным телефонным и интернет- перехватом, сливают их в гигантские резервуары данных ЦРУ, чтобы все это изучали наводчики на цель — Элизабет Хэнсон и ей подобные. Явные наводки на конкретных террористов при этом быстро превращаются в четкие географические координаты для растущего флота "предаторов".

За восемь лет практики все колесики и рычажки механизма отшлифовались, и обычно все идет гладко. А недавно мужчинам и женщинам, приставленным к этой сложной машине ЦРУ, открылись новые признаки продвижения вперед. Судя по перехваченным разговорам между перепуганными главарями группировки, после года непрестанных ударов с воздуха руководство "Аль-Каиды" в Афганистане совершенно дезорганизовано. Бен Ладен ушел в такое глубокое подполье, что практически его как бы и вовсе не стало. А Завахири, хотя все еще и направляет стратегию, ношу каждодневного командования операциями перевалил на нескольких подручных — главным образом на египтянина, известного под именем

Шейх Саид аль-Масри: именно он заполнил собою брешь, пробитую в их рядах гибелью Усамы аль-Кини. Однако, судя опять-таки по перехватам ЦРУ, этот аль-Масри как лидер весьма непопулярен: он оказался тираном и интриганом, помешанным на власти. Боевики "Аль-Каиды", чьи разговоры удалось прослушать, горько на него друг другу жаловались.

Но самая светлая новость пришла не из Пакистана, а из Аммана. Иорданской разведке удалось завербовать прекрасного осведомителя, в своем роде звезду, и теперь его с помощью ЦРУ забросили на Территорию племен. Этот новый агент-иорданец на несколько месяцев куда-то канул, однако недавно вынырнул с информацией, от которой захватывает дух. За эти месяцы ему каким-то образом удалось проникнуть сперва в пакистанский "Талибан", а затем, по всем приметам, в саму "Аль-Каиду". Так что на совещаниях высшего руководства ЦРУ в Лэнгли старшие менеджеры, понизив голос, заговорили уже о "золотом источнике".

Этот *золотой источник* забил где-то совсем рядом, за ближними горами в Пакистане, всего, может быть, милях в пятидесяти от крошечного кабинетика, где работала теперь Мэтьюс. Сидела, просматривала поступившие за день телеграммы и с нарастающим нетерпением ждала, что будет дальше.

10. *Двойной агент*

Виргиния, Лэнгли – сентябрь–октябрь 2009 г.

Смотри присоединенный файл.

Свидетельство первой большой победы Хумама аль-Балави – благодаря которой он одним махом завоевал репутацию лучшего агента десятилетия – пришло в штабквартиру ЦРУ в конце августа утром в виде абракадабры компьютерного шифра в файле, прикрепленном к имейлу. Специалисты по дешифровке уже были наготове и набросились на файл, как банда японских поваров на морепродукты для суши. Они расчленяли и фильтровали, разлагали большие куски информации на отдельные биты и байты и вновь собирали воедино.

Через несколько дней тщательное изучение подтвердило: первоначальное впечатление было верным, файл подлинный. А все вместе – просто чудо какое-то!

Чуть ли не месяц после смерти Мехсуда казалось, что Балави исчез с лица земли. От него не поступало ни электронной почты, ни телефонных звонков, и даже перехваченные пере-

говоры талибов никак не объясняли, что с ним приключилось. И вдруг в конце лета он снова вынырнул, прислав бен Зеиду короткую записку. В ней он писал, что вернулся, да не просто так, а с подарком, причем с таким, которого бен Зеиду стоило так долго дожидаться.

Подарок оказался небольшим файлом с изображением — несколькими секундами видео, снятого с руки плохонькой камерой из тех, какие можно купить в любом магазине электроники за несколько сотен долларов. На видео была заснята небольшая группа людей в традиционной пуштунской одежде, собравшихся в плохо освещенной комнате. На переднем плане молодой человек, вначале лишь силуэт... но вот он поворачивается, и выясняется, что это Балави. А ближе всех к нему худощавый темнобородый мужчина лет сорока, который сидит и что-то говорит. Лицо этого человека было мгновенно узнаваемым: эксперты ЦРУ по антитеррору его хорошо знали, хотя ни один американский служащий не видел его целых восемь лет. Звали мужчину Атийя Абд аль-Рахман[1], и был он одним из ближайших остающихся в живых пособников главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.

Аль-Рахман, ученый-теолог ливийского происхождения, стал ближайшим соратником бен Ладена еще в 80-х, а после разгрома Тора-Боры в конце 2001 года они вместе ушли в Пакистан. Впоследствии он, по слухам, перебрался в Иран, но в 2006-м вновь вышел на поверхность в качестве одного из главных стратегов и духовных наставников "Аль-Каиды". Именно аль-Рахман безуспешно пытался обуздать главаря "Аль-Каиды" в Ираке Абу Мусаба аз-Заркави, когда его садистские нападения на шиитов в их святых местах в Кербеле, Багдаде и Самарре стали отвращать от "Аль-Каиды" общественное мнение в Ираке. О том чтобы аль-Рахмана кто-то видел, достоверных свидетельств не поступало годами, и вдруг — вот же он, на видео: проповедует, а осведомитель ЦРУ сидит у его ног.

При виде этакого все сперва разинули рты, потом разразились потоком вопросов. Но отрицать очевидное было невозможно: иорданский врач Хумам аль-Балави действительно побывал в одной комнате с представителем верховного командования "Аль-Каиды". Да еще и умудрился заснять происходящее на видео. И донес свидетельство об этом до самых, можно сказать, дверей ЦРУ!

За все восемь лет, что прошли с начала войны против "Аль-Каиды", так глубоко в нее не проникал никто.

1. Убит 22 августа 2011 г. бомбой с беспилотника.

Три раза в неделю Леон Панетта открывал свой кабинет на седьмом этаже для главных деятелей, ведающих в ЦРУ антитеррором. Совещания велись в присутствии его заместителя Стива Кэппса, а также директоров Отдела тайных операций и Центра антитеррора, окруженных целым сонмом помощников и работников пресс-службы. Рассевшись вокруг массивного, красного дерева, стола Панетты под изорванным американским флагом, развевавшимся когда-то над Всемирным торговым центром, они попивали кофе из фарфоровых чашечек и обсуждали последние события в Пакистане. И вот однажды, в начале сентября, они собрались вечером, чтобы ознакомиться с невероятным сообщением неведомого агента по кличке Волк.

Им представили фотографии и покадровое описание видеофайла, который на тот момент еще проходил техническую проверку. На фотографиях фигурировал предполагаемый агент ЦРУ, заснятый во время разговора с одним из главных идеологов "Аль-Каиды". Старшие менеджеры ведомства не могли сдержать удивления. Откуда этот агент взялся? Как умудрился достичь такого поразительного успеха? Никто еще не мог себе представить, как этим воспользоваться, но с тем, что это потрясающе хорошая новость, были согласны все.

Панетту в этом Балави особенно заинтриговали два обстоятельства. Во-первых, сам факт, что соглядатай ухитрился сунуть нос под полог "Аль-Каиды" так быстро. Времени, чтобы внедрить агента в этот регион, всегда требуется очень много, подумал директор ЦРУ. А у этого переход от задания к результату произошел невероятно быстро.

Во-вторых, удивительно, до чего же, оказывается, мало известно ведомству о человеке, снятом на видео.

"Никто из сотрудников ЦРУ еще не входил в личный контакт с этим типом", — отметил про себя Панетта.

На все это имелись вполне благовидные объяснения. Информатором был один из недавно завербованных Мухабаратом агентов, и в Пакистане он оказался прежде, чем американские служащие могли на него хотя бы взглянуть. А уж как ему это удалось — тут все просто: он врач. А во врачах "Аль-Каида" отчаянно нуждается.

Талантливый парень этот Балави, нет сомнений. Нашел именно то, что нужно Управлению, да как быстро!

"Благодаря тебе, мы подняли головы, — писал однажды утром Али бен Зеид в одном из своих регулярных посланий из Аммана. — Мы подняли головы и можем смотреть на американцев, не опуская глаз".

Иорданские коллеги уже вовсю хлопали бен Зеида по плечу и жали ему руку, поздравляя с замечательным успехом его звездного подопечного, и куратор спешил передать похвалы виновнику торжества. Балави удивил всех, и бен Зеида в первую очередь. Как ему такое удалось? Что еще он сумеет сделать?

А того похвалы, похоже, только раззадорили. Вновь выйдя на поверхность, все следующие недели, пока сухие северные ветра осени выдували остатки летней жары, Балави слал имейлы, в которых попадались весьма лакомые куски. Он описывал боевиков-джихадистов, с которыми встречался, делился слухами и обрисовывал сложную систему взаимоотношений между местными партизанскими группировками.

Что еще удивительнее, он принялся поставлять графически обстоятельные описания ущерба, причиняемого ударами ЦРУ с воздуха, вплоть до состояния трупов и частей тел, извлекаемых из разбитых автомобилей и рухнувших домов. Он писал об отчаянии и неистовстве, в которые впадают вожаки "Талибана" и "Аль-Каиды", теперь поголовно живущие в страхе перед жужжащими *мачаями*[1].

Точно указать, где что находится, Балави мог редко — все-таки приехал он недавно, освоиться не успел, да и по-пуштунски почти не понимает, — но и такие его отчеты помогали командам "предаторов" суживать области поиска цели. Кто-то в Управлении даже подсчитал, что благодаря детальным донесениям Балави удалось ликвидировать как минимум пятерых боевиков "Талибана". После каждого удара с воздуха осведомитель присылал бен Зеиду очередной имейл, в котором, как очевидец, описывал смерть и разрушения, сопровождая эти описания словами поддержки. *Теперь-то вы на правильном пути,* заверял он.

Аналитики ЦРУ в Аммане и Лэнгли изучали его послания с нарастающим воодушевлением. В ведомстве проводили и собственную оценку результатов бомбежек, обычно основываясь на видеосъемках, которые вели "предаторы", после удара продолжающие кружить поблизости. Их отчеты с поразительной точностью совпадали с теми, что давал Балави. Вне всякого сомнения, на местах удара иорданец действительно присутствовал лично — может быть, оказывал медицинскую помощь; его описания были безошибочны.

Технически Балави сообщался только с бен Зеидом, которому курировать его было вменено в основную обязанность.

1. Мачай в переводе с пушту — пчела.

Но и начальники из ЦРУ обнаружили, что все чаще могут задавать вопросы и быстро получать на них ответы. Балави демонстрировал все признаки настоящего двойного агента, несмотря на полное отсутствие подготовки.

Во времена холодной войны ЦРУ удалось завербовать горстку успешных двойных агентов, самым знаменитым из которых стал полковник советской военной разведки Олег Пеньковский (агентурная кличка Герой). Именно Пеньковский в 1962 году выдал администрации Кеннеди, что Советы втайне строят на Кубе пусковые установки для ракет, и с этого начался знаменитый кубинский ракетный кризис. Впрочем, самого Пеньковского тоже выдал двойной агент, на сей раз советский, и в 63-м его казнили.

Во времена более близкие Управление, в целях уничтожения террористических групп, тоже использовало двойных агентов, большинство из которых вербовалось при помощи шпионских ведомств, подотчетных правительствам дружественных стран. Двойные агенты сыграли определяющую роль в уничтожении террористической ячейки Мусаба аз-Заркави в Ираке и связанной с "Аль-Каидой" индонезийской террористической организации, известной как "Джемаа Исламия". В последнем случае информатор настучал на лидера группы Ридуана Исамуддина, больше известного под боевым прозвищем Хамбали, которого схватили в 2003 году близ Бангкока в ходе совместной операции ЦРУ и полиции Таиланда. Его организацию разгромили, а самого Хамбали переводили из одной секретной тюрьмы ЦРУ в другую, пока, наконец, не бросили в тюремный лагерь США в Гуантанамо.

Неужто Балави как двойной агент заткнет за пояс их всех?

Второй разведчик, на постоянной основе занимавшийся делом Балави, такого оптимизма не разделял. Оперативник ЦРУ Даррен Лабонте был осмотрителен по природе. Кроме того, он крайне бережно относился к бен Зеиду, которого знал всего около девяти месяцев, но считал своим близким другом, а может, даже младшим братом. Хотя оба были закаленными ветеранами разведки и примерно одних лет, Лабонте был на полголовы выше и прошел огонь и воду во время многочисленных командировок в Афганистан. Вместе они ездили по свету и выполнили не одно совместное задание — то в Юго-Восточной Азии, то в Восточной Европе, делясь информацией и согласовывая друг с другом тактику совершенно так же, как это делают тесно связанные между собой разведслужбы их стран. Однако и во время совместной работы Лабонте втайне был всегда начеку, беспокоясь по поводу уязвимости своего товарища в том, что касалось похищения, убийства или даже коз-

ней внутри Мухабарата, с его подковерной борьбой и беспардонностью собственной внутренней политики.

"Он нуждается во мне, — объяснял Лабонте одному из коллег в Аммане. — Я должен быть здесь ради Али".

Первоначально Лабонте переместили из Южной Азии на Ближний Восток, чтобы дать ему слегка передохнуть. Бывший армейский рейнджер, вступив в ряды коммандос ЦРУ, почти два года выполнял тайные задания в бурном Восточном Афганистане, и эта работа ему была, что называется, по руке — он чувствовал себя так же ловко, как в специальных, снабженных жесткими накладками на костяшки пальцев, перчатках, которые надевал перед драчкой. Но в начале 2009-го, когда ЦРУ предложило ему новый пост в сравнительно спокойной Иордании, Лабонте решил согласиться. Все же не мальчик уже, тридцать четыре года, да и семью завел. Кроме того, в последнее время он начал получать сигналы, что пора умерить пыл: хватит уже, накушался адреналина.

Первым таким предупреждением стала реактивная граната, которая пролетела на волосок от его лица. Лабонте в тот момент был далеко за линией фронта, в самой глубине страны талибов, поблизости от приграничного афганского городка Асадабад. Вдруг видит: моджахед направил трубу гранатомета прямо на него! Граната просвистела прямо вот, рукой подать, мазнув по ушам горячим ветром и обдав запахом ракетного пороха. Когда много часов спустя он вышел на связь с женой по скайпу — просто так, лишь бы услышать голос, — внутри у него еще все дрожало.

Второе предупреждение он получил в тот день, когда родилась дочь Раина. Всю ночь Лабонте провел в самолете — летел из Афганистана, хотел успеть к родам, а, когда приземлился в вашингтонском аэропорту, оказалось, что жена Рейчел уже рожает. Он прыгнул в автомобиль к встретившему его отцу, и они, всех подрезая и отчаянно лавируя в плотном транспортном потоке, вихрем пронеслись все шестьдесят пять миль до Аннаполиса, Мэриленд, где больничные врачи в это время всячески старались замедлить ход событий. Машина с визгом затормозила у дверей больницы, Лабонте выскочил и рванул мимо санитарок и больных на каталках к родильному отделению. На потного, немытого будущего отца медсестры накинули халат и запустили в палату как раз в тот момент, когда его первенец появился на свет.

Примерно через год после этого Лабонте отложил в сторону бронежилет и очки прибора ночного видения и попрощался с Афганистаном — как тогда казалось, навсегда. Новым местом его службы стал самый крупный опорный пункт анти-

террора ЦРУ на всем Ближнем Востоке; здесь тоже особо не подремлешь, но в иорданской столице достаточно спокойно, так что служащим разрешается жить с семьями. Впервые за все эти годы Лабонте мог на работе быть уверен, что вечером вернется домой к жене, да и Рейчел была теперь избавлена от постоянных волнений — как бы мужа не подстрелили из засады или не подорвали миной, заложенной на обочине дороги.

Но в Амман его прислали не отдыхать. К марту 2009-го, когда прошло три месяца новой службы, Лабонте стали более-менее ясны контуры его новой роли. Как он и надеялся, ему предстояло охотиться на еще более крупную дичь — международных террористов, а не каких-нибудь мелких наймитов "Талибана", за которыми еще недавно он гонялся по афганским горам. Вскоре работа захватила его пуще прежнего, он стал засиживаться допоздна и даже мотаться по разным странам ради секретных встреч со множеством перебежчиков, всякого рода жуликов и осведомителей.

С бен Зеидом у них сложилось замечательное партнерство, в которое офицер-иорданец привнес глубокое знание арабской культуры и многолетний опыт раскрытия джихадистских организаций на Ближнем Востоке. Лабонте же как боец-ветеран владел всеми практическими навыками, необходимыми для тайной оперативной работы — от наружного наблюдения до вышибания дверей.

Сослуживцы по подразделению рейнджеров когда-то между собой звали его Спартанцем[1]. И эта кличка удивительно шла Лабонте, которого вечно наделяли именами героев боевиков. Родственники, например, весело называли Капитаном Америка[2], имея в виду его горячий патриотизм и то, как он без ложного стеснения заявляет, что жаждет бороться с врагами своей страны. Соратники по службе в разведке шутя говорили о "паучьей интуиции" Лабонте, сверхъестественной способности нюхом чуять опасность — ну точно "Человек-паук".

Лабонте и внешне этому соответствовал. Под сто девяносто сантиметров ростом, широкоплечий, почти девяносто килограммов сплошной мускулатуры. Прирожденный атлет с грубовато-обаятельном лицом, он, говорят, из положения лежа выжимал штангу весом чуть не двести килограммов и мог пробежать марафонскую дистанцию, даже не потрудившись

1. Имеется ввиду герой боевика Дэвида Мэмета "Спартанец" (2004) — рейнджер, который разыскивает и спасает похищенную дочь президента США.
2. Капитан Америка — супергерой комиксов.

перед этим провести хотя бы пару тренировок. Он излучал ту спокойную уверенность, которая делает человека безусловным лидером, да и впрямь им становился на любом поприще — сперва как выдающийся игрок в бейсбол, затем как чемпион по боевым искусствам, как армейский рейнджер и как кадет ФБР[1]. Ему нравилось брать на себя ответственность — он любил видеть себя в роли старшего брата и защитника.

"Он был этакой овчаркой, псом, который охраняет овец, — сказал о нем его близкий друг, знавший его по службе в армии. — Он так воспринимал себя сам".

Подыскать работу, которая удовлетворяла бы его инстинкту защитника, было не так просто, на это ушли годы. В бейсболе Лабонте был хорошим питчером, его даже звали играть за "Кливлендских индейцев", но он отклонил приглашение, своим домашним объяснив это тем, что карьера профессионального спортсмена отвлекла бы его от более важных целей, которые он поставил перед собой. Он чувствовал все большую склонность к военной службе, но возможностью поступить в офицерское училище не воспользовался. Вместо этого решил проверить, сможет ли соответствовать жесточайшим стандартам физической подготовки, которую проходят в одном из элитных подразделений спецназа — 75-м полку рейнджеров. И быстро заслужил нашивку "рейнджер"[2], а затем и престижное членство в наряде полковых знаменосцев.

Армия свела его и с Рейчел, хорошенькой студенткой балетного училища. В марте 1999-го Лабонте вдруг спохватился, что ему не с кем пойти на самый торжественный праздник в году — Бал рейнджеров. Чуть ли не в самую последнюю минуту (до первого танца оставалась всего пара часов) их общий знакомый упросил Рейчел выручить из этой беды его однополчанина.

— А он из себя как, ничего? — спросила Рейчел.

— Немного смахивает на Дэниела Дэй-Льюиса, — ответил их общий приятель, имея в виду актера, наибольшую известность завоевавшего исполнением роли охотника по прозвищу Соколиный Глаз в фильме "Последний из могикан". — Да просто вылитый Дэй-Льюис, только без длинных волос.

1. Звание кадета присваивается сотруднику с момента принятия его в ряды ФБР; в течение испытательного срока (от 5 дней до 2 недель) кадет знакомится с принципами функционирования ФБР, получает необходимые знания и навыки и учится применять их на практике.
2. 75-й полк рейнджеров — элитный полк лёгкой пехоты, подчиняется Командованию специальных операций Армии США; нашивку дают успешно окончившим курс молодого бойца, который длится ровно 61 день.

Как вспоминала позднее Рейчел, появившийся в тот вечер на ее крыльце высокий молодой рейнджер в парадной форме был более чем "ничего".

"Я с первой же минуты поняла, что этот человек послан мне судьбой, — сказала она, вспоминая о своем погибшем, а в те дни еще только будущем муже. — Ну всё, думаю. Теперь пойдет совсем другая жизнь".

Они поженились на следующий год, а к 2001-му Даррен Лабонте из армии уволился и служил теперь в спецкоманде SWAT[1], приписанной к полицейскому департаменту Либертивилля (это северный пригород Чикаго). Гоняясь — все больше ночами — за безбашенными подростками, он чувствовал себя не на своем месте. День, который навсегда изменил его жизнь, пришел неожиданно.

Утром 11 сентября Лабонте едва вернулся домой с работы, как вдруг в экстренном выпуске теленовостей сообщили, что в одну из башен-близнецов Всемирного торгового центра врезался самолет. С минуту он ошеломленно смотрел на экран, потом позвонил матери, которая жила в другом пригородном районе в нескольких минутах езды.

— Включай скорее новости, — сказал он.

Подобно многим американцам, в то утро Камилла Лабонте сперва подумала, что катастрофа была случайной. Но ее сын сразу понял, что дело обстоит гораздо хуже.

— Это не по глупости. Это сделано намеренно, — сказал он.

К дому родителей Даррен подъехал в ту минуту, когда южную башню поразил второй самолет. Потом они с матерью, не веря глазам, смотрели, как рухнула одна башня, а затем и вторая. Когда Камилла повернулась к сыну, тот плакал.

Спустя пару недель Лабонте поступил на частные курсы арабского, одновременно перебирая места, куда он мог бы устроиться, чтобы играть как можно более значительную роль в набирающем обороты сражении с терроризмом. Подумал было возвратиться в армию, но эту идею отверг, рассудив, что вряд ли получит именно ту работу и в том подразделении, куда хотел бы попасть. Вместо армии решил записаться в Службу маршалов — силовую структуру Министерства юстиции, которая ищет беглых преступников и охраняет федеральные суды. Навыки рейнджера обеспечили Лабонте вожделенное место в спецкоманде маршалов, однако ему довольно скоро стало ясно, что это не та работа, которую он искал. Вместо подозревае-

1. Special Weapons And Tactics Unit — группа специального назначения в полиции, аналог нашего СОБРа.

мых в терроризме ему целыми днями приходилось выслеживать наркоторговцев.

И тогда Лабонте подал заявления одновременно в ФБР и ЦРУ. Из ФБР ответ пришел раньше, и он поступил в академию ФБР в Квантико, Виргиния. Еще кадетом получал поощрения за лидерские качества и меткую стрельбу, а по окончании был назначен на весьма неплохой пост в нью-йоркском офисе, где занимался делами, связанными с организованной преступностью и расследованием преступлений мафии. И все-таки ему хотелось чего-то большего.

Наконец в 2006-м отозвалось и ЦРУ, причем такого предложения он как раз дожидался. Разведывательная служба увидела в Лабонте комбинацию качеств, которые требовались больше всего именно теперь, через пять лет после начала глобальной войны против "Аль-Каиды": бойцовские навыки солдата-спецназовца в сочетании с изобретательностью классического оперативника ЦРУ. Так Лабонте оказался среди горстки рекрутов ЦРУ, которых послали тренироваться по обоим направлениям. Его мгновенно передвинули из конца в начало очереди на отсылку в Южную Виргинию, где расположен тренировочный лагерь ведомства, бывший полигон Министерства обороны под названием "Ферма". Несколько месяцев тренировок, и вот он уже едет в Ирак, а затем в Афганистан.

Теперь работа была ему как раз впору, наконец-то! И на товарищей, и на командиров большое впечатление производил энтузиазм молодого экс-рейнджера, который на все трудные задания всегда вызывался первым и последним жаловался на лишения. Хотя и не такой опытный, как некоторые ветераны, он сразу выделился благодаря трезвомыслию и самообладанию во время перестрелок. Один офицер, воевавший рядом с ним в Афганистане, вспоминал потом, как поражен был "его абсолютной уверенностью в себе и своих силах".

"В том, что такая служба его призвание, он был совершенно убежден, никогда не притворялся и не хитрил, не задирал нос и не похвалялся, — вспоминает его бывший сослуживец. — Даррен верил, что самой судьбой ему предназначено быть профессиональным воином, защитником тех, кто не может за себя постоять".

Все эти качества проявились в нем однажды летним вечером. Лабонте с напарником производили разведку в провинции Кунар. Они шли вдоль реки, когда внезапным шумом их внимание привлек патруль талибов. Прижавшись к береговому откосу, американцы замерли. И тут их взорам предстали мятежники, которые вышли на открытое место и остановились в нескольких ярдах от них. На поляне собралось сперва

около дюжины боевиков, потом две дюжины, и их все прибывало. Постепенно там скопилось больше сотни боевиков "Талибана", все с автоматами и ручными гранатометами; похоже, они замышляли какую-то вылазку. Минута шла за минутой, талибы медлили, находясь так близко, что американцам было слышно, как они переговариваются. Сделай кто-нибудь из них пару шагов к реке, и оба разведчика были бы неминуемо обнаружены.

Напарника Лабонте прислали на базу ЦРУ недавно, ему еще ни разу не приходилось попадать в такую передрягу. Держа руку у него на плече, Лабонте нашептывал ему слова поддержки.

"Спокойно, спокойно, все будет о'кей", — говорил он.

В конце концов, мятежники двинулись дальше, а разведчики поспешили вернуться на базу, но только после того, как передали координаты шайки талибов ближайшему натовскому диспетчеру.

Однако шли месяцы, и Лабонте мало-помалу терял былой оптимизм по поводу быстрой победы над "Аль-Каидой". К моменту своего прибытия в Иорданию он был и вовсе убежден в том, что идеологическую борьбу бен Ладен и его последователи выигрывают, ухитряясь завоевывать симпатии все большего числа молодых мусульман, которых будут использовать как самоубийц-шахидов во время следующей волны атак против стран Запада. Он много размышлял об этих неизбежных атаках, беспокоясь прежде всего о том, как защитить тех, кто ему особенно дорог.

В этом списке первыми были его жена и маленькая дочка; еще бы, ведь они живут теперь с ним на Ближнем Востоке, в одной из стран, где на американских служащих то и дело происходят покушения. Был в списке и бен Зеид, зараженный, как опасался Лабонте, всеобщим энтузиазмом по поводу Балави, двойного агента, чьи достижения давно вышли за разумные границы правдоподобия.

"Этот парень слишком хорош, тут что-то не так", — делился сомнениями Лабонте с одним своим бывшим сослуживцем еще в конце осени.

Но все остальное разведывательное сообщество[1] увлеклось Балави не на шутку и этим своим пагубным увлечением проникалось все больше и больше.

1. Разведывательное сообщество Соединенных Штатов (United States Intelligence Community) — собирательный термин для обозначения 16-и отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача ведения разведывательной деятельности.

11. *Приманка*

Лэнгли, Виргиния – ноябрь 2009

Великий прорыв Хумама аль-Балави на шпионском поприще, пришедший в виде сотни мегабайт феерического сверкания и блеска, всех удивил и пробудил радужные ожидания. А его следующий лихой кульбит вызвал и вовсе полное умопомрачение.

Это произошло, когда его куратор бен Зеид получил очередное послание, на сей раз в виде обычного имейла. К Балави, как к врачу, обратился новый пациент. По имени Айман аз-Завахири. То есть иорданец вошел в непосредственный контакт с заместителем главнокомандующего "Аль-Каидой", вторым в ней человеком после самого Усамы бен Ладена!

Судя по описанию событий, агент и сам был удивлен не меньше кого бы то ни было. Однажды ему сказали, что у Завахири проблемы со здоровьем, а потом вдруг глядь – главарь террористов, бородатый пожилой мужчина в очках, стоит прямо перед ним и просит его полечить. Завахири, сам врач, страдает от целого комплекса осложнений, связанных с диабетом, так что ему необходимо было, во-первых, посоветоваться, а во-вторых, он надеялся, что у Балави найдутся лекарства. Не так-то просто, будучи в розыске, когда за твою голову назначена награда в двадцать пять миллионов долларов, самому себе выписывать рецепты.

Балави с готовностью согласился, и уже через несколько минут, оставшись с Завахири наедине, измерял основные жизненно важные показатели у человека, который участвовал в разработке плана террористических атак 11 сентября 2001 года.

К тому своему имейлу Балави приложил эпикриз Завахири, а также его историю болезни, сообщив подробности, точно совпадающие с теми, которые ЦРУ за несколько лет до этого по своим каналам получило из Египта, с родины Завахири, от руководства тамошней разведки. Самое интересное, что у Балави, оказывается, назначена и следующая встреча с пациентом. Через несколько недель ему предстоит увидеться с Завахири вторично.

От Кабула до Аммана и Лэнгли мраморные здания, казалось, качнулись на своих фундаментах. Последний раз ЦРУ удавалось получить хоть какую-то зацепку в отношении Завахири в 2006-м, и тогда Управление разбомбило дом в Юго-Западном Пакистане, воспользовавшись фальшивой наводкой,

будто он придет туда обедать; а уж о том, чтобы кто-то его видел воочию, ни одного достоверного сообщения ни от западных разведок, ни от соглядатаев пакистанского правительства не поступало с 2002 года.

Все наделенные высшей формой допуска к секретам загорелись желанием узнать, что это за "золотой источник", которому удалось встретиться лично с таким крупным террористом.

Даже Белый дом пожелал ознакомиться с делом подробнее.

Пришлось Леону Панетте принять у себя представителей администрации Обамы, отвечающих за национальную безопасность, и ознакомить их со столь сногсшибательным достижением. Сам директор ЦРУ выступил в роли пресс-атташе, а среди собравшихся вокруг его стола были советник по национальной безопасности Джеймс Л. Джонс, директор Управления национальной разведки Деннис Блэр и Рам Эмануэль, старый друг Панетты и глава администрации Белого дома. А потом Панетту пригласили на неформальную встречу с президентом США, где он повторил свои разъяснения.

"По некоторым признакам он [Балави] получил доступ к Завахири, — объявил Панетта нарочито спокойным и будничным тоном. — Следующим шагом, — сказал он, — будет встреча с осведомителем и его подготовка к новому важному заданию. Если мы сможем с ним встретиться и снабдить подходящей техникой, — продолжил Панетта, — у нас появится шанс выследить Завахири".

Реакция была мгновенной и весьма показательной. Насколько быстро мы можем все это устроить? — вот единственное, что хотели знать чины из Совета по национальной безопасности.

"Все были в полном восторге, — сказал один из членов Совета, присутствовавший на той встрече (явно занизив оценку произведенного впечатления). — Впервые за такое долгое время у нас появился шанс выследить человека № 2!"

Вряд ли Балави вызвал бы большее воодушевление, предложи он им самого бен Ладена. После стольких лет пребывания в глубоком подполье основатель "Аль-Каиды" стал главарем номинальным. Теперь именно Завахири на пару со своим старым дружком Шейхом Саидом аль-Масри держит в руках кормило всего судна "Аль-Каиды". Двое египтян направляют стратегию группировки, изыскивают деньги и планируют операции. Если бы "Аль-Каиде" удалась еще одна атака на Соединенные Штаты в духе 11 сентября, это почти наверняка было бы делом рук Завахири.

Этот врач, в свои пятьдесят восемь лет физически и морально травмированный годами, проведенными в египетской тюрьме, представляет собой этакую аль-каидовскую версию безумного ученого, человека, занятого непрерывной разработкой сенсационных способов массовых убийств людей, для чего готов пустить в ход хоть химическое оружие, хоть вирусы, хоть даже ядерную бомбу, попади что-либо из этого к нему в руки. Кроме того, из всей "Аль-Каиды" он оказался самым великим фокусником, умудряющимся уйти от ликвидации или поимки, выскальзывая в последний момент, когда ловушка уже начинает захлопываться. Когда-то, еще до 11 сентября 2001 года, он под чужим именем разъезжал по США, собирая деньги на нужды террористов; и ведь так и отбыл, никем не узнанный! После знаменитых атак, осуществленных при помощи угнанных самолетов, ЦРУ трижды чуть было не удалось его ликвидировать, но каждый раз он ускользал невредимым. Ветераны антитеррора из Лэнгли, бьющиеся с ним годами, зауважали его способности, ненавидя при этом цели, которые он преследует.

Завахири попал в списки подозреваемых ЦРУ еще в середине 80-х, задолго до того, как кто-либо услышал о бен Ладене, и с тех пор ведомство годами следило за тем, как из египетского революционера он превращается в международного террориста. Именно он представляет собой ту интеллектуальную силу, которая стояла за многими крупнейшими начинаниями "Аль-Каиды", в том числе за ее пока еще робкими попытками приобрести ядерное и биологическое оружие. Это Завахири принадлежит тезис о том, что "Аль-Каида" должна сначала сразиться с "дальним врагом" (Соединенными Штатами) и только потом заняться главным "ближним врагом" — прозападными арабскими режимами, которые преграждают группировке путь к осуществлению ее мечты об объединении всех мусульман во всемирный исламский халифат.

"Убивать американцев и их приспешников, гражданских и военных, — личный долг каждого мусульманина, и он обязан делать это в каждой стране, где только возможно", — писал Завахири в своем манифесте от 1998 года.

Как явствует из записей в досье Завахири, хранящемся в ЦРУ, детство и молодость у него с Балави были поразительно схожи. Оба происходят из образованных семей среднего класса, живших в религиозно-толерантных сообществах, оба увлеклись одновременно медициной и радикально-исламистской идеологией. Отец Аймана Завахири, выросшего в зажиточном пригороде Каира, был известным профессором фармакологии, а его дед по матери являлся президентом

Каирского университета. Еще в отрочестве книжный мальчик Завахири познакомился с трудами Саида Кутба[1], египетского писателя и ученого, ставшего одним из зачинателей современного исламского экстремизма. Весть о том, что Кутба казнили, побудила двадцатилетнего Завахири организовать из группы друзей-единомышленников тайное общество под названием "Аль-Джихад", или "Египетский исламский джихад". Продолжив учебу, он получил в конце концов диплом врача, однако все это время с нетерпением ждал, когда его "Аль-Джихад" вплотную займется свержением светского правительства Египта.

Молодой врач Завахири некоторое время работал волонтером в лагерях беженцев вдоль афгано-пакистанской границы. Там, зашивая раны боевикам-моджахедам, воевавшим с Советами, он впервые пересекся с харизматичным молодым выходцем из Саудовской Аравии по фамилии бен Ладен, который тоже приехал в Афганистан помогать оборванным повстанцам в их борьбе против коммунистической супердержавы. Вскоре, вернувшись в Египет, Завахири со своей небольшой группой объединились с другими антиправительственными силами и совершили ряд попыток убийства руководителей Египта, пока одна из таких попыток не увенчалась успехом. 6 октября 1981 года президент Египта Анвар Садат, сидевший на трибуне во время военного парада, был убит, а Завахири попал в тюрьму, предположительно за участие в заговоре с целью устранения одного из наиболее умеренных и прозападных лидеров арабского мира. Позднее в своих мемуарах он написал, что в египетских органах безопасности его пытали.

Пережитое еще более укрепило решимость Завахири способствовать разрушению светских арабских государств и их финансовых устоев посредством эффектных актов террора. Типичным для его до-аль-каидовского периода стало жестокое нападение в 1997 году на иностранных туристов в знаменитых египетских развалинах Луксора, когда автоматчики планомерно расстреляли шестьдесят два человека, в том числе туристов-японцев, пятилетнего ребенка из Британии и четверых египетских гидов.

Простых египтян, до этого случая считавших, что "Аль-Джихад" вместе со всем народом борется с коррумпированной и автократичной верхушкой, эта бессмысленная бойня

1. Саид Кутб (1906—1966) — мусульманский реформатор, мыслитель и общественно-политический деятель, идеолог движения "Братья-мусульмане".

от Завахири оттолкнула, и группа лишилась поддержки. Вскоре Завахири объявил своим последователям, что действовать в Египте далее невозможно, поэтому полем боя отныне станут Израиль и его главный союзник, США. В 1998-м группа "Аль-Джихад" официально влилась в более крупную и лучше финансируемую "Аль-Каиду" бен Ладена.

Расширившись, террористическая группировка постаралась немедленно и как можно громче заявить о себе нападениями, затрагивающими интересы Соединенных Штатов. Первыми в списке стояли посольства США в столицах Кении и Танзании: в 1998 году они были одновременно взорваны бомбами, убившими сотни людей.

Тремя годами позже, расположившись на новой базе "Аль-Каиды" в Афганистане, Завахири помогал планировать атаки 11 сентября. Но главной его задачей на грядущие месяцы и годы было руководство планированием последующих волн террористических ударов. Кроме того, он взял под личный контроль амбициозную программу получения биологического оружия, основав в Афганистане лабораторию и разослав в разные страны своих приверженцев искать ученых, симпатизирующих "Аль-Каиде".

В разведке США есть мнение, что, если бы Завахири хватило времени, его попытки вызвать крупномасштабную вспышку сибирской язвы могли бы иметь успех. Но уже через несколько недель после падения башен Всемирного торгового центра международная коалиция во главе с США начала военную кампанию, в результате которой "Аль-Каида" и ее союзники талибы лишились власти в Афганистане, что и вынудило Завахири, бросив разрабатывавшую бактериологическое оружие лабораторию, бежать из страны. Войска США эту лабораторию обнаружили, нашли и детальные инструкции, оставленные Завахири своим помощникам, от которых он требовал создать высоколетальный штамм возбудителя сибирской язвы.

К 2002 году Завахири, как и бен Ладен, залег на дно в Пакистане — тем более что за его голову назначили награду в двадцать пять миллионов долларов. Однако, в отличие от бен Ладена, он продолжал лично направлять многочисленные вылазки террористов, в числе которых была попытка подвергнуть химической атаке нью-йоркское метро. Эту атаку он, по некоторым сведениям, планировал осуществить в 2003 году, но отменил сам по неясным и поныне соображениям.

Его постоянная готовность лично участвовать в действиях террористов поддерживала у руководства ЦРУ надежду, что Завахири в конце концов допустит ошибку, но каждый раз, ко-

гда наводчикам на цель удавалось засечь его местонахождение, он ухитрялся ускользнуть.

Последний раз ликвидировать его попытались в 2006-м, когда осведомители ЦРУ прознали о готовящемся собрании главарей "Аль-Каиды" в Дамадоле, городке в северопакистанском районе Баджаур. О Завахири было известно, что он посещал эти места двумя годами раньше, и руководство Управления, преисполнившись оптимизма, отрядило очередной "предатор" для налета на глинобитную усадьбу в нескольких милях от Дамадолы. Ракетно-бомбовый удар ЦРУ разрушил здание, при этом погибли восемнадцать человек, в том числе и кое-кто из "Аль-Каиды", но не Завахири. Официальные лица из пакистанской разведки потом объяснили, что второй человек в "Аль-Каиде" в последний момент передумал и послал на собрание своих помощников.

Уже через несколько дней Завахири вышел с новым видеопосланием, полным насмешек над Белым домом.

"Буш, хочешь я скажу, где я? — вопрошал он. — Да где и всегда: в среде народных мусульманских масс".

С тех пор ЦРУ ни разу не удавалось к нему приблизиться — до того самого ноябрьского утра в 2009 году, когда откуда ни возьмись вдруг вынырнул неведомый врач-иорданец с рассказом про то, как больной Завахири препоручил себя его заботам.

Все закружилось, полетело вихрем к одной-единственной цели: ЦРУ надо срочно встретиться с Хумамом аль-Балави.

В процессе подготовки в Лэнгли ежедневного секретного рапорта президенту[1] обнаружилось, что папка с материалами по Балави обескураживающе тонка.

Складывалось впечатление, что иорданцы ему верят, но ни один американец ни разу не видел. Прежде он наполнял исламистские веб-сайты злобными антизападными инвективами, но, попав в лапы Мухабарата, после всего трех дней сравнительно легких допросов сломался. Ничто в его образе жизни не свидетельствовало о зацикленности на материальном богатстве, и вдруг оказывается, что он просто счастлив будет не только рисковать жизнью, но и предать собратьев по идеологии ради зеленых американских долларов.

1. President's Daily Brief (PDB) — документ, который директор Управления национальной разведки ежедневно представляет президенту США для ознакомления с разведывательными данными, касающимися значимых для интересов США международных ситуаций.

Верилось во все это с трудом. С другой стороны, видео с Абд аль-Рахманом настоящее, да и медицинские данные Завахири не вызывают сомнений. За все двенадцать лет, прошедшие с тех пор, как "Аль-Каида" превратилась в глобальную угрозу, ничего подобного достичь не удавалось.

По вопросу о том, как с этим Балави увидеться, проводились встречи и совещания, активно велись переговоры между Лэнгли и Амманом, выдвигались и отвергались разные предложения. Согласно одному из них, иорданца следовало самолетом доставить домой на Ближний Восток и там как следует порасспросить. Мысль здравая, тем более что кураторы Балави от Мухабарата и ЦРУ базируются в Аммане. Но ее, тем не менее, отвергли, побоявшись, что длительное отсутствие Балави в Пакистане может вызвать у его хозяев из "Талибана" подозрения.

Альтернативный план предполагал тайную встречу в каком-нибудь пакистанском городе — может быть, в Исламабаде или Карачи, — но на это тоже не решились. Еще с тех самых пор, как Балави прибыл в Пакистан, американцы намеренно держали пакистанскую Межведомственную разведку в неведении, а уж теперь-то и вовсе не хотелось рисковать прикрытием иорданца. Главные города Пакистана набиты местными агентами под завязку, так что сборище высоких чинов из ЦРУ почти наверняка привлечет внимание.

В итоге было решено, что проще встретиться с Балави в Афганистане, предпочтительно невдалеке от границы, в таком месте, чтобы и Балави туда легко было добраться, и скрытность нетрудно будет обеспечить вкупе с безопасностью на высшем уровне. Надо, чтобы к месту встречи можно было подъехать на машине с пакистанской Территории племен, но в то же время оно должно быть под жестким контролем ЦРУ и вне досягаемости для шпионов "Талибана".

ЦРУ располагает, по меньшей мере, шестью базами вдоль афганской границы, но лишь одна из них стоит у асфальтового шоссе, которое ведет непосредственно в Мираншах, город в Северном Вазиристане, ближайший к тому месту, откуда Балави в последний раз выходил на связь. Таким образом, по соображениям чисто географическим, выбор места для столь многообещающей первой встречи с иорданским агентом свелся к единственной базе, известной как "база в Хосте".

Ключевые детали предстоящей встречи, в том числе и согласие на нее самого Балави, оставались еще под вопросом. Но с того дня, когда в своем имейле осведомитель упомянул Аймана аз-Завахири, задача найти Балави и вытрясти из него побольше информации, приобрела первостепенное значение.

"В высших правительственных кругах жаждали информации, требовали ответов, опасаясь за безопасность страны, — сказал бывший посол США в ООН Томас Пикеринг, карьерный дипломат, впоследствии работавший в комиссии, занимавшейся секретным независимым расследованием случившегося. — Люди из правительственных служб были настроены на то, чтобы покончить, наконец, с Завахири, и ради этого готовы были на все".

Все это так, но...

Хумам аль-Балави не очень-то шел на встречу. Капитан иорданской разведки Али бен Зеид, не будучи уверен, как отреагирует Балави, идею встречи внес сперва нерешительно. *Твои отчеты были весьма интересны*, писал ему бен Зеид в конце ноября. *И теперь было бы неплохо выйти на чуть более высокий уровень.*

Идею снова встретиться с бен Зеидом Балави, похоже, принял сразу. Но выдвинул столько условий и уточнений, что бен Зеида это заставило усомниться, сможет ли такая встреча состояться вообще.

Да, но я не хочу, чтобы при этом присутствовал кто-либо еще, кроме тебя, — вот типичный пример его условий.

Да, но ехать через границу слишком опасно, писал он в другом имейле. И наконец: *Да, надо бы встретиться. Но думаю, будет лучше, если ты приедешь сюда сам.*

После нескольких дней общения по электронной почте Балави стал проявлять все большую настойчивость. Идеальное место для встречи, заявлял он, Мираншах, разбросанный по холмам торговый городишко в Северном Вазиристане, сразу за горами, по которым проходит граница с Афганистаном. Балави этот город знает и найдет безопасное место, где они с земляком иорданцем будут в безопасности. Там есть базары и кафе, лавки и мечети, и везде полно народа. Двое иорданцев смогут встретиться незаметно, не привлекая к себе внимания, а потом Балави отправится своим путем.

Бен Зеид заупрямился. Северный Вазиристан — нет, это слишком рискованно, отвечал он. А вот Хост — годится, это укрепленный военный лагерь, охраняемый подразделениями спецназа и боевыми вертолетами. В Хосте обоим будет куда безопаснее.

"Да ведь это же я здесь всем рискую", — протестовал Балави. И выражал уверенность, что афганские шпионы на американской базе выдадут его, и тогда с ним будет покончено, его убьют самым жестоким образом. Балави уже приходилось ви-

деть, что́ талибы делают с теми, кого заподозрили в осведомительстве.

Приезжай в Мираншах, повторял он.

Содержанием электронных сообщений бен Зеид делился с напарником из ЦРУ Дарреном Лабонте, которого начало одолевать беспокойство. Боссы из Аммана и Лэнгли теребили Лабонте, требуя от него свежей информации, и его ответы пока что не очень им нравились. Между собой партнеры часами говорили о Балави и его имейлах, пытаясь доискаться подоплеки. Дело постепенно становилось наиболее крупным из всех, которыми и тот и другой когда-либо занимался; и сомнений у них возникало больше, чем у кого бы то ни было вокруг. Присланное видео впечатляло, но вызывало и вопросы. Как этот Балави, напуганный мышонок, который всего за несколько месяцев до этого умолял отпустить его домой, ухитрился добыть такой поразительный материал? Не мошенник ли он? Не пытается ли жульнически выкачивать из ЦРУ деньги, как делали многие фальшивые осведомители до него? Нет, он, конечно, может быть, и в самом деле тот, за кого себя выдает, но чем больше два разведчика это обсуждали, тем меньше у них было в этом уверенности. Слишком уж все здорово. И слишком быстро.

Чуть позже Лабонте попытался изложить свою точку зрения в служебном рапорте начальству. В последних строках он написал, что ЦРУ недостаточно знает этого иорданского агента, чтобы полностью ему доверять. Он *вроде бы* работает на нас, но этого недостаточно, чтобы с уверенностью предугадывать его намерения.

“С этим делом спешить не стоит”, — писал Лабонте.

Начальником резидентуры ЦРУ в Аммане был старый оперативник, который когда-то служил в Пакистане и лучше многих владел тонким искусством обращения с агентами, работающими под прикрытием. Этот ветеран, чье имя все еще засекречено, ознакомился с фактами по делу Балави, изложенными в рапорте Лабонте, но вывод из них сделал противоположный: встреча с Балави остро необходима — именно потому, что ЦРУ так мало знает об этом осведомителе и его побуждениях. Да, риск есть, сказал начальник опорного пункта. Но если бывают моменты, когда надо идти на риск, то сейчас такой момент как раз настал.

Вперед, распорядился он. *Надо идти вперед.*

Первые дни декабря Али бен Зеид провел, готовясь к тому, что, как он полагал, будет короткой поездкой. Зимы в Восточном Афганистане славятся суровостью, поэтому бен Зеид за-

шел к своему старшему брату Хасану и взял у него теплую куртку на толстой подкладке и с лейблом компании "Норт фейс". Затем кое-что прикупил в дорогу и вычистил до блеска вороненый пистолет "дезерт игл" сорок четвертого калибра, который всегда брал с собой в командировки.

Когда до отъезда оставалось всего несколько дней, бен Зеида неожиданно вызвали на совещание к начальству Мухабарата. Войдя в зал заседаний, он обнаружил, что вместе с непосредственным начальником его ждут несколько старших офицеров, все в темных костюмах, при галстуках и с мрачными физиономиями.

Мы решили не посылать вас в Афганистан на встречу с Балави, сказал один из офицеров. *Для близкого родственника короля это слишком опасное задание.*

— Но это же мое дело! Я его веду! — возмутился бен Зеид.

Остаток дня он провел в беготне по кабинетам Мухабарата, пытаясь оспорить решение начальства. То ругался, то пытался жаловаться, а когда ни то ни другое не подействовало, пригрозил:

— Я все равно поеду в Афганистан, даже если ехать придется на свой страх и риск, — сказал бен Зеид. А потом, сузив глаза до щелочек, произнес самую страшную угрозу. — Все равно я поеду в Афганистан, — повторил он, — даже если придется быть на подхвате у американцев.

Чтобы это не было пустой угрозой, бен Зеид уже провел определенную работу, так что, конечно же, из опорного пункта ЦРУ в Аммане в Мухабарат незамедлительно позвонили, заявив официальное ходатайство о присутствии бен Зеида в Хосте. Американцы объясняли это тем, что иорданский капитан единственный, кто знаком с Балави; тот может заартачиться, если бен Зеида не окажется на месте.

— Али нам необходим, — сказал представитель ЦРУ.

Мухабарат сдался.

Предполагалось, что бен Зеид и Лабонте вылетят в Афганистан 6 декабря, но иорданец был готов и собран даже днем раньше. Последовали слезные прощания с семьей, причем особенно переживала жена брата, которую начали одолевать дурные предчувствия с той минуты, когда она узнала о предстоящей его поездке.

Жены обоих напарников тоже беспокоились больше, чем обычно. Рэйчел Лабонте переживала по поводу поездки в Италию, где они с мужем собирались провести рождественские праздники: вдруг Даррену не удастся вернуться вовремя? Мало того, из случайно подслушанных обрывков разговоров у нее составилось представление о цели поездки, а также о том,

что у мужа имеются серьезные сомнения насчет осведомителя, с которым они должны в Афганистане встретиться.

— Ведь он же может оказаться бомбистом-смертником! — вдруг выпалила она.

Подобные опасения жены по поводу его работы Даррен Лабонте слышал частенько и обычно развеивал шуткой. Но на сей раз не стал.

— Ты права, это возможно, — сказал он серьезно. Потом, взяв ее за руку, попытался объяснить, почему у него такие противоречивые чувства. На этот раз игра стоит свеч, сказал он, а главное, если все удастся, он, может быть, и вовсе прекратит такими вещами заниматься. Может, даже бросит навсегда всю эту ловлю террористов.

— Но если я сейчас не поеду, а дело окажется именно таким, каким ожидается, это будет большой ошибкой, — сказал он. — А если все закончится успехом, можно будет остановиться. Потому что тогда я смогу сказать, что все-таки сделал то, ради чего сюда приезжал. И наоборот, если я не поеду, а там что-то случится...

Он смолк. Рейчел поняла, что его мысли были о бен Зеиде.

— В общем, я бы этого себе никогда не простил, — наконец прервал он молчание.

Для последнего прощания обе пары собрались у Лабонте дома в пять утра. Пока мужчины не уедут в аэропорт, сидели на балконе, пили кофе. Слезные сцены у выхода на летное поле привлекают слишком много внимания, кроме того, на сей раз жены решили быть стойкими. В связи с этой поездкой мужей в Афганистан обе испытывали необычное беспокойство, но между собой решили всеми силами стараться его не выказывать.

Женщины знали, что их мужья преклоняются перед античной воинской традицией, строго соблюдавшейся в армиях Афин и Спарты. В Древней Греции матери спартанских воинов побуждали сыновей биться храбро, говоря им слова, которыми Фида Дауани и Рейчел Лабонте напутствовали теперь мужей: “Возвращайтесь со щитом или на щите”.

Но когда двое офицеров взялись за чемоданы, Фида не смогла сдержаться. Отведя Даррена Лабонте в сторонку, устремила на него молящий взгляд темных глаз.

— Пожалуйста, береги Али, — сказала она.

Мухабарат сделал еще одну попытку удержать Али бен Зеида от встречи с Хумамом аль-Балави. Это было 5 декабря, когда капитан иорданской разведки и его партнер от ЦРУ Лабонте завершали подготовку к поездке.

В тот вечер один из старших начальников иорданской разведслужбы, позвонив старому другу, работавшему на опорном пункте ЦРУ в Аммане, заговорил о деле Балави конфиденциально.

У нас есть причины для серьезной тревоги, сказал иорданец, а затем две причины назвал.

Первая касается исторических прецедентов, сказал он. Мухабарат уже много лет имеет дело с джихадистами всех мастей и кое-что о них знает, в том числе знает, кого можно, а кого нельзя перевербовать. Всякую шушеру — бандюганов и авантюристов, прилепляющихся к террористическому движению ради собственной выгоды, — перековать действительно можно; иногда из них получаются полезные осведомители. Но радикалы идейные, а тем более идеологи, никогда реально на сторону противника не переходят. Истинно верующий может притворяться и лгать, но в глубине души никогда свою веру не предаст. А у этого Хумама аль-Балави все равно что клеймо на лбу: истинно верующий.

Это был весомый аргумент, особенно в устах ветерана иорданской разведки, через руки которого прошли десятки радикальных исламистов. Коллега из ЦРУ слушал его внимательно.

Вторую причину для тревоги иорданцу принесли наблюдения за тем, как дело развивалось в последние недели. Не странно ли, спросил он, что Балави так настаивает, чтобы встреча произошла в Мираншахе, а не в стенах укрепленной базы, где его безопасность была бы обеспечена?

Вполне может быть, что он заманивает вас в ловушку, предупредил многоопытный иорданец.

Подводя итог своим размышлениям, офицер признал, что Мухабарат ничего изобличающего Балави не нашел и не имеет конкретных оснований сомневаться в том, что агенту действительно удалось проникнуть в круги руководства "Аль-Каидой". Все это лишь смутные предположения, объяснял он, но есть опасение, что бен Зеид не тот сотрудник, который годится на роль куратора именно этого агента. Не исключено, что бен Зеид в свое время слишком сблизился с завербованным и утратил способность судить здраво и беспристрастно.

Когда иорданский разведчик закончил излагать свои опасения, коллега из ЦРУ поблагодарил его за откровенность и пожелал доброй ночи. Положив трубку и задумавшись над услышанным, он особо выделил в речи иорданца одну фразу: *есть опасение, что бен Зеид не тот сотрудник.*

При всем своем могуществе Мухабарат известен постоянными внутренними трениями и подковерной борьбой, кото-

рую ведут между собой различные фракции, добиваясь для своих людей преимуществ. Известно, что даже у мягкого и незлобивого бен Зеида в руководстве много врагов, которые его опасаются, полагая, что двоюродный брат короля обязательно должен, пользуясь своим положением и связями в ЦРУ, претендовать на самое высокое кресло.

Так вот в чем смысл предупреждения! Иорданцы не зря волнуются: они боятся, что Али бен Зеид в скором будущем может стать их боссом. Решив, что все понял, сотрудник ЦРУ выкинул услышанное из головы и никому вне тесного кружка подчиненных, работающих в Аммане, об этом не рассказывал.

Следующим утром бен Зеид и Лабонте приехали в Международный аэропорт имени королевы Алии, сели в самолет, и он взлетел в сланцево-серое небо, взяв курс на Афганистан.

12. *Репетиция*

Афганистан, Хост – декабрь 2009 г.

Едва в день Рождества зашло солнце, Дженнифер Мэтьюс уселась перед компьютером и включила маленькую веб-камеру, прикрепленную к верхней рамке экрана. День был тяжелым, и дальше должно было стать только хуже, хотя она этого еще не знала. Как раз в тот час самолет Северо-западных авиалиний, следующий из Амстердама рейсом 253, снижался, готовясь к посадке в Детройте, а в его салоне сидел молодой нигериец, спрятавший восемьдесят граммов военной взрывчатки у себя под одеждой[1]. Попытка нигерийца взорвать в небе самолет сработала как тревожная сирена на опорных пунктах ЦРУ по всему миру, так что сотрудникам подразделений антитеррора всю ночь было не до сна. Тем не менее дома, в заснеженном Фредериксберге, все было благостно и спокойно, и дети Мэтьюс только и ждали, когда можно будет распаковать рождественские подарки. А мама свяжется с ними по скайпу.

Кликнув мышью "дом", Мэтьюс стала ждать соединения. Через несколько секунд на экране развернулась маленькая ви-

1. Речь идет о неудавшейся попытке взрыва самолета Умаром Фаруком Абдулмуталлабом 25 декабря 2009 г. Контроль в аэропорту спрятанную под бельем взрывчатку не выявил, но, когда смертник пытался привести устройство в действие с помощью химического детонатора, на нем загорелось белье, и он тут же был обезврежен пассажирами и командой.

деопанель, и перед Мэтьюс засверкала огоньками елка в гостиной родного дома.

— Здравствуй, мамочка, — хором приветствовали ее трое детей.

Муж Мэтьюс присоединил к компьютеру веб-камеру, чтобы, пока мать за границей, во время регулярных сеансов связи дети могли с ней видеться. Они заранее договорились таким образом отпраздновать Рождество всем вместе; к мужу и детям в этот день должны были присоединиться и родители Мэтьюс, чтобы тоже иметь возможность видеть дочь на экране. Все будут стараться сделать этот праздник как можно более нормальным.

Мэтьюс выслушала последние семейные новости, а затем все развернули подарки — сперва дети, потом их мать, которой подарки были присланы в Афганистан заранее, за несколько недель. Потом, когда охи и ахи утихли, младший — шестилетний сынишка — вдруг спросил:

— Мамочка, а можно нам посмотреть твое ружье?

Все засмеялись, но Мэтьюс с готовностью согласилась. Поднесла к компьютеру автомат, который всегда был при ней в жилом помещении, а потом вынула из кобуры и пистолет. Мальчишка радостно заулыбался. Не у многих мам его друзей есть собственное боевое оружие.

Разговор прервался, когда в дверь постучал дневальный, объявив, что обед готов и ее ждут в столовой. Обед в этот день был особый, праздничный, и Мэтьюс, как начальница базы, должна была на нем присутствовать. После обмена прощальными словами и воздушными поцелуями Мэтьюс вернулась к работе в Афганистане. Прихватив теплую куртку и бронежилет, направилась в столовую.

Тот день в Хосте был сырым и пасмурным, что делало еще тягостнее завесу уныния, сгустившуюся над базой в последние две недели. До декабря жизнь в Хосте казалась Мэтьюс вполне сносной, предсказуемой и даже в каком-то смысле обыденной. Она привыкла работать дольше, чем обычно, и приспособилась к незнакомым ей раньше обязанностям. Почти каждый день выходила на пробежки и стала худеть. Начала даже радоваться тому, как быстро бежит время — на базе столько дел, что не заметишь, как год пройдет!

Потом началась эта волынка с Хумамом аль-Балави.

О новом иорданском осведомителе Мэтьюс знала с ранней осени, но лишь в последнее время его дело стало непосредственно касаться базы в Хосте и ее лично. Балави был завербован в Аммане, а от ЦРУ его курировали как непосредственно из Лэнгли, так и с опорного пункта Управления в Исламабаде.

Но теперь поступил приказ принять Балави в Хосте, где Мэтьюс предназначена роль хозяйки.

По идее такая возможность должна была вызвать у новой начальницы базы радостное волнение: ведь это упрочит ее репутацию. Но многие недели ожидания и бесконечные споры по мелочам — с подчиненными, с начальством в Лэнгли и, опосредованно, с самим осведомителем — ее энтузиазм поумерили.

К операции с Балави жаждало примазаться множество посторонних, в том числе начальство из Лэнгли, Аммана и Кабула. При этом никто из них поступать в ее распоряжение не собирался. А Балави мог появиться в Хосте завтра, мог послезавтра, а мог и никогда не появиться.

Что ж, по крайней мере, первую проблему — вопрос о том, кто кому подчиняется, — решить было реально. Мэтьюс не стеснялась, когда требовалось поставить себя как надо. Да, ее решения не всегда бесспорны, но, если дело происходит на ее базе, ей всем и руководить.

Давление на нее было дичайшим. Во всем мире о предстоящей встрече с Хумамом аль-Балави знало человек двадцать-двадцать пять, но вот ведь штука: один из них проживал по адресу Вашингтон, Пенсильвания-авеню, дом 1600[1]. Вторично информируя президента Барака Обаму об иорданском "золотом источнике", ему сообщили и о том, что ЦРУ планирует встретиться с этим осведомителем в Афганистане. То есть президент знал, что специалисты ведомства, изучив агента и проверив со всех сторон, собираются вооружить его и отправить на битву с одним из самых отъявленных врагов Америки, вторым человеком в "Аль-Каиде", Айманом аз-Завахири. И, естественно, президент Соединенных Штатов ждал вестей о чрезвычайно важных событиях, развивающихся в Хосте.

Как лицо, ответственное за все детали предстоящей встречи, однажды зимним вечером Мэтьюс села за компьютер, чтобы набросать самый важный оперативный план в своей жизни. От нее требовалось придумать, каким образом доставить Балави в Афганистан, как не утратить его доверия, провести обучение и незамеченным отправить обратно в Пакистан, пока там никто его не хватился. За двадцать лет работы в ЦРУ ей никогда еще не приходилось писать ничего подобного. Много недель спустя план Мэтьюс передали в руки ветеранов Управления, и те, изучая, изумлялись его элегантности и простоте.

1. Адрес резиденции президента США (Белый дом).

Главное — правильно рассчитать время. По расчетам Мэтьюс, в распоряжении ЦРУ на все про все было часов девять — чуть больше рабочего дня в Вашингтоне. Первая трудность — как агенту выбраться из Пакистана. Найти дорогу в приграничный поселок Гулям-Хан Балави способен и сам, но пересечь границу ему надо помочь, да и дальше горы кишат талибами. Вертолет отпадает, рассуждала Мэтьюс, а посылать кого-то из американцев, даже тренированного спецназовца, чересчур рискованно. Это лишь привлечет внимание, а если информанта с сопровождающим остановят, то, скорее всего, или похитят, или убьют. Нет, лучше к границе послать доверенного афганца.

Кроме всего прочего, Балави нужна легенда, объясняющая его отсутствие в течение нескольких часов; что ж, у ЦРУ и за этим дело не станет. Он же теперь личный врач Завахири, пусть в этом качестве и отправляется в Мираншах за лекарствами для своего знаменитого пациента. Балави дадут с собой пакетик с таблетками и мазями для старого диабетика: пусть полечит плохое кровоснабжение и связанные с этим кожные проблемы.

Следующая трудность — как сделать, чтобы Балави вошел в базу и вышел из нее незамеченным. Самая большая головная боль — Мэтьюс знала — это главные ворота. Среди афганских солдат, охраняющих внешний периметр, запросто могут быть шпионы "Талибана", и уж тем более их полно среди местных гражданских, которые толпятся у ворот в надежде найти на базе работу или ожидая медицинской помощи. Ценным осведомителям в Хосте всегда давали возможность проходить через главные ворота, не предъявляя документов, чтобы их лиц никто не видел. А уж ради агента такой важности, как Балави, придется принять еще большие предосторожности.

Наконец, сама встреча. Мэтьюс она представлялась общим сбором. Лэнгли нужно знать, действительно ли Балави агент или он виртуозный жулик, поэтому Мэтьюс собиралась созвать всех опытных оперативников, чтобы те задавали ему вопросы и присмотрелись к языку жестов. Предполагалось, что Балави известны подробности о множестве крупных террористов и помимо Завахири, поэтому Мэтьюс необходимо было присутствие лучших специалистов по "Аль-Каиде" и "Талибану", чтобы извлечь все возможное из встречи, которая может оказаться единственным шансом ведомства допросить двойного агента, проникшего в "Аль-Каиду". Но самое главное: если иорданец действительно готов навести ЦРУ на Завахири, его надо будет кое-чему обучить и, может быть, снабдить инструментом. Техники покажут ему, как посылать

тайные сигналы, сообщая, где и когда должен быть нанесен удар. Инструментарий для этого имеется, и весьма обширный, например, мобильный телефон, который может принимать и посылать цифровые фотографии, с виду совершенно обычные, но на самом деле в них закодированы географические координаты, так что после расшифровки на фотоснимке выявятся точные координаты места, где он произведен.

Был во всем этом и еще один важнейший аспект, который Мэтьюс тоже не обошла вниманием. Вызывая Балави на встречу, ЦРУ тем самым лишний раз ставит на карту жизнь агента. Значит, ведомство должно сделать все возможное, чтобы он был доволен и мотивирован. Офицер иорданской разведки Али бен Зеид поведал Мэтьюс о сложности характера своего подопечного, о его ранимом самолюбии, и она внимательно все выслушала. Приняла к сведению и то, что Балави воспитан в традициях, которые требуют при деловом общении всяческой обходительности и учтивости, а уж после десяти месяцев опаснейшей работы в Пакистане разговаривать с ним надо будет очень уважительно. Бен Зеид подчеркнул, что Мэтьюс следует обратить на это особое внимание. Прием должен быть проведен с арабской церемонностью — сперва торжественная встреча, официальное знакомство, рукопожатия и долгий обмен любезностями. Потом Балави нужно предложить угощение и медицинскую помощь. А в качестве жеста особой сердечности и для закрепления дружбы его надо поздравить с днем рождения, подарив торт. Что ж, испекли и торт — бисквитно-кремовый, с шоколадной глазурью, по собственному рецепту шеф-повара базы.

"Надо сделать так, чтобы он почувствовал себя желанным гостем", — непрестанно повторяла Мэтьюс подчиненным.

Мэтьюс все дописала, перечитала. Вместе с подразделением охраны и самим Балави во встрече будут участвовать шестнадцать человек, а может, и больше. План вышел несколько необычным, но ведь и Балави — необычный агент. То, что он сообщает, выходит далеко за рамки типичной сплетни о талибах, подслушанной где-нибудь в чайхане или на базаре. Балави обещает помочь поквитаться за 11 сентября и за сотню других громких преступлений. Очень возможно, он сумеет указать путь к полному уничтожению "Аль-Каиды".

Закончив, Мэтьюс переслала наброски плана в Лэнгли, попросив высказать замечания. Некоторые детали вызвали споры; кроме того, ей сообщили, что пришлют в помощь двоих сотрудников из Кабула — заместителя начальника тамошней базы и Элизабет Хэнсон.

Однако с ключевыми пунктами плана руководство согласилось полностью. Балави нужно защищать любой ценой, хранить от всяческого зла и беречь от дурного глаза. В общем, *носитесь с ним, как с писаной торбой*, велели Мэтьюс.

Но можно ли ему верить? Во времена более спокойные, когда на Управление еще не обрушилась ответственность за сбор информации для двух войн, на каждого двойного агента или переметнувшегося иностранного шпиона ЦРУ выделяло по куратору — специалисту, который контролировал подопечного и следил, нет ли признаков двурушничества. Такого рода контроль и поиск шпионов в своей среде относится к сфере деятельности контрразведывательного отделения конторы; именно там сосредоточены мастера по искоренению вражеских агентов и других угроз разведслужбе. Но с тех пор как началась война в Ираке, времени на то, чтобы персонально опекать каждого осведомителя, катастрофически не хватало — осведомителей стало столько, что за всеми не уследишь. Ненадежных или сложных в общении просто отбраковывали и заменяли другими. Так что серьезный допрос в контрразведке Балави не грозил: в конце концов, парня завербовали в дружественной разведслужбе и даже успели забросить. Что поделаешь, ну не успел никто из американских специалистов оценить его, хотя бы визуально.

Впрочем, задним числом, через много недель после случившегося, знавшие о деле Балави сотрудники отделения контрразведки на следствии показывали, что они и тогда находили поведение Балави подозрительным. Как и того начальника из Мухабарата в Аммане, их беспокоило, что события в Пакистане вызревают как-то уж слишком быстро, слишком легко.

До Мэтьюс эти сомнения не докатились даже в виде отголосков, и в конце декабря она получила одобрение своего замечательного, прекрасным слогом написанного плана, в котором все вращалось вокруг единственной цели — обеспечения безопасности Хумама аль-Балави.

Выйдя во двор, Даррен Лабонте оглядел скопление людей около здания, где ЦРУ проводит опросы осведомителей, и покачал головой. То был день репетиции: Мэтьюс проводила практические учения по организации встречи все еще неизвестно где пропадающего иорданского информанта, — и Лабонте все очень не нравилось.

— Гуси, гуси, га-га-га, — вполголоса пробурчал он слова детской потешки, что в его устах означало издевку над бесполезными бюрократическими сборищами. — Что за дурацкая клоунада?

Проведя на базе в Хосте уже две недели, бывший рейнджер стоял теперь с Али бен Зеидом и тринадцатью другими сотрудниками на посыпанной гравием площадке, и все вместе они изображали, как будут встречать Хумама аль-Балави, если неуловимый иорданец соблаговолит явиться. Шеренга мужчин и женщин в джинсах и военном обмундировании без знаков различия протянулась вдоль фасада здания примерно там, где запланирована встреча; Дженнифер Мэтьюс прохаживалась вдоль строя. Серое бетонное здание с металлическим навесом на стальных столбах, прикрывавшим стоявших перед фасадом сверху, было расположено в дальнем конце мини-крепости ЦРУ внутри базы, в нескольких ярдах от сторожевой башни, с которой открывается вид на город Хост. Проведя две томительно скучные недели за забором базы ЦРУ, Лабонте успел хорошо изучить, где тут что.

Он перевел взгляд на женщину, руководившую учением. Поначалу Мэтьюс ему понравилась, но, уже на рождественской неделе, в разговоре по скайпу с близким другом прозвучало что-то вроде жалобы на ее манеру общения: Лабонте раздражала начальственная резкость — либо, мол, делаешь, как я сказала, либо катись, скатертью дорога.

"Они перед этим Балави прямо что шапки ломать собрались, — друг пояснил, как ему со слов Лабонте представлялось происходившее на базе. — А он куратор, это его дело. Понятно, что свистопляска вокруг Балави ему не нравилась".

Главное возражение Лабонте: слишком много народа. Четырнадцать сотрудников разведки плюс водитель — это на двенадцать больше, чем требуется — вот как он рассуждал. Как Лабонте, так и бен Зеид имели большой опыт работы со скрытыми агентами в Афганистане и на Ближнем Востоке, и этот опыт говорил им, что встреча с агентом почти всегда проводится с минимальным количеством участников. Один сотрудник за рулем — ведет машину к назначенному месту, второй на заднем сидении — ощупывает агента, нет ли у того передающих устройств или оружия. В Хосте сотрудников из Аммана даже не выпускали с базы (считалось, что риск похищения чрезмерно велик), но Лабонте все равно предпочел бы менее многолюдную встречу — по соображениям безопасности. Даже наиболее доверенных осведомителей обычно держат в неведении: не посвящают в планы ведомства, не позволяют видеть лица и знать имена оперативников ЦРУ, за исключением собственно кураторов. Так безопаснее для всех: чем меньше осведомитель знает, тем меньше он может выдать под страхом казни или пытки, если попадется противнику.

Да и помимо этого у Лабонте возникло ощущение тревоги: все шло куда-то не туда, вызывая что-то вроде предчувствия, о котором он говорил и бен Зеиду, и тому другу, с которым общался по скайпу. Но было ли это просто усталостью после двух недель непрестанного ожидания и неуверенности пополам со скукой или чем-то большим (может быть, его знаменитым "паучьим чувством"), оставалось неясным.

"И он, и Али были настроены очень скептически, — говорит тот его друг. — Ни на минуту не забывали, что парень может оказаться перевертышем или просто мошенником, падким до денег. Нет, никаких таких особо явных признаков, что малый переметнулся, не было. Но если вдуматься: кто сперва будет сидеть рядом с Завахири, а потом примет участие в разработке его убийства?"

Да и у других, в том числе и у нескольких тяжело вооруженных мужчин, в задачу которых входила безопасность сотрудников ЦРУ, подобные опасения тоже возникали. Во время той репетиции произошла резкая стычка между начальником охраны Скоттом Робертсоном и Мэтьюс; этот инцидент потом всплыл во время следствия.

Робертсон, хотя на базе тоже без году неделя, перед этим чуть не десять лет занимался защитой правительственных чиновников США в Багдаде, и за те худшие годы, когда инсургенты устраивали всякого рода вылазки по сотне раз на дню, успел довести навыки до автоматизма. В день репетиции несколько сотрудников видели, как Робертсон и Мэтьюс, отойдя на несколько шагов от общей группы, о чем-то, понизив голос, сердито поспорили. Как вспоминает свидетель, после этого Робертсон подошел к охраннику Дэну Парези и пожал плечами. О чем был спор, никто не знает, но со стороны казалось, что все улажено.

Примерно в то же время Парези, бывший "зеленый берет", жаловался коллегам в "Блэкуотере" на организацию охраны. А бывший "морской котик" Джереми Уайз, всего две недели назад прибывший в Хост, в имейле от 21 декабря, посланном приятелю, тоже "морскому котику", намекал, что у него имеются серьезные разногласия с гражданским начальством по поводу проведения некоей важной операции. "Иногда наша работа как раз в том и состоит, чтобы сказать: сэр, я не думаю, что вам следует это делать. Это вы не очень хорошо придумали", — писал он.

Шли дни, конфликт не утихал, и Лабонте в конце концов решил обратиться к своему начальству в Иордании. Сел за компьютер и отправил по электронной почте письмо начальнику опорного пункта ЦРУ в Аммане и копии нескольким дру-

гим менеджерам пункта, предупреждая, что дело Балави угрожает слететь с рельсов.

По словам сотрудника, который это его письмо читал, оно начиналось так:

Здесь у нас три проблемы.

Затем он перечислял их:

В операцию вовлечено слишком много народа.

Мы продвигаемся слишком быстро.

Слишком во многом мы перестаем владеть ситуацией, позволяя Балави диктовать нам.

В Аммане письмо Лабонте вызвало неудовольствие. Начальник опорного пункта внимательно его прочел, но решил не вмешиваться. Дело слишком важное и должно идти своим чередом, сказал он коллегам.

Видело ли это письмо начальство ЦРУ в Лэнгли, неясно. Во всяком случае, Мэтьюс его никто не направил, хотя она, конечно, и так наверняка знала о сомнениях Лабонте.

Характерен совет, который дал подчиненному начальник охраны базы, когда несколько позже, в разгар последних приготовлений к визиту Балави, этот боец попросил разрешения тоже поприсутствовать на встрече осведомителя, с которым так носятся.

Робертсон сказал: *Держись-ка от этого дела подальше.*

За время Рождественских праздников лишь усугубилось смятение в умах бен Зеида и Лабонте. Вылетая в Хост, разведчики из Аммана планировали долго там не задерживаться, побыстрому встретиться с подопечным и вернуться, но шла уже третья неделя их пребывания на базе, где делать им было практически нечего, а никакого Балави не наблюдалось даже на горизонте.

Попытки Лабонте изменить формат встречи успехом не увенчались. Командовала в Хосте Мэтьюс, к тому же и Кабул, и Лэнгли ее всецело поддерживали. Позаботиться о большей безопасности она готова была лишь чуть-чуть. Согласилась, чтобы Балави обыскали сразу, как только, въехав на базу, он окажется во внутренней цитадели ЦРУ; при этом остальные сотрудники должны будут стоять на "почтительном" расстоянии (примерно в пятнадцати метрах). Но насчет того, где будет происходить встреча, она уперлась намертво, и точно так же ее нельзя было переубедить, что для опроса такого важного осведомителя не требуется большая и разноплановая команда. К тому времени Лабонте вообще перестал понимать, зачем эти споры: Балави продолжал требовать, чтобы встреча происходила в Пакистане, а это, как все прекрасно понима-

ли, совершенно немыслимо. Замаячил реальный шанс, что встреча отменится, и командировка закончится полным фиаско.

Ко всему прочему и Лабонте, и бен Зеида снедала тоска по дому. Лабонте уже неделю назад должен был присоединиться к семье, наслаждающейся отдыхом в Тоскане на вилле, которую он самолично нашел и забронировал по интернету. Вместо этого он все еще тут, спит на коечке в вонючей гостинице для командированных вместе с незнакомыми мужиками. А бен Зеид тем временем начинает сходить с ума от жизни в четырех стенах. Из опасения, что иорданский принц крови может оказаться чересчур лакомой мишенью для кого-нибудь из афганских солдат, среди которых немало тайных сторонников "Талибана", ЦРУ ограничило его передвижения.

Между прочим, бен Зеид однажды повеселил служащих ЦРУ, чуть не спалив одно из банных помещений базы. Завзятый бактериофоб, он, пытаясь дезинфицировать туалет, облил сидение унитаза химическим чистящим средством. Потом зажег спичку, и горючие пары полыхнули так, что у него чуть не начисто сгорели брови.

Тем временем остальной личный состав базы изо всех сил пытался извлекать хоть какие-то крохи удовольствия из празднования Рождества. Выпивали и провозглашали тосты в баре для сотрудников ЦРУ — кстати, одном из немногих мест, где в Афганистане можно выпить пива, поскольку во всем тамошнем созвездии военных объектов США царит жесткий сухой закон. Распаковывали содержимое посылок с подарками, поедали сладости, делились с сослуживцами. Уайз, бывший "морской котик", а теперь охранник из "Блэкуотера", всем показывал присланный по электронной почте шустрым сыном по имени Итан красиво разрисованный список подарков, которые тот хотел бы получить от Санта-Клауса.

Дня через три последнее из рождественских лакомств было съедено, и все надежды на встречу с Балави испарились. Лабонте, взяв у бен Зеида мобильник, поделился этой новостью с женой: всё, наше дело в Афганистане закончено, выезжаю в Италию, как только достану билет на самолет.

Но, как вскоре выяснилось, он поторопился. Не прошло и двух-трех часов, как бен Зеид получил имейл с долгожданным сообщением. Хумам аль-Балави все-таки соглашается приехать в Хост. Он будет на базе завтра.

Перезванивать жене Лабонте не решился. Не хотелось их там огорчать, а кроме того: ну надумал Балави явиться, ну ладно, большой задержки это не вызовет. К Новому году он до Италии так и так доберется.

Объявленная дата прибытия Балави означала также и то, что Элизабет Хэнсон скоро полетит обратно в Кабул. О чем она сразу же сообщила матери в Рокфорд, Иллинойс. В общении с матерью Хэнсон всегда старалась излучать оптимизм, чтобы не давать той повода для беспокойства. О предстоящем событии она только и сказала, что предстоит важная встреча — и больше ни гу-гу.

Однако вечером, уже зная, что Балави, наконец, едет, Хэнсон лишилась обычной для нее беззаботности. Разговор закончила словами, которых мать не слыхивала со времен ее раннего детства: "Молись за меня, — сказала Хэнсон. — Помолись, чтобы все прошло нормально".

13. Тройной агент

Северный Вазиристан, Датта-хель – декабрь 2009 г.

В одном из племен пуштунов Северного Вазиристана есть человек, который там известен, как "портной 'Аль-Каиды'". Его дом находится поблизости от поселка Датта-Хель, а на жизнь он зарабатывает шитьем жилеток для шахидов, бомбистов-самоубийц. Однажды утром в середине декабря он сидел за своей старинной швейной машинкой и выполнял очередной заказ — опять жилет, но на сей раз не совсем обычный.

Этот человек славится как закройщик весьма изобретательный, а его изделия отличаются надежностью и дешевизной, то есть качествами, чрезвычайно важными для того, кто свой товар сбывает организации террористов, поставившей атаки смертников на поток. Не всегда он кроит жилетки сам, иногда за основу берет купленный на местном базаре пусть поношенный, но еще крепкий мундир от списанной военной формы, отпарывает рукава и пришивает толстые стропы, которыми можно плотно притянуть его к торсу. Пришивает к жилету матерчатые карманы, куда вставляет пакеты с пероксидом ацетона[1], белым порошком, который на Территории племен в Пакистане пользуется популярностью как взрывчатое вещество, поскольку его можно получать в домашних условиях из простых ингредиентов. Поверх карманов кладет слой шрапнели, состоящий из сотен гвоздей или других кус-

1. Пероксид (перекись) ацетона — инициирующее взрывчатое вещество, использующееся, в частности, как пищевая добавка E-929.

ков металла, налепленных на листы толстой и с одной стороны липкой бумаги или ткани. И в довершение всего сует в порошок капсюли-детонаторы, снабженные проводами, идущими к маленькой девятивольтной батарейке и дешевой запальной кнопке. Эту последнюю он укрепляет внутри отдельного кармашка, закрывающегося на молнию. Как он объясняет, для того, чтобы не дать молодым и легко возбудимым будущим мученикам взорвать себя слишком рано. Лишняя секунда-другая возни с молнией даст бомбисту возможность задуматься, а не подойти ли к цели поближе, чтобы добиться максимально возможного убойного эффекта.

Тугая пригонка жилета к телу и особое расположение карманов со взрывчаткой позволяют направить энергию взрыва вовне, к тому, кто стоит непосредственно перед шахидом. Часть энергетической волны неизбежно устремляется вверх и разрывает тело бомбиста в самом слабом месте, в области шейных позвонков под нижней челюстью. Этим объясняется странное явление: голова бомбиста в момент детонации всегда начисто отрывается от тела, и ее позднее обнаруживают совершенно неповрежденную в нескольких метрах от туловища, в клочья изорванного. Когда в первые годы нового века началось повальное нашествие шахидов на израильские кафе и междугородние автобусы, полицейские обнаружили, что довольно легко можно отличить тело бомбиста от останков его жертв: надо лишь найти труп без головы.

В тот день вокруг жилетных дел мастера собралась группа молодых пакистанских рекрутов (кое-кто из них уже был назначен на роль шахида); они смотрели, как мастер работает, и восхищались. Один заснял на сотовый телефон, как тот полез в ящик с взрывчаткой и вынул не то, что ожидалось: не обычные пакетики с порошком, а брикеты похожей на пластилин гораздо более мощной военной взрывчатки, которая называется "Композиция Си-4"[1]. Он размял брикеты, чтобы они стали плоскими, и принялся набивать ими тринадцать матерчатых карманов, предварительно нашитых с внешней стороны жилета. Затем окунул малярную кисть в банку со строительным клеем и смазал густой белой жижей большой квадрат прочного холста. Потом стал терпеливо укладывать на него металлические предметы — в ряд один за другим и так ряд за рядом, перемежая стальные подшипниковые шарики размером с желудь гвоздями и обрезками. А завершил мозаику несколькими блестящими штучками, которые узнал бы каждый

1. Взрывчатое вещество на основе гексогена (другое название "пластид").

американец, окажись он в тот момент рядом: это были "джеки" — похожие на противотанковые ежи в миниатюре принадлежности для детской игры.

Зрители оживленно обсуждали, кому выпадет честь надеть такой необычайный жилет. Большинство склонялось к тому, что он достанется молодому иностранцу, которого рекруты звали Абу Лейла — по арабскому обыкновению взрослого мужчину следует называть именем его старшего ребенка, предваряя его словом *Абу*, что значит "отец". Но отец Лейлы вовсе не стремился надеть этот жилет. Уезжая в Пакистан, Хумам аль-Балави воображал себя моджахедом, воителем священной битвы, идущим сражаться и, возможно, даже умирать в справедливом сражении с врагами Господа. Но вот с чем он совершенно себя не ассоциировал, так это с жилетом смертника. Тот, что лежал перед портным в Датта-Хеле, мало-помалу напитывался, снаряжался металлом — ряд за рядом, слой за слоем, — но время еще было. В оставшиеся дни Балави постарается все силы приложить к тому, чтобы этот жилет надели на кого-нибудь другого. Только бы не на него.

Но вышло все не так, как ожидал Балави.

Смерть Байтуллы Мехсуда показалась ему концом той веревочки, которой как ни виться... А может быть, и концом его жизни. Рыхлый, болезненный Мехсуд для Балави был не просто хозяином, но и щитом, охранявшим его от других лидеров "Талибана", которые, как, впрочем, и приближенные Мехсуда, на врача смотрели косо. Теперь же, когда его не стало, их подозрительность снова вспыхнула. А вдруг это иорданец направлял ракеты на командиров "Талибана", в том числе и на Мехсуда?

К счастью для Балави, им и помимо него было кого подозревать. За те пятнадцать месяцев, что неумолимые "предаторы" наносили по ним удары, вопрос, как им удается с такой точностью поражать свои мишени, вызывал самые невероятные домыслы. Одна из теорий строилась на том, что на автомобилях кто-то будто бы оставляет знаки, нанося их "невидимыми чернилами" с помощью шприца; говорили и о таинственных микрочипах (на местном наречии *гхема гхамей*, то есть "колечко с камешком"), которые служат якобы маяками для прицельного бомбометания — такой маячок, мол, можно спрятать в пачке сигарет или даже замаскировать под обычный камень. Многих местных жителей талибы казнили, заподозрив, что они устанавливают такого рода устройства около домов, где появляются крупные руководители боевиков.

Но когда последователи Байтуллы Мехсуда передрались, споря о том, кто заменит погибшего лидера талибов, поиски шпионов на время прекратились. Один из таких споров окончился перестрелкой, в которой чуть не погиб основной претендент на лидерство — Хакимулла Мехсуд, молодой и харизматичный двоюродный брат Байтуллы. Раненому Хакимулле понадобился врач, так что, весьма возможно, профессионализм Балави спас жизнь не только молодому человеку, но и ему самому.

Высокий и статный Хакимулла в свои тридцать с небольшим был этаким Че Геварой в сравнении с Байтуллой, пузатым Карлом Марксом, но они оба были одинаково порывисты и импульсивны, и оба симпатизировали иорданскому врачу. Хакимуллу глубоко потрясла смерть двоюродного брата, к тому же теперь на него, как на нового вождя, легла моральная ответственность за *бадал*, кровную месть за убитого. А Балави полезен, он обладает ценными навыками, в число которых, похоже, входит и способность внушать ЦРУ кое-какие мысли. Нельзя ли с его помощью отомстить за смерть Байтуллы?

Что ж, перво-наперво Балави не помешает военная подготовка. Клан Мехсуда имел в своем распоряжении тренировочные лагеря для рекрутов-джихадистов, и вскоре доктор отправился в Северный Вазиристан, в пыльный лагерь близ деревни Иссори; там обучалось несколько десятков молодых мужчин, изъявивших желание повоевать за "Талибан".

Отныне Балави начинал свой день в 5.30, переходя от гимнастики к стрельбе по мишеням, а от нее к бегу с препятствиями. Под вечер будущие боевики изучали подрывное дело, в том числе действие жилетов смертника и установку взрывных устройств на дорогах. Обучение прерывалось только на время еды и обязательной ежедневной молитвы в мечети; вечером всех снова собирали для наставлений по вопросам религии и тактики. Местные пуштунские юноши лет двадцати или даже меньше, которые составляли большинство в лагере, радостно приветствовали появление в своей среде доктора-араба, пусть по возрасту и крови им и чуждого, но зато, говорят, это же знаменитый журналист, тот самый Абу Дуджана аль-Хорасани! Правда, физические нагрузки, да и весь изматывающий режим выявил некоторые недостатки доктора. К концу обучения он все еще не мог овладеть основами стрельбы из автомата АК-47: из-за отдачи дуло задиралось, и пули летели гораздо выше мишени.

Самый неприятный случай произошел с ним во время практического освоения одной из любимых тактических уло-

вок талибов — когда из засады на автомобиль нападают двое мотоциклистов-убийц. До этого Балави никогда не управлял мотоциклом, и вдруг его усадили верхом на ревущего зверя и заставляют куда-то нестись по грунтовой дороге — при этом надо одновременно держать и руль, и оружие. На мягком песке мотоцикл занесло, Балави потерял управление и врезался в мотоцикл напарника, отчего оба упали. Балави почувствовал острую боль в правой голени, там что-то хрустнуло, а потом его еще проволокло по инерции лицом и рукой по гравию. Какие-то секунды он лежал неподвижно, прикидывая, сильно ли покалечился. Малая берцовая кость правой ноги была сломана. Но его репутации эта истории нанесла травму, без сомнения, куда большую. Кому нужен джихадист, который не способен драться?

Все эти месяцы без ведома Балави за ним наблюдали, прикидывая, как лучше использовать его потенциал. Наконец, когда после гибели Байтуллы Мехсуда прошло несколько недель, из тени вышла "Аль-Каида".

Балави пригласили к одному из командиров среднего звена, некоему Абдулле Саиду аль-Либи, уроженцу Ливии, который тогда заведовал текущими операциями в Пакистане. Вскоре он выделил Балави место в занимаемой им усадьбе, чтобы тот ненадолго там поселился. Иорданца постепенно перезнакомили со всеми остальными из узкого кружка главарей "Аль-Каиды" в Северном Вазиристане. Балави пил чай с Атийей Абд аль-Рахманом, их религиозным авторитетом и дипломатом. И, наконец, его представили человеку, который был практически главным по тактике во всей "Аль-Каиде". Согласно иерархическим схемам ЦРУ этот человек, известный как Шейх Саид аль-Масри, значился в "Аль-Каиде" фигурой № 3. В реальности всеми делами заправлял аль-Масри — оба высших главаря общались с подчиненными лишь изредка, через доверенных курьеров.

Аль-Масри устремил на Балави взгляд из-за узких, каких-то очень уж женских очочков. Хитрому старому воителю было пятьдесят три, но выглядел он древним старцем: длинное лицо с дубленой кожей в глубоких морщинах, неухоженная борода пестрит сединой. На лбу, чуть ниже края белого тюрбана, набрякшая лиловым шишка, следствие давней привычки во время молитвы ежедневно биться лбом об пол.

Шейх аль-Масри пустой болтовни не любил. В числе других каирских радикалов этот человек, настоящее имя которого Мустафа Ахмед Мохамед Осман Абу аль-Язид, еще в молодости подвергался пыткам, сидя (вместе с Айманом аз-

Завахири) в тюрьме за участие в заговоре с целью убить египетского президента Анвара Садата. Выйдя из тюрьмы, вступил в возглавляемую Завахири террористическую группу и присутствовал при слиянии ее с "Аль-Каидой". Пережил множество покушений на свою жизнь, в числе которых было одно, лишь чудом не удавшееся, — когда в 2006 году ЦРУ разбомбило дом в Северном Пакистане, куда в качестве гостя, якобы, должен был явиться Завахири.

Теперь, на исходе третьего десятка лет жизни в качестве разыскиваемого террориста, он чрезвычайно заботился о своей безопасности и был совершенно равнодушен к безопасности других. Согласно имеющемуся у ЦРУ его секретному психологическому "профилю", составленному по данным, полученным как от осведомителей, так и из прослушки, этот человек — неуверенный в себе циник и обуреваемый жаждой власти коварный интриган, которого сильно недолюбливают его же подчиненные. Окружив себя вооруженной пулеметами охраной, он всячески подбивал своих последователей жертвовать собой. Любимым его аргументом было: "если ты этого не сделаешь, Аллах в наказание пошлет тебе жестокие муки".

Наблюдая за Балави, аль-Масри все четче видел открывшуюся возможность. Руководящие круги "Аль-Каиды" за неполный год недосчитались более десятка начальников и многих сотен боевиков. Что ж, похоже, вот он, способ нанести ответный удар. При этом цена, которую придется заплатить террористической группировке, окажется минимальной — всего один никчемный иорданский докторишка, по которому плакать никто не будет.

Уже во время их разговора в уме аль-Масри начал вырисовываться предварительный план, в котором главной целью становился Али бен Зеид, иорданский куратор доктора. В качестве символической мишени фигура бен Зеида представлялась почти идеальной. Во-первых, это офицер, сотрудник иорданской разведслужбы Мухабарат — организации, нанесшей "Аль-Каиде" раны, серьезнее которых не наносил никто — ну, за исключением разве что ЦРУ. Во-вторых, он тесно сотрудничает с американским шпионским ведомством, а в третьих, — близкий родственник правящего в Иордании монарха, короля Абдаллы II, араба, заключившего мир с Израилем и сделавшегося тем самым в глазах "Аль-Каиды" одним из главных изменников в мусульманском мире. Если его родича удастся убить, это будет незабываемым ударом джихадистов по смертельному врагу. А если — что еще лучше — удастся бен Зеида похитить, будут унижены перед всем миром не только

он, но и весь правящий режим Иордании. Брата короля можно будет судить судом "Аль-Каиды", вынести ему приговор и, наконец, казнить, устроив из этого спектакль и распространив через интернет, чтобы зрелищем мог насладиться каждый.

А вот и наживка для западни: Хумам аль-Балави. Остается только, чтобы этот доктор как-нибудь убедил бен Зеида приехать в Пакистан. А уж тут-то "Аль-Каида" пособит. Между прочим, подобно многим другим ветеранам джихада, проходившим обучение в западных спецслужбах, аль-Масри был достаточно грамотен как разведчик и внимательно следил за новостями в массмедиа, по которым можно судить и о позиции ЦРУ. Некоторых членов его группы уже допрашивали в тюремных лагерях США, в том числе в Гуантанамо. Они знали, какого рода информация проймет американцев до печенок.

Так "Аль-Каида" начала кампанию по превращению Балави в незаменимого, сверхценного агента ЦРУ. Делалось это постепенно. Сначала осведомителю следовало выступить с ошеломительной новостью, которая обязательно привлечет внимание верхушки ЦРУ. Новость должна быть достоверной и проверяемой, но не слишком вызывающей, а то как бы подвох не заподозрили. Чем-то таким, что помешанные на технике американцы сразу оценят.

Дьявольский ум аль-Масри подсказал ему: видео! Пропагандистское крыло "Аль-Каиды" уже давно располагает примитивной студией с камерами и компьютерной аппаратурой для монтажа и озвучки. Что ж, теперь пусть подключаются актеры: аль-Рахман с несколькими полевыми командирами и Балави, и пусть изображают самих себя.

Съемки происходили в конце августа. Аль-Рахман и Балави заняли свои места и под камеру стали изображать оживленную беседу. Сценическую площадку обставили так, чтобы отснятый материал имел вид небрежной любительской съемки рядового совещания. Потом из материала был выделен короткий цифровой фрагмент. Иорданцу оставалось только прицепить файл к имейлу, отправить и ждать.

За первым пробным шаром следовало запустить серию приманок поменьше, растянув ее на много недель, чтобы американские аналитики не расслаблялись и все время ждали. У них должно складываться впечатление, будто Балави помогает ЦРУ в поиске мишеней: то тут совет даст, то там добавит деталь-другую (совершенно подлинную, разумеется), чтобы казалось, что он почти у цели, вот-вот произойдет прорыв к большой победе. А "Аль-Каида" подождет, пока уляжется вол-

нение, вызванное видеофайлом с участием аль-Рахмана, и лишь после этого запустит настоящего, большого живца.

Аль-Масри знал, как жаждут американцы любой информации о бен Ладене и Завахири. Человек № 2 в "Аль-Каиде", конечно, глубоко законспирирован, но версия, что он может захотеть встретиться с Балави из-за проблем со здоровьем, вполне правдоподобна. А уж детали этой якобы состоявшейся встречи, да такие, чтобы у аналитиков ЦРУ не возникло ни малейшего сомнения — вплоть до последнего шрама и пломбы в коренном зубе, — "Аль-Каида" предоставит.

И каждый червячок из этого набора наживок оказался с жадностью проглочен! Действительно ли иорданская и американская разведслужбы отбросили все сомнения, из Пакистана судить было трудно, но стало ясно, что Балави прочно приковал к себе их внимание. В ноябрьском имейле, которым Балави поделился с хозяевами, бен Зеид хвалил агента, превознося до небес и называя самым успешным из своих подопечных. "Благодаря тебе мы подняли головы и можем смотреть теперь на американцев, не опуская глаз!" — не жалел елея куратор.

Участие в этой игре вскружило Балави голову. Сверхсовременными технологиями, деньгами и коварством легендарное американское шпионское ведомство сгубило стольких джихадистов! А теперь, похоже, вот-вот само попадется в ловко расставленную "Аль-Каидой" ловушку — уж точно не менее хитроумную, чем любая из придуманных на Западе.

"Хвала Аллаху, наживка заглочена прочно, — подытожил Балави. — Теперь они так распалились, что ими можно вертеть как угодно".

Кураторы Хумама аль-Балави интерес действительно проявили, но не забыли об осторожности. Иорданскому врачу пришлось переживать одно разочарование за другим: вот не хочет его мишень прыгать в ловушку "Аль-Каиды", и все тут!

По первоначальному плану встреча должна была произойти в Пешаваре, древней пуштунской столице, ныне центре провинции Хайбер-Пахтунхва с населением свыше двух миллионов человек в Северо-Западном Пакистане. Предполагалось, что Балави настоит на том, чтобы встретиться с бен Зеидом наедине, и, как только тот появится, откуда ни возьмись, выскочат боевики "Аль-Каиды" с автоматами, так что офицер Мухабарата в два счета будет похищен (или "арестован", как назвал бы это Балави). Конечно же, неподалеку окажутся и цеэрушники, за всем этим наблюдающие, они попытаются вмешаться, и тут уже вступит в действие План Б. Если похитите-

лей окружат и помешают отходу, в крайнем случае они своего пленника просто убьют.

Идею встречи в Пешаваре бен Зеид не забраковал — что ж, город оперативники ЦРУ хорошо знают, там много их агентов. Но офис ЦРУ в Исламабаде наложил вето. Слишком велик риск — в частности, пакистанская разведслужба может прознать о намечающейся встрече и, чего доброго, организовать утечку, сообщив кому следует, кто такой Балави.

Когда сорвалось с Пешаваром, следующим предложением боевиков стал главный город Северного Вазиристана Мираншах. Этот город практически принадлежит сети Хаккани, близкому союзнику "Аль-Каиды", а в пригородах и ближних деревнях вовсю орудуют подчиненные Мехсуду талибы. Там бен Зеид может исчезнуть в лабиринте глинобитных дувалов, среди хаоса базаров и закоулков, прежде чем ЦРУ успеет разобраться в происходящем.

Бен Зеид отверг и Мираншах, но Балави продолжал настаивать. Предлагал варианты, пытался взывать к совести. "Это же я тут всем рискую!" — твердил он.

Упрямство Балави начинало уже раздражать, но ветераны ЦРУ списывали его на неопытность агента. Осведомитель явно боится, это естественно, и еще не понимает, куда ЦРУ может дотянуться, а куда нет. Он не понимает, что, если есть хоть какой-то выбор, американцы никогда не согласятся проводить столь важную встречу в таком месте, как Мираншах, — городе, где абсолютный контроль ведомства над всеми обстоятельствами далеко не гарантирован.

По большому счету для нашей встречи подходит единственное место, писал бен Зеид. Это американская база в Хосте, она рядом с Мираншахом — как раз за горным хребтом и границей. Балави успеет быстро обернуться и возвратится в Пакистан прежде, чем его отсутствие будет замечено. Хост обеспечит полную безопасность и защиту от глаз шпионов "Талибана".

Балави же, напротив, к базе ЦРУ никакого интереса не испытывал. Он хорошо понимал, что ехать в Хост — это все равно что вламываться в тюрьму. Для засады и похищения никаких шансов, и никаким воинам "Аль-Каиды" он не выкрикнет приказ "в атаку!" Оружие, если его и удастся каким-то образом пронести на базу, почти наверняка отберут, а он сам будет убит прежде, чем успеет выстрелить хотя бы раз.

Это невозможно, написал он в ответном послании.

Вместе с тем само приглашение посетить известную базу ЦРУ содержало в себе соблазнительную возможность нанести удар как по иорданской разведслужбе, так — при удачном

стечении обстоятельств — и по американской. Балави это понял, да и хозяева из "Аль-Каиды" тоже почти наверняка подумывали о том же. В отличие от других обсуждавшихся с ним планов, этот был бы чисто сольным его выступлением и транспортировки актера требовал лишь в один конец. Но сие было бы чрезвычайно, запредельно рискованным мероприятием. Чтобы преуспеть в качестве бомбиста-смертника, Балави требовалось каким-то образом преодолеть множество заграждений безопасности — прежде всего несколько кругов афганской и американской охраны, дальше идет ощупывание, охлопывание, натасканные на взрывчатку собаки и металлодетекторы. Реально он мог надеяться унести жизни лишь нескольких низкооплачиваемых бедолаг-пуштунов, которые нанялись охранять внешний периметр базы, чтобы было на что кормить детей.

Об отношении Балави к миссии смертника можно судить по настойчивости его попыток избежать поездки в Хост. С самого начала декабря, когда уже и бен Зеид на базу прибыл, агент забрасывал куратора просьбами приехать в Пакистан. Когда, наконец, стало ясно, что о Мираншахе не может быть и речи, Балави предложил еще один вариант: встретиться под открытым небом в Гулям-Хане, пограничном поселке, где шоссе из Мираншаха в Хост проходит через контрольно-пропускной пункт.

Спор продолжался и 17 декабря, когда ЦРУ нанесло один из самых мощных за последние несколько месяцев ракетно-бомбовых ударов. Целью удара была усадьба неподалеку от деревни Датта-Хель — той самой, где портной шил в это время не совсем обычный жилет. Усадьбу, где происходило собрание командиров "Аль-Каиды" и "Талибана", разнесло минимум десятью взрывами, убившими шестнадцать человек. Это было тяжелое поражение. Среди убитых оказался Абдулла Саид аль-Либи, заметный деятель "Аль-Каиды", некоторое время деливший с Балави кров.

Не ответить на это было просто невозможно. Старые боевики на чем свет стоит крыли американцев, то нервно поглядывая на беспилотники, нарезающие круги над головами, то выжидательно — на иорданского доктора. Возможность надо было использовать — пусть она призрачная, пусть ниточка тонка, но она есть! Ну и когда же слова Балави напитаются его кровью?

Чем ближе подходил конец декабря, тем у́же становилось для Балави пространство маневра и тем исступленнее, с отчаянием приговоренного, он старался что-нибудь придумать. Однажды вечером сел и попытался писать, будто, если вы-

плеснешь сомнения на бумагу, они развеются. И, не успев начать, поразился иронии того, что ему предстоит.

"Сколько раз я хотел понять, что происходит в голове мученика непосредственно перед актом самопожертвования, — писал он. — А тут пришла моя очередь оправдывать ожидания других".

Затем он стал перечислять свои личные страхи, но сбился и признался, что не очень-то верит в действенность тактики использования бомбистов-самоубийц. Проблема в том, признал он, что "сделать это можно только раз в жизни", а ведь есть реальная вероятность, что ничего у тебя не выйдет и свою единственную жизнь ты выкинешь просто так, псу под хвост. Может, лучше вместо этого пойти повоевать? — спрашивал он сам себя. Или напрячь мозги и придумать что-нибудь действительно стоящее, "операцию, которая нанесла бы еще больший урон врагам Аллаха"?

Балави пытался убедить себя, что значение имеет только намерение: Господь его жертву оценит, даже если его застрелят, прежде чем он успеет нажать на кнопку взрывателя. Более сложным был вопрос, как он с этим справится. Что́ он будет чувствовать в последние секунды, когда лишь легкое сокращение мышц останется между ним и исчезновением навсегда?

"Ты не боишься в последний момент струсить? — спрашивал он себя. — Вдруг не сможешь нажать на кнопку?"

28 декабря Хумам аль-Балави вновь зашел в интернет-кафе, чтобы отослать короткую записку земляку Али бен Зеиду.

Твоя взяла, написал он. И продолжил:

Буду ждать вашего шофера в Мираншахе, как ты просил, под вечер. До встречи завтра в Хосте.

После этого двое боевиков "Аль-Каиды" вместе с Балави отъехали подальше в пустыню, чтобы заснять на видео, как иорданец даст очередь из АК-47 — как автомат дергается и вылетают пули, поднимающие где-то вдалеке фонтанчики пыли. Ради этих кадров он даже отложил костыль, чтобы не выглядеть инвалидом, но, когда попробовал идти, оказалось, что из-за поврежденной ноги сильно хромает.

Тем же утром чуть позже Балави пошел в свою комнату и примерил жилет смертника. Все застегнул, туго затянул завязки, и на его узкие плечи лег пудовый груз нашпигованной металлом взрывчатки. Поверх жилета он натянул камиз и перебросил через плечо серый чадар — то ли шаль, то ли одеяло, которое служит и плащом, и переносным молитвенным ковриком. Одевшись, вышел опять на улицу, где его ждал, прохо-

живаясь около белого хэтчбека, все тот же боевик с видеокамерой. Балави выглядел усталым, за эти девять месяцев он заметно постарел, а на лице под правым глазом все еще виднелись рубцы, оставшиеся после падения с мотоцикла.

Сопровождаемый включенной камерой, Балави сел на место водителя. Он давно решил, что речь мученика произнесет по-английски, чтобы как можно больше народу в интернете (куда она, как он надеялся, в конце концов попадет) могло ее понять, а фразеологией постарался создать впечатление этакой голливудской "крутости" отрицательного героя: говорил, как киношный громила, объявляющий ультиматум.

— Вы от нас не уйдете, ребятки из ЦРУ. *Инша'Аллах* — даст Бог — мы до вас доберемся, — начал он. — Не думайте, что убивая моджахедов простым нажатием кнопки, вы сами пребываете в безопасности. *Инша'Аллах*, мы нагрянем к вам неожиданно.

С этими словами Балави поднял левую руку, рукав камиза съехал, из-под него показалось нечто, похожее на наручные часы.

— Вот, все смотрите, это вам. Это не часы, это взрыватель, — сказал он.

Но маска крутого мачо плохо на нем держалась. Балави выглядел обеспокоенным, горько обиженным; едва закончив мысль, он каждый раз отворачивался от камеры. К тому моменту, когда он выплюнул последние слова своей речи, его глаза заметно покраснели.

— В чем моя цель? В том, чтобы убивать вас. И вас, и ваших иорданских марионеток... А мне, *инша'Аллах*, Господь дарует *аль-фирдавс*, лучшее место в раю[1], — закончил он. — А вас Он бросит в ад.

На последней фразе его голос сорвался, словно он изо всех сил боролся с подступающими слезами. Балави опять отвернулся, экран потух.

14. Нет Бога, кроме Бога

Афганистан, Хост – 30 декабря 2009 г.

30 декабря Дэн Парези встал рано и сразу ощутил две вещи. Первая — холод: на рассвете за тонкими стенами казармы, где

1. У рая семь степеней; *аль-фирдавс* — высшая и самая почетная.

разместили блэкуотеровских охранников, было минус пять по Цельсию, внутри тоже не бог весть какая баня. Вторая — голод. Спецназовским прозвищем Шакал Парези был обязан своему невероятному аппетиту и обыкновению таскать куски из тарелок товарищей. Столовая в Хосте ему очень нравилась, на его вкус здесь готовили лучше, чем где бы то ни было в Афганистане, а уж он познакомился с продукцией доброй дюжины здешних армейских пищеблоков. На кухне сейчас (взгляд на часы: шесть с минутами) уже, небось, блинчики на сковородках так и скворчат, а аромат жареного бекона и кофе настолько густ, что любой бывший "зеленый берет", будь он оттуда хоть в полуквартале, почувствует такой зов, словно его схватили за шкирку и тащат.

Вспомнил он и кое о чем посерьезнее, отчего, одеваясь в выстуженной казарме, немного даже напрягся: любимый осведомитель ЦРУ наконец-то собрался и едет в Хост. За время службы Парези имел дело с десятками информаторов, но в жизни не видывал, чтобы вокруг кого-то возникал такой ажиотаж пополам с раздражением. Неделями начальство базы занималось исключительно разработкой планов его приема; по ходу дела многие даже перессорились. Что до самого Парези, то к предложенным начальством и опробованным на репетиции мерам безопасности он относился весьма скептически и этого не скрывал, о чем сообщил и своему супервайзеру в Виргинии, и начальнику службы безопасности базы в Хосте Скотту Робертсону. А Робертсон и сам пришел к тому же выводу, особенно по вопросу, который считал крайне важным: слишком много народа соберется слишком близко к агенту, который только что работал по ту сторону, а значит, неблагонадежен по определению.

Такие разногласия не редкость и воспринимаются как часть нормальной жизни. За почти двадцать семь лет службы в армии, из которых без малого шесть отдано спецназу в Афганистане, Парези наблюдал множество стычек по поводу тактики. Бывает, все переругаются, чуть не с кулаками друг на друга лезут, но в конце концов старший по званию примет решение, и каждый выполнит свою часть работы. Теперешняя ситуация на первый взгляд вроде такая же, но в то же время и другая. Но в чем отличие, Парези никак не мог ухватить.

Парези быстро оделся и, пошарив около койки, нашел теплую куртку и оружие. Размером его комната была чуть больше того пространства, что выделяется бойцу в армейской палатке, но фанерные стенки обеспечивали что-то вроде уединения, да и места в ней вполне хватало — как раз помещалась койка, одежда и снаряжение, плюс книги и журналы, ко-

торые он привез с собой, чтобы коротать часы досуга. Дверь выходила в коридор, который вел в небольшую комнату отдыха с кожаным диваном, где контрактники могли перекинуться в картишки, почитать или просто посидеть с лэптопами на коленях, чтобы ознакомиться с заголовками новостей и проверить электронную почту. Там стоял легкий запах псины — из-за собак, которые во множестве забредают на базу, иногда получая статус подопечных. Например, последний из присланных "Блэкуотером" новичков, "морской котик" по имени Джереми Уайз, приблизил к себе белую вислоухую дворняжку по кличке Чарли; теперь этот Чарли спит в караулке и, стоит кому-нибудь из мужчин присесть на диван, начинает приставать, прихватывая зубами за одежду. Парези это не раздражало. Собак он любил и скучал по своей — черному с белым бостон-терьеру, такому глупому, что он назвал его Тормоз. Собаки напоминали ему о доме, куда он планировал вернуться в феврале, навсегда послав куда подальше и Афган, и военную службу.

Дэн Парези честь отдавал всю жизнь. Военным стремился стать с детства, еще с тех пор как играл в войну с мальчишками в лесу около Уилламеттского национального кладбища, рядом с которым жил с родителями в Портленде, Орегон. Окончив школу, на следующий же день записался служить, позднее стал парашютистом, воевал на Первой иракской. Несколько раз демобилизовывался, но ненадолго, — армия неизбежно затягивала его опять, пока, наконец, он не решил попробовать себя в элитных спецвойсках. За время изматывающих тренировок, перемежавшихся отборочными испытаниями, он сбросил тридцать фунтов весу, пока в 1995-м, в тридцать два года, не получил все-таки вожделенный зеленый берет.

Вскоре после этого, слоняясь вдоль витрин торгового комплекса около базы в Файеттвилле, Северная Каролина, он углядел симпатичную брюнетку, которая ела мороженое в магазине "Бас-энд-Боди". Вошел, попробовал с ней заговорить. Сначала девушка отшатнулась: на нее смотрел тощий малый в футболке с Бэтменом, белых носках и уродливых громадных очках ("противозачаточных", как она их позже окрестила). Подружки, с которыми она бродила по магазинам, чуть было не вызвали охрану, но через пару минут они уже все вместе хохотали, озираясь в поисках места, где бы присесть и выпить кофе. Будущая Минди Лу Парези написала ему свое имя и номер телефона губной помадой на бумажной салфетке. А через восемь месяцев они поженились.

Жизнь молодоженов была нескончаемой чередой расставаний: Дэна Парези то и дело отправляли за океан. Он служил

в Боснии, Руанде, на Филиппинах, в других горячих точках. Вышло так, что 11 сентября 2001 года он оказался дома, и они, сразу оба — и муж, и жена, — инстинктивно почувствовали, что дело пахнет жареным.

"Пойду-ка я, пожалуй, на работу, бэби", — сказал он.

Сперва Парези послали в Афганистан, потом второй раз в Ирак. Домой отпускали раз в год на тридцать дней, повидаться с Минди Лу и двумя дочками, Александрой и Сантиной. О том, что видел за морем, дома много не рассказывал, лишь помянул несколько раз недобрым словом песчаные бури и отвратную погоду вообще, а в моменты особой интимности признавался, что попытки Соединенных Штатов привнести демократию западного образца в коррумпированное, клановое общество, где две трети взрослых не умеют читать, ему видятся бесплодными. О том, что он представлен к медали "Бронзовая звезда", Минди Лу узнала, когда муж дал ей официальное письмо из Пентагона со словами: "Вот. Прочти". Это был официальный отчет о том, как Парези помог расставить ловушку на караван "Аль-Каиды", в котором ехал один из старших командиров террористической группировки. В той операции 2002 года шестнадцать инсургентов были убиты, еще столько же ранены.

В среде товарищей Парези был известен невозмутимым хладнокровием и свойственной разве что дзен-буддистам заботой о мелочах. Бывало, ночью, в кромешной тьме, он штурмовал убежища "Талибана"; бывало, ходил в разведку по дальним тылам талибов; в афганской одежде просачивался в деревни, кишмя кишевшие повстанцами, а вся поддержка — иногда один, только один, — американец рядом.

"Бывают задания, когда ты знаешь, что в случае чего никто на выручку не примчится, — рассказывает один из сослуживцев, воевавший рядом с Парези. — И хорошо бы знать наверняка, что напарник и сможет, и захочет вытащить тебя живым или мертвым. Вот он был такой. Всегда спокойный, и ты знал, что он тебя никогда не бросит".

После задания, вернувшись в лагерь, Парези отыскивал какое-нибудь тихое местечко и расслаблялся — обычно с книгой, трубкой и бутылкой воды. Он никогда не употреблял алкоголь и не повышал голос. Когда его что-то беспокоило или расстраивало, принимался ходить взад-вперед или находил, чем заняться.

Осенью 2008-го ему стукнуло сорок пять, он был в прекрасной физической форме, и вдруг Министерство обороны объявило ему, что в его услугах больше не нуждаются. После двадцати шести лет службы и в двух шагах от получения зва-

ния сержант-майора вместо повышения он внезапно получил обходной лист. В армии и так перебор мастер-сержантов средних лет, так что через тридцать дней чтобы духу твоего тут не было.

Когда-то Парези мечтал, выйдя в отставку, поселиться в горах на западе штата Орегон, чтобы ходить на рыбалку и стариться рядом с Минди Лу. Но военная пенсия, которую ему назначили, исходя из звания, даже и думать ни о чем подобном не позволяла, и он взялся за поиски первой своей работы на гражданке. Проходили недели, потом месяцы. Денег становилось все меньше, перспектив тоже не прибавлялось, и он решил пойти на контракт в "Блэкуотер" — скажем, на годик. Срок контракта разбили, с тем, чтобы половину времени он провел на родине, выполняя обязанности инструктора, а половину — за морем, главным образом в Афганистане, где "Блэкуотер" подрядился осуществлять защиту объектов и сотрудников ЦРУ. В день за работу в горячей точке платили по семь сотен долларов, то есть достаточно, чтобы оплачивать счета и откладывать на старость. В конце февраля, пробыв в Хосте меньше четырех месяцев, он снова полетит домой, на этот раз распрощавшись с Афганистаном навсегда.

Жилищные условия в этой последней командировке тоже оказались много лучше, чем на дюжине других передовых баз, где ему приходилось кантоваться, — то были вообще жутчайшие места, где американцам и афганцам приходилось спать с автоматами в обнимку, всем взводом, будто кильки в банке, в душной вонючей палатке, а на рассвете облегчаться в чистом поле, сидя орлом над собственноручно вырытой ямкой. Но теперь-то он уже не "зеленый берет", да и вообще не военнослужащий, а высокооплачиваемый охранник из ЧОПа, запятнанного множеством скандалов в прессе, которая, в частности, утверждает, что его контрактникам случается убивать безвинных иракских мирных жителей. Впрочем, на практике подлинными командирами Парези были сотрудники ЦРУ, почти все моложе его, и уж точно никто не обладал его опытом выживания среди опасностей Афганистана. Когда их решения возмущали Парези, он не молчал, хотя вообще-то знал свое место. Ему надо было кормить семью, и он делал свое дело, даже когда что-то ему не нравилось.

Подносы с завтраком опустели, а время до прибытия информанта еще оставалось, это время надо было как-то убить, и Парези направился в гараж, куда за последние несколько дней уже много раз наведывался: когда-то он служил и армейским механиком, а за время предыдущих командировок в Аф-

ганистан научился нескольким способам, позволявшим сделать машину более устойчивой к взрыву придорожной мины. Здесь он провел немало часов свободного времени — бесплатно, просто чтобы было чем занять мозги. И в тот день тоже: пошел в гараж и на морозе принялся возиться со старыми рыдванами, которые использовало ЦРУ для встреч с афганскими агентами на местности.

К дневнику, куда обычно он записывал свои мысли, Парези давно не притрагивался: все не мог заставить себя сесть и сосредоточиться. Когда позвонил домой, его голос звучал как-то не так, не как обычно, его словно что-то отвлекало или заботило. Минди Лу Парези этот его тон был знаком, и она сразу насторожилась.

— Дэн, что с тобой? Там у вас все в порядке? — спросила Минди Лу. Впрочем, его ответ она знала заранее.

— Да ладно тебе, бэби, успокойся.

А что он еще мог сказать?

Держа в руке костыль, Хумам аль-Балави обвел глазами вереницу малолитражек, грузовиков и такси, высматривая машину, присланную за ним. Когда он прибыл в Гулям-Хан, где располагался единственный пропускной пункт на границе Исламской республики Афганистан и Северного Вазиристана (Пакистан), была середина дня 30 декабря. На встречу в Хосте Балави опаздывал уже больше чем на сутки. Интересно, его еще ждут?

Контрольный пункт стоял на пакистанской стороне и представлял собой усадьбу с глинобитным домом и такими же надворными постройками, между которыми суетились несколько нервных стражей с автоматами; тут же стоял старинный пулемет с дулом, направленным в сторону Афганистана. Пассажиры, едущие в Афганистан, выстроились в очередь к такси и частным машинам, которые перевезут их через разделительную линию — она впереди, примерно в миле по шоссе; оттуда дорога ведет на запад, до самого Кабула. Очередь понемногу подвигалась, а Балави стоял в нерешительности, наблюдая, как стражи в теплых куртках заглядывают в багажники, проверяют паспорта и потрошат чемоданы в поисках наркотиков и оружия.

Чувствовал себя Балави ужасно. Сломанная нога все еще болела, да еще пришлось плестись чуть не целый день по изрытой колдобинами дороге из Мираншаха с пудовым грузом примотанной к груди взрывчатки, нашпигованной металлом. Он стоял теперь в очереди на паспортный контроль, в руке держа иорданский паспорт, виза в котором была на семь ме-

сяцев просрочена, а под рубашкой скрывая бомбу. Очередь еще чуть-чуть подвинулась.

Подняв взгляд, Балави увидел, как ему кто-то машет, стоя среди машин, ждущих пассажиров на Афганистан. Махавший был высоким, ладным и, судя по одежде, афганцем. Когда они сошлись поближе, встречающий учтиво поприветствовал Балави по-английски с пуштунским акцентом.

Он открыл дверцу белого седана, и Балави сел в машину. Водитель запустил мотор, и машина поползла к очереди автомобилей, направляющихся на север. Водитель махнул удостоверением, и их автомобиль пропустили без очереди и без досмотра. Несколько минут машина тужилась, одолевая довольно крутой подъем; наконец, проехав пограничный столбик, они оказались на афганской территории.

Водитель буркнул несколько слов по мобильнику, и начался долгий, длившийся почти час, спуск с горы в полупустынную долину, где проживает бóльшая часть примерно полумиллионного населения провинции Хост. Чуть не нависая над опасными обрывами, дорога вилась вдоль круч серпантином; водители то резко закручивали баранку, то внезапно жали на тормоз, чтобы не влететь в промоину или бомбовую воронку.

Афганский офицер сидел впереди один, пассажир — сзади, прямо за ним. Аргаван был из тех немногих местных, кого ЦРУ считало ценными кадрами: он был трудолюбив и надежен, как восход солнца. Еще молодой, лет тридцати, с карими глазами и аккуратно подстриженной бородкой, он одним из первых окончил организованную в Афганистане школу спецназа для местных, потом продвинулся и стал начальником подразделения афганцев, которых ЦРУ наняло для помощи американцам в охране базы. Насколько велико было к нему доверие ведомства, видно из того, что встречать столь важного осведомителя его послали одного. Но тут опять-таки: какой-нибудь американец мог начать опрос прямо в машине, без лишних церемоний агента обыскав, нет ли оружия. Хорошо ли это будет? Да и не дано американцу пересекать границу Пакистана с такой же легкостью, как это выходит у местного уроженца, говорящего на пушту.

Как только горы вокруг расступились и местность выровнялась, автомобиль свернул с шоссе. На въезде в деревушку асфальт кончился, и Аргаван повел машину медленно, при этом явно что-то высматривая, потом остановился у глинобитного дувала бампер к бамперу с красным хэтчбеком “субару”: за рулем там кто-то сидел, двигатель работал. Оба водителя вышли из автомобилей и обменялись приветствиями; затем Аргаван вернулся и отворил ближнюю к Балави заднюю дверцу.

Вылезайте. Меняемся машинами, сказал он. *Для конспирации.*

Скоро они опять пустились в путь вдвоем, двигаясь теперь быстрее по ровной плоской дороге среди орошаемых полей. Было уже четверть пятого, то есть к назначенному времени встречи в Хосте Балави опаздывал на двадцать шесть часов.

Отставание от графика началось по вине "Талибана". По согласованию с ЦРУ Балави должен был прибыть в пакистанский город Мираншах во вторник 29 декабря, там нанять машину до контрольного пункта на границе, где его подхватит Аргаван. Но полевой командир талибов Хакимулла Мехсуд, похоже, решил из мученичества Балави выжать все до капли — во всяком случае, по части пропаганды, — поэтому отбытие иорданца без конца откладывали, чтобы дать возможность видеооператорам Талибана снять сперва один клип, потом другой... В итоге, когда Балави добрался до Мираншаха, марш-бросок к границе предпринимать было уже бессмысленно: не успеть, на ночь пограничный пункт закрывается.

Перед этим Балави вконец измотали нескончаемыми мероприятиями по увековечению его предсмертных мыслей. За последние дни декабря он написал как минимум две статьи и дал три (а может, и больше) длинных видеоинтервью плюс несколько коротких. На одном видео Балави сидит у какой-то стены во дворе между двумя автоматчиками в масках и рассуждает о праведности мученичества. Другое обставлено как обычное ток-шоу, где Балави отвечает на вопросы невидимого "ведущего". На третьем Балави сидит (пожалуй, немного нервничая) рядом с самим Хакимуллой Мехсудом, и оба сообщают о своей решимости отомстить за смерть вождя "Талибана" Байтуллы.

В этом последнем клипе они говорят на разных языках — Мехсуд на пушту, а Балави по-арабски и по-английски — и друг на друга почти даже не смотрят, сидят на какой-то подстилке по-турецки, со всех сторон обложенные автоматами и брикетами взрывчатки "Си-4". Вожак талибов, глядя прямо в камеру, превозносит Балави как мужчину, "горящего желанием совершить деяние, которое причислит его к мученикам джихада".

"Совесть не позволила ему шпионить и доносить неверным на своих братьев-мусульман", — пояснил Мехсуд. И продолжил в том смысле, что ЦРУ своими авианалетами сеет "боль и горе", но "Талибан" нашел в конце концов способ, позволяющий нашим фидаинам "проникать на американские базы и, жертвуя собой, наносить по ним такие сокрушительные удары, что там их запомнят на сто лет".

Балави, одетый в полевую военную форму, бледный и тщедушный, говорил, то и дело поглядывая на листочки с записями.

"Эту атаку мы задумали вместе, – сказал он. – Ею мы дадим понять американцам, что веру в Бога, нашу истинную веру и благочестие, которое мы стараемся насаждать, мы не променяем ни на какие богатства мира".

Благочестие, которое мы стараемся насаждать. Со своего места на заднем сидении Балави видел лицо Аргавана в зеркале заднего обзора, его устремленные на дорогу глаза: как и все афганские водители, он инстинктивно все время сканировал обочину – нет ли свежей земли, то есть не прикопана ли недавно мина. Служа в охране, Аргаван зарабатывает деньги, чтобы кормить семью, но при этом он – слуга американцев. Двумя днями раньше Балави провозгласил, что такие люди являются изменниками и не достойны жить на белом свете. "Даже их повара и шоферы... даже те, кто работает в саду или на автомойке!"

"Убив такого, ты совершишь еще более благое дело, чем если убьешь американца, – сказал Балави в ходе одного из своих видеообращений. – Эти наемники – их цепные псы".

Впереди давно уже маячил большой аэродром; наконец Аргаван привлек к нему внимание пассажира. *Хост.*

Почти два часа машина ехала по местам, не охваченным сотовой связью, но, когда стало ясно, что до городских предместий рукой подать, Балави жестом попросил у водителя мобильный телефон. Тот набрал номер, который Балави дал ему на обрывке бумаги, и через несколько секунд в трубке зазвучал голос, по которому сразу чувствовалось, что арабский язык человеку родной.

– *Салям алейкум,* – приветствовал его Али бен Зеид. – *Мир тебе.*

Балави попросил простить его за задержку и вновь высказал опасение, что афганские охранники будут его щупать и разглядывать, а не исключено, что они шпионы.

– *Вы ведь там примете меня как друга, правда же?* – спросил он.

Бен Зеид поспешил его в этом заверить.

Машина неслась во весь опор, вздымая колесами тучи тончайшей пыли. Потом замедлила ход: они приближались к главным воротам. Автомобиль юркнул между высокими стенами в сужающийся каньон, предназначенный для того, чтобы транспортные средства выстраивались перед контрольно-пропускным пунктом в колонну по одному. На последних

метрах, из-за установленных на пути барьеров с колючей лентой по верху, машинам приходится несколько раз резко сворачивать, на малом ходу выполняя крутую змейку, — это чтобы они подольше оставались под прицелом крупнокалиберного пулемета, Балави скрючился на сидении, нижний край тяжелого жилета вдавился ему в живот, но, как и обещал бен Зеид, никакого досмотра не последовало. Аргаван свернул налево к воротам, и, лишь едва сбавив скорость при выполнении зигзагов у последнего заграждения из "бастионов Hesco", машина выкатилась на открытое пространство летного поля.

Потом опять свернули влево — и покатили вдоль края взлетно-посадочной полосы, мимо грузовиков-заправщиков, песочного цвета бронемашин пехоты и странного вида зеленького вертолета на предангарной площадке, одиноко стоявшего со слегка обвисшими лопастями несущего винта, похожими на крылья присевшей отдохнуть доисторической гигантской стрекозы. Справа все тянулась и тянулась высокая стена с колючей проволокой по верху, а за ней виднелись железные крыши зданий; сами здания взгляду Балави еще не открылись.

Балави заерзал, сползая по сидению все ниже. Много дней он размышлял над тем, что в эти минуты будет чувствовать. В его предсмертных записках потом найдут его предвидение того, как джинны, то есть демоны, будут нашептывать ему сомнения, пытаясь сбить с пути.

— И что, собираешься об этот свой джихад расшибиться до смерти, позволив жене выйти замуж за другого, а детям – расти сиротами?

— Кому ты оставляешь красавицу жену? Кто позаботится о твоей немощной маме?

— У тебя такая замечательная работа. Неужто не жаль бросать?

Они поравнялись с проемом в стене, и Аргаван направил "субару" под открытый шлагбаум второго КПП, а потом, свернув налево, проехал и третий. Теперь машина была как бы во дворе форта из "бастионов Hesco", поставленных один на другой, так что стены, по верху увенчанные спиралями колючей ленты, высились на три метра. Вдоль той стены, что напротив въезда, стояли пять крытых железом новеньких зданий и несколько домиков поменьше. К предпоследнему в этом ряду зданию сбоку пристроен широкий навес. Балави бросилась в глаза большая группа людей, стоявших там нестройной шеренгой. Ворота во внутренний двор за машиной немедленно закрылись.

На середине посыпанной гравием площадки перед зданием Аргаван остановил автомобиль параллельно навесу, метрах в двадцати от него. Со своего места на заднем сидении за водителем Балави мог теперь ясно видеть людей, собравшихся его встречать. По меньшей мере человек двенадцать, среди них несколько женщин. А вот и Али бен Зеид — стоит в камуфляжной панаме рядом с крупным, ростом выше него, мужчиной в джинсах и бейсбольной кепке. Они вдвоем стоят чуть сбоку от шеренги встречающих, ближе всех к машине, так что Балави уже отсюда видно, что бен Зеид ему улыбается.

Балави продолжал тупо смотреть на собравшихся, как вдруг дверца машины отворилась, и он оказался лицом к лицу с быковатым громилой — трехдневная щетина, пронзительные голубые глаза. Одна рука в перчатке потянулась к Балави, другая сжимала автомат с опущенным книзу стволом. Балави замер. Потом боком, боком стал по сидению отползать прочь от вооруженного охранника.

Сжав ручку противоположной двери, Балави стал вылезать из машины с другой стороны: занес и опустил на гравийную площадку негнущуюся правую ногу, следом за ней здоровую. С усилием, превозмогая боль, разогнулся и встал, опираясь на металлический костыль. Как сквозь туман, до него доходило, что бен Зеид окликает его, но поднять взгляд было выше его сил.

Когда же мои слова напитаются моею кровью?

Медленной, шаткой походкой Балави двинулся вперед, одновременно нащупывая правой рукой взрыватель.

И когда ты будешь там, уже на грани, джинн шепнет тебе свой самый ужасный вопрос, когда-то написал он.

Кто позаботится о твоих малолетних детях? А о престарелом отце?

Вокруг уже слышались крики, стволы нацелились на него.

В хадисах[1] *утверждается, что тот, кто говорит 'Свидетельствую: нет бога, кроме Бога единого, хвала ему и слава', в тот день защищен будет Господом от сатаны,* — когда-то написал Балави. — *В тот день, когда станет он на путь мученичества, враг Господа не тронет его*".

И вот теперь Балави бормочет себе под нос эти слова по-арабски:

— *Ашхаду Алла илляха илля-Лаху! Свидетельствую: нет бога, кроме Бога.*

1. Хади́с — предание о поступках и изречениях пророка Магомета; хадисы, признанные теологами достоверными, образуют сунну — мусульманское Священное предание, составляющую одну из основ шариата.

Вокруг стоял уже громкий крик — что-то про его руку, но Балави все шел вперед. Слышал лишь собственный голос, который стал отчетливее.

— *Ашхаду Алля иляха илля-Лаху!*

На его пути кто-то встал. Балави поднял взгляд и обнаружил, что с обеих сторон двое мужчин направили на него автоматы. Небритый — тот, что открыл дверцу машины, — что-то крича, обходил его слева, а двое других до зубов вооруженных охранников загораживали дорогу, притискивая к машине и перекрывая путь и вперед, и назад. Один из охранников, блондин, выглядевший моложе других, стоял в полуприседе, словно собираясь на него прыгнуть.

Балави слегка повернулся, нащупал пальцем взрыватель и бросил взгляд поверх крыши автомобиля. Уже без улыбки бен Зеид сделал шаг к нему. Стоявший рядом с ним рослый мужчина, схватив его за плечо, потянул обратно.

Балави закрыл глаза. И сделал еле уловимое движение пальцем.

15. *Мученик*

Афганистан, Хост – 30 декабря 2009 г.

За долю секунды Хумам аль-Балави исчез в невообразимо яркой вспышке. Капсюли-детонаторы вбросили в брикеты "Си-4" пучки энергии, достаточной для воспламенения зарядов, силы которых хватило бы, чтобы порвать не одну стальную балку. Температура в центре взрыва мигом взлетела до четырех с лишним тысяч градусов, и тут же все молекулы устремились вовне, образовав ударную волну, летящую со скоростью четыре с половиной тысячи метров в секунду.

Волна подняла в воздух автомобиль и, будто бетонной стеной, ударила по людям, вышибая барабанные перепонки и сплющивая легкие. Троих охранников, стоявших ближе всех, бросило назад; Дэна Парези, пролетевшего несколько десятков метров, ударило о грузовик. Над базой прогремел громовой раскат и сразу следом треск — это сотни стальных подшипниковых шариков прошибали стекло, металл и плоть.

Самые страшные повреждения тканям человеческого тела нанес стальной град. Те, кто находился в непосредственной близости и на линии прямой видимости от бомбиста — водитель и пять сотрудников: трое контрактников из охраны, Даррен Лабонте и Али бен Зеид, — были убиты на месте. Один-

надцать человек, стоявших по другую сторону "субару", пали, сраженные крошечными стальными шариками, пролетевшими выше и ниже машины, — впрочем, некоторые прошили ее насквозь. Эти шрапнелины в нескольких местах пробили даже железные ворота, до которых было метров шестьдесят.

Ранило всех, хотя тяжесть повреждений была разной. Дженнифер Мэтьюс получила тяжелые ранения, а человек, стоявший рядом с ней, почти не пострадал. Элизабет Хэнсон, на первый взгляд не задетая, вскочила и бросилась бежать по проходу между двумя зданиями, но вскоре упала.

Взрывом встряхнуло здания даже в полумиле, в самом дальнем конце территории, а его гром прокатился по горам, которые только что пересек Балави, и вернулся оттуда эхом. И воцарилась тишина, нарушаемая стуком падающих обломков.

Голова Балави, в момент взрыва взлетевшая вверх, ударилась о стену здания и приземлилась опять на ту же посыпанную гравием площадку. Кроме головы, ни одной узнаваемой части тела от него не осталось.

Одним из свидетелей взрыва стал некий сотрудник медицинской службы ЦРУ, которого пригласили на встречу с Балави, чтобы он посмотрел его ногу и оказал помощь, если будут какие-нибудь жалобы. Сбитый с ног ударной волной, он ненадолго потерял сознание, а очнувшись, обнаружил себя среди обломков и кровавой каши.

Сам раненый, он стал переползать от тела к телу, осматривая раны, щупая пульс и криком призывая помощь. Вскоре он наткнулся на стонущую Дженнифер Мэтьюс, которая лежала в полубессознательном состоянии с зияющими ранами на шее и ноге. Поодаль на земле простерлась Элизабет Хэнсон; из маленькой ранки на ее груди текла кровь.

В считаные секунды подоспела помощь: выскочив из зданий в том же дворе напротив, к раненым бросились служащие армейского спецназа, в котором многие хорошо подготовлены к оказанию помощи на поле боя; услышав взрыв, рванули со всех ног с автоматами и аптечками первой помощи наготове. Картина, которую они увидели, была поистине ужасной. Жертвы были раскиданы по двору и так завалены обломками, что даже на то, чтобы всех обнаружить, ушло несколько минут. Шестеро, включая водителя, были явно мертвы; у многих травмы, в том числе проникающие ранения головы, угрожали жизни. Медик из ЦРУ, пока солдаты накладывали повязки и жгуты, продолжал осматривать тяжелораненых. Если их срочно не прооперировать, пятерым жить осталось не больше часа, заключил он. Среди них были Мэтьюс и Хэнсон.

С расположенного рядом взлетного поля донесся вой запускаемого вертолетного двигателя. В Хосте случайно оказался Ми-17, вертолет русской постройки, принадлежащий Афганской армии; им и воспользовались. Полевой госпиталь мирового класса находился всего в нескольких милях к северу от Хоста, на американской армейской базе, известной как "Салерно", но добраться туда быстро можно было только на вертолете. Как часто прежде служащие ЦРУ вечером провожали глазами специально оборудованные "блэк хоуки", свозившие в "Салерно" раненных в перестрелках бойцов — и американцев, и афганцев, — собранных со всего Восточного Афганистана... На сей раз пополнить число раненых в госпитале придется им самим.

"Ми-семнадцатому" от взлета до базы "Салерно" пять минут. Это им еще повезло, думал медик из ЦРУ, помогая подтаскивать и загружать носилки в вертолет.

Но ведь и это может быть слишком долго!

В полевом госпитале армейской базы "Салерно" смена военврача капитана Джоша Элли подходила к концу, и тут пронесся слух, будто на базе ЦРУ случилось несчастье.

— На базе "Чапмен" прямое попадание реактивной мины, — пробегая по коридору, крикнул один из медиков. — Будем принимать пострадавших. Сколько их — неизвестно.

Элли, военврач-ветеран, успевший послужить в Ираке, вновь надел свое хирургическое облачение и уже мыл руки, когда начали доходить подробности. Согласно первым сообщениям, прямому попаданию мины подвергся спортзал, что сильно огорчило Элли, потому что зал фитнеса базы "Салерно" он посещал почти ежедневно. А по базе "Салерно", как и по соседней базе ЦРУ, тоже частенько постреливали ракетами.

Уже через несколько минут, узнав про бомбиста-смертника, врачи бросились готовить койки в реанимации как минимум на шесть пациентов. Технический персонал приник к окнам, слушая, не застрекочет ли приближающийся вертолет.

Первых раненых доставили в сумерках. Первичный торопливый осмотр и сортировку произвел один из врачей прямо на посадочной площадке, в двух шагах от госпиталя: надо было быстро распределить раненых по степеням тяжести состояния. *Этот – вторая. А этот – третья.* На языке, принятом в полевых госпиталях, "вторая" означает: очень тяжелая, угрожающая жизни рана. А "первая" — "безнадежен", вряд ли выживет.

Двоих ввезли в предоперационную. Доктор Элли начал одного из них опрашивать: мужчина был, хотя и тяжело ранен,

в сознании, — но тут другой врач отозвал хирурга: взгляни, там случай еще более тяжелый.

— В грудь, проникающее! — выкрикнул тот доктор.

Элли кинулся смотреть. На операционном столе лежала девушка, блондинка в красной безрукавке и красных бусах. Лет двадцати пяти или даже меньше, без пульса. К ужасным ранам, с которыми привозили и американских солдат, и простых афганцев, Элли давно привык. За его плечами были сотни часов того, что он называл "работой мясника" — когда приходилось извлекать осколки раздробленных костей из культей оторванных противопехотной миной ног, но такую красивую, молоденькую и, вроде бы, совсем не искалеченную девушку он на своем столе видел впервые. Обнаружив на груди Элизабет Хэнсон отверстие величиной с горошину, Элли решил немедленно оперировать, чтобы выяснить степень внутренних повреждений. Быстро разрезав мышцы и ребра, пальцем нащупал аорту — главную, выходящую из сердца, артерию. Она оказалась пустой и плоской. В отчаянии он стал массировать сердце девушки, а ассистент ввел в грудную полость трубку. Трубка сразу наполнилась ярко-алой кровью — типичный признак массивного внутреннего кровотечения.

Тут доктор мог только руками развести. Один-единственный махонький кусочек металла — меньше шарика для игры в марблс — перебил вены и артерии прямо у сердца, оборвав девушке жизнь.

— Кто-нибудь знает, кто это? — громко спросил доктор Элли. Никто не ответил.

Думать времени не было. Доставили еще одну пациентку, на этот раз женщину постарше в брюках от рабочей формы, всю иссеченную шрапнелью. Как и Хэнсон, Дженнифер Мэтьюс перестала дышать еще во время доставки из Хоста, на борту вертолета, но Элли хотел попытаться ее спасти.

Быстро произвел осмотр. Шрапнелью у женщины вырвало большой кусок шеи. На ноге жгут, ниже которого сорвана кожа и мышцы, так что видна кость. Еще один маленький кусочек металла угодил ей в живот, есть признаки внутреннего кровотечения. Элли прижал женщине к груди ультразвуковой зонд, чтобы посмотреть сердце. Сердце не билось.

Такое он исправить не мог.

Неистовая борьба шла много часов без перерыва. Работая вдвоем с еще одним хирургом, Элли сшивал перебитые сосуды и ткани искромсанных ног. Со всей осторожностью извлек кусок металла, застрявший в мозгу молодого мужчины. Состояние остальных стабилизировали, загрузили их в вертолеты, и через час они были уже в пригороде Кабула, на воен-

но-воздушной базе Баграм, где за них возьмутся уже другие доктора.

Когда разобрались с последним пострадавшим, был поздний вечер. Весь мокрый от пота — в операционной тридцатиградусная жара, да и адреналин, волнение, — Элли вышел на воздух посидеть несколько минут в холодке. Все еще продолжали привозить тела — тех сотрудников ЦРУ, которых взрывом убило на месте. Их отправят в морг базы "Салерно". В числе прочих останков, как ему сказали, привезли и несколько фрагментов тела Хумама аль-Балави — видимо, для анализа ДНК.

Чтобы смягчить пересохшее горло, Элли лизал мороженое. Обычно более девяноста процентов американских военнослужащих, живыми добравшихся до его операционной, в конце концов выздоравливают. Насколько доктор Элли был в курсе событий, тем вечером в Хосте каждый из множества факторов, подвластных человеческому контролю, сработал правильно — от оказанной на месте первой помощи и ожидавшего прямо там же вертолета вплоть до команды первоклассных хирургов всего в пяти минутах лёта от места взрыва. Все было сделано как надо, но и этого оказалось недостаточно.

Врач вновь стал думать о тех двух женщинах, которых ему не удалось спасти. Не военных. Имен он все еще не знал. Кто это — подсобницы? Журналистки? Каждый день приносит в его операционную новую дозу человеческого страдания, доктор Элли к нему притерпелся, привык на этом фоне работать. Но обычно война — драка мужчин с мужчинами. Такое и воспринимается иначе.

На посадку в это время заходили сразу несколько вертолетов. Элли встал и пошел работать.

16. *Павшие*

Виргиния, Лэнгли – 30 декабря 2009 г.

В момент взрыва (по вашингтонскому времени он произошел довольно ранним утром) Майкл Винсент Хейден случайно оказался в Лэнгли: зашел на свое старое место работы. Бывшего директора ЦРУ пригласили произнести политическую речь в Питтсбурге, и он хотел для ее подготовки поднять кое-какие документы. Обычно в промежутке между Рождеством и Новым годом в штаб-квартире ЦРУ тихо, хотя та неделя была далеко не обычной. В канун Рождества чуть не произошло не-

счастье, когда молодой нигериец по имени Умар Фарук Абдулмуталлаб попытался взорвать над Детройтом авиалайнер. Случай этот, как и многие другие в недавнем прошлом, казался совершенно невероятным. Как может умный, высокообразованный юноша из богатой семьи решиться на то, чтобы убить и себя, и пару сотен незнакомых людей бомбой, спрятанной в нижнем белье?

Закончив свои изыскания, Хейден решил зайти к кое-кому из приятелей, бывших соседей по административному этажу. Директора Леона Панетты на месте не было — уехал на Рождественские каникулы, не было и Стива Кэппса, бывшего заместителя Хейдена, и он пошел по коридору дальше, решив навестить Майка Сулика, человека, которого он когда-то выдвинул в руководители Национальной секретной службы. В тот момент из кабинета Сулика как раз вышли двое других менеджеров. На них лица не было.

— Ужас какой, — пробормотал один из них. — Погибло сразу семеро сотрудников!

Они только что оповестили о произошедшем старших сотрудников, находящихся в здании.

Подробности трагедии еще продолжали поступать, а по административному этажу уже распространялось ощущение, похожее на психическую травму, какие бывают после контузии. Не зная, куда себя деть, Хейден направился в свой старый кабинет, где нашел начальника штаба Панетты, Джереми Бэша, который в это время по телефону извещал о случившемся шефа, находившегося в Калифорнии.

В дом Панетты в Монтерее первые сообщения поступили, когда не было и пяти утра — в дверь его спальни постучался кто-то из подразделения охраны. Стучавший сообщил Панетте, что с ним хотела бы поговорить по безопасной линии связи одна из его помощниц.

— У меня ужасная новость, — начала женщина. — В Хосте мы потеряли семерых наших сотрудников.

— Да что там, черт побери, стряслось? — мгновенно проснувшись, вскричал Панетта. Когда до его сознания дошли слова *информант-иорданец* и *бомбист-самоубийца*, общие контуры несчастья прояснились. Двойной агент. Долгожданная встреча. Шанс добраться до Аймана аз-Завахири. Все было подстроено.

Панетта требовал деталей, но в этот час еще мало что было известно. Повесив трубку, он сел и закрыл глаза в надежде, что услышанное окажется дурным сном.

В 1995-м, будучи руководителем аппарата клинтоновского Белого дома, он стоял рядом с президентом, когда разнеслась

весть о том, что взорвано федеральное здание имени судьи Альфреда Марра в Оклахома-сити. В результате той вылазки, предпринятой правыми экстремистами, погибло 168 человек. Но никогда еще не гибли ни мужчины, ни женщины, находящиеся в прямом его подчинении.

Это и впрямь война, подумал он.

Держа Бэша на линии, он принялся звонить другим, рассудив, что, если уж случилось несчастье, весть о нем должна исходить от него. Позвонил Деннису Блэру, директору Национальной разведки, и Роберту М. Гейтсу, министру обороны. Начал было набирать номер вице-президента Джо Байдена...

Но передумал и позвонил президенту.

Барак Обама проводил Рождественские каникулы на Гавайях, но с директором ЦРУ его после небольшой заминки соединили. *Мы потеряли семерых сотрудников*, начал Панетта. *В Хосте.*

"Тот малый, который, как мы думали, должен был вывести нас на Завахири, оказался двойным агентом и подорвал и себя, и наших", – сказал президенту Панетта.

За несколько минут их разговора Панетта вкратце изложил те скудные факты, которые были известны ему самому. Обама слушал сначала безмолвно, потом стал часто прерывать Панетту, добиваясь подробностей. *Я хочу понять, что произошло*, пояснял он.

Поговорили они и о том, что следует делать теперь. Уведомления близким. Панихиды. *Пожалуй, и Белый дом должен принять в этом участие*, сказал Обама, как бы раздумывая вслух. *Близкие погибших должны знать, что мы с ними.*

Пожалуйста, Леон, держите меня в курсе, сказал президент в конце разговора. *Если я чем-то смогу быть полезен...*

В Лэнгли тем временем Бэш упрашивал Хейдена остаться; тот согласился. Понемногу стали всплывать имена погибших, и одно из них поразило Хейдена в самое сердце.

Элизабет Хэнсон.

Перед ним как живое встало ее юное лицо, которое он запомнил с тех пор, когда она на встречах высшего руководства докладывала о том, что новенького в "Аль-Каиде". Да и голос ее так и звучит в ушах – стоит вспомнить ночные звонки из Центра антитеррора, когда ведомство крепко садилось на хвост очередному полевому командиру в Пакистане. Умная была девушка, уверенная в себе, привлекательная – ходячий рекламный плакат "идите к нам служить". Она излучала такой энтузиазм и такую компетентность, что Хейден просто гордился ею, когда служил директором.

Хейден долго сидел в кабинете директора с Бэшем и Суликом — говорили о событиях, говорили о людях, пытались понять, что пошло не так. В конце концов, он с ними распрощался и вышел. Миновал пост охраны, прошел по вестибюлю с его знаменитой пятиметровой печатью ЦРУ, выложенной гранитом по мраморному полу. Прошел мимо мемориала павшим сотрудникам, где десятки гранитных звезд увековечивают память о погибших разведчиках, в том числе тех, чьи имена навсегда останутся засекреченными.

На улице было морозно и пасмурно. Хейден поспешил к своей машине и несколько минут сидел, не трогаясь с парковки. Думал о Хэнсон и остальных, и о тех семьях, где в этот час еще не знают, что́ им предстоит.

Один в машине, на лютом морозе, Майкл Хейден сидел и плакал.

Даже прежде, чем стал известен масштаб потерь, в высших сферах ЦРУ родился план ответных действий ведомства на ближайшие дни. Первой срочной мерой должна была стать полная изоляция Хоста с закрытием самой базы и прекращением всякой связи с внешним миром. До того как связь оборвали, в Соединенные Штаты пробились всего несколько звонков по мобильному. Один из них был от офицера-спецназовца, который видел последствия взрыва и позвонил, чтобы сообщить эту новость приятелю, сотруднику ЦРУ.

“Базу вашу только что грохнули”, — сказал он.

ЦРУ наложило запрет на всякую информацию, пытаясь оградить подробности террористической вылазки от публичного освещения, до тех пор пока картина произошедшего не станет ясна руководству и не начнется уведомление родственников погибших и раненых. Уже через несколько часов интернет гудел от слухов о каком-то большом взрыве на секретной базе ЦРУ, но официальным ответом из Лэнгли было молчание. В штаб-квартире и на опорном пункте ведомства в Аммане перед сотрудниками поставили единственную невеселую задачу: установить, где находятся жены и родители, чтобы можно было им сообщить лично.

30 декабря в ЦРУ не нашлось никого, кто оказался бы в разумной близости к Тоскане, поэтому сотрудникам пункта в Аммане пришлось позвонить Рейчел Лабонте по телефону. Начальник опорного пункта знал: домашние Лабонте в Италии ждут, что Даррен к ним вот-вот присоединится. Но на самом деле его жена уже почувствовала, что в Афганистане случилось нечто ужасное. Под вечер ей начали приходить срочные текстовые сообщения от Фиды, жены Али бен Зеи-

да. Иорданка смотрела телевизор, там передали что-то о каком-то теракте в Афганистане, и она забеспокоилась. В условленное время Али не позвонил, а теперь она никак не может до него дозвониться. Есть ли у Рейчел связь с Дарреном?

Рейчел Лабонте сперва подумала, что это просто неполадки с телефонной связью, но, чтобы обеим успокоиться, набрала номер дежурного по пункту ЦРУ в Аммане. Голос на том конце звучал немного нервно, но ответ в целом был успокоительным. Из Хоста никаких новостей нет, ни плохих, ни хороших, сказали Рейчел.

Через несколько часов, уложив спать дочь Раину, она уже явно почувствовала, как страх раздирает ее тысячей острых когтей. И вдруг стук в дверь. Это оказалась хозяйка, пришедшая сообщить, что кто-то из правительства Соединенных Штатов пытается к ним пробиться. Зазвонил телефон. Это был начальник опорного пункта в Аммане.

— Вы там как, сидите? А ваш свекор с вами? — спрашивал он.

— Говорите, что у вас? Хочу услышать это сама, — потребовала Рейчел.

— Не знаю даже, как вам сказать... — начал тот. — Даррен убит террористом-смертником.

Все еще прижимая к уху телефон, Рейчел упала на колени. Над ней засуетились родители Даррена, задавали какие-то вопросы... Что? Что случилось?

— Даррен все делал правильно, — говорил в это время начальник пункта. — Он погиб как герой. — Затем: — Рейчел, вы еще слушаете?

Рейчел словно погрузилась в туман, такой густой, что казалось, будто происходящее к ней не относится.

— Скажите это Дэйву сами, — тихо проговорила она, передавая телефон свекру, Дэвиду Лабонте. И будто издалека наблюдала за тем, как тот кричит в трубку голосом, срывающимся от ярости и боли.

— Что это значит? — кричал он. — Что вы несете?

Рейчел подняла глаза на свекровь Камиллу, растерянную и испуганную, уже готовую к худшему, но ничего еще не понимающую, и взяла ее за руку, чтобы как можно мягче сказать, что сын ее домой больше не вернется.

В тот же самый час служащие ЦРУ небольшими группками уже садились в самолеты и автомобили, направляясь в маленькие городки Виргинии, Пенсильвании и Иллинойса. Две близкие подруги Элизабет Хэнсон, пробившись сквозь снежную круговерть, уже стучали в дверь дома ее матери в пригороде Чикаго. Кто-то из сослуживцев сидел рядом с Джанет Браун, мужу которой, Гарольду, оставалось каких-нибудь не-

сколько недель до завершения командировки в Хост; кто-то — с Молли Робертсон, беременной на седьмом месяце девочкой, которую они со Скоттом Робертсоном уже решили назвать Пайпер. Четвертая такая группка отправилась разыскивать мужа и детей Дженнифер Мэтьюс на лыжном курорте. Гэри Андерсон вместе с родителями жены, Биллом и Лоис Мэтьюс, нашелся в отеле в Херши, Пенсильвания, где и узнал подробности того, как умерла его жена.

Частное охранное предприятие "Зи-Сервисиз эл-эл-си", более известное как "Блэкуотер", послало своих представителей и в Виргиния-Бич, и в Дюпон, штат Вашингтон, чтобы они встретились с женами охранников Дэна Парези и Джереми Уайза. Дану Уайз посланцы застали в момент, когда она усаживала сына Итана в семейный пикап, собираясь быстренько куда-то съездить. Отослав шестилетнего карапуза в его комнату, она усадила незваных гостей в гостиной. Прежде чем они покинули ее дом, она заставила себя сказать о случившемся сыну.

Итана она родила в предыдущем браке, но Джереми усыновил его и полюбил как родного. Однажды, вернувшись домой после долгого пребывания на войне в Ираке, он решил удивить Итана, неожиданно встретив его из школы. То был самый счастливый день в жизни мальчика.

Теперь, значит, больше не будет таких возвращений. Сама едва сдерживая слезы, Дана Уайз села на кроватку сына, крепко его обняла, и так они довольно долго сидели среди его игрушечных машинок и плюшевых зверей. В конце концов, она справилась с нервами.

— Папочки больше нет, — тихо сказала она.

В тот вечер, когда самолет, на котором Минди Лу Парези с дочерью Сантиной возвращалась после рождественского визита к родителям, приземлился в Сиэтле, они успели получить от Дэна имейл и были совершенно спокойны. Их путешествие не было простым, пришлось стоять в очередях, рейс без конца задерживали, все это их вконец вымотало, так что, едва войдя в дом, они побросали чемоданы и сумки и пошли спать. А в два часа ночи 31 декабря Минди Лу разбудил стук в дверь. Выглянув в окно спальни, она увидела внизу, на крыльце, троих мужчин, одним из которых был полицейский.

— Что-то случилось с Дэном? — крикнула она в окно.

— Да, мэм, случилось.

Впустив мужчин в дом, она выслушала их, но долго не верила в то, что ей говорят. *Да не может этого быть, мне ведь только что – вот, прямо нынче вечером – пришел от него имейл,* твердила она.

Посланцы "Блэкуотера" перепугались, один из них позвонил в компанию — проверить.

Ответ был однозначен. Дэн Парези погиб.

Пройдет еще почти два дня, прежде чем Минди Лу Парези позволит себе заплакать. В то утро она часами металась по квартире, то складывала какие-то простыни, то принималась звонить по телефону. Потом собралась и полетела в Довер, штат Делавэр, чтобы встретить самолет, на котором привезут тела погибших в Афганистане. Из шкафа достала военную форму мужа, ботинки и взяла с собой, упаковав в отдельную сумку. Наверняка Дэн хотел бы, чтобы его похоронили в форме.

В первый день нового года она ехала в аэропорт, по дороге — и в автомобиле, и потом в аэропорту — изо всех сил прижимая к себе сумку с формой Дэна. На посту охраны один из служителей попросил у нее эту сумку, чтобы пропустить через металлоискатель. Сперва она никак не могла заставить себя с ней расстаться. А выпустив в конце концов из рук, неудержимо разрыдалась.

Весть о взрыве достигла Иордании поздним вечером. Сперва о нем узнали в разведслужбе, Мухабарате, а потом и во дворце. Официальный представитель королевского двора позвонил братьям Али бен Зеида и его жене и попросил всех собраться в принадлежащем этой ветви клана доме в Аммане.

Когда все были на месте, к дому подъехала делегация высших правительственных чиновников. В нее входил брат короля принц Али бен аль-Хуссейн, премьер-министр, глава Мухабарата и командующий вооруженными силами Иордании. В 9.30 вечера мрачная процессия приблизилась к двери дома.

Дверь отворилась; несколько минут никто — ни из сановных гостей, ни из членов семьи — не произносил ни слова.

— Все уже знают, — сказал брат Али бен Зеида Хасан.

Халиль аль-Балави, отец бомбиста-смертника, подобного визита не удостоился. Но новогодним утром телефоны зазвонили и в родном доме Балави, и в доме родителей Дефне Балави в Стамбуле. В обоих случаях звонивший говорил по-арабски и не назвал своего имени.

Халилю аль-Балави тон звонившего показался скорее даже радостным. Хумам совершил восхождение к мученичеству, убив при этом в Афганистане семерых сотрудников ЦРУ, сказал он.

— Не надо печалиться, — продолжал тот человек. — По воле Аллаха он теперь в самом средоточии рая.

В момент разговора Халиля аль-Балави окружали домашние, но он никак не мог заставить себя даже единым словом

намекнуть им на смысл сообщения (а может, и сам не мог поверить); рассказал лишь много часов спустя, когда по всей округе уже разнесся слух о том, что это Хумам, тот самый врач, что жил с ними по соседству, устроил взрыв, о котором, как о великом событии, твердит теперь арабский новостной канал "Аль-Джазира". Наперебой стали звонить родственники и друзья дома — одни с соболезнованиями, другие же выражали нечто схожее с поздравлениями.

Халиль аль-Балави по большей части молчал, и настал момент, когда он, извинившись, удалился в спальню, где достал свой дневник, чтобы попробовать привести в порядок мысли, роящиеся в мозгу.

"В начале 2009 года его арестовали и три дня продержали в Мухабарате, — записал старик. — Потом выпустили. Как отец, свидетельствую, что с того дня он разительным образом переменился.

Вот из-за чего, — написал он, — я потерял сына".

17. *Решимость*

Виргиния, Лэнгли – январь 2010

Шейх Саид аль-Масри сразил исполина и бурно радовался.

В одном из своих редких публичных заявлений человек № 3 в "Аль-Каиде" провозгласил этот взрыв "удачно завершившейся эпопеей". А своего агента, убийцу Хумама аль-Балави, возводя в статус звезды, называл "знаменитым писателем и проповедником, <...> прилетевшим к нам из далеких мест моджахедом", которому удалось проникнуть на базу ЦРУ, смертельного врага группировки.

В своем послании, опубликованном на джихадистских сайтах вскоре после самоподрыва смертника, аль-Масри едва ли не в открытую брал на себя ответственность, но прямо этого не говорил, потому что иначе (как отлично понимал старый вояка) только подверг бы себя лишнему риску. Он лишь намекал, что знаком с самыми сокровенными деталями заговора, называя его "образцом терпения, грамотного планирования и мудрого руководства".

"Он привел в действие свое прекрасное, удивительное и великолепно спроектированное взрывное устройство, которое оставалось невидимым для глаз неверующих", говорил аль-Масри. Затем, обращаясь прямо к мертвому бомбисту, он официально объявил, что освобождает Балави от всех сомне-

ний, которые таил на его счет, ибо получил ответ на те вопросы, которые вплоть до самого конца не давали ему покоя.

"По милости Господа, ты победил, о, верующий вместе с Господом Каабы, о, Абу Лейла, Аллах велик! — сказал он. — Ты был правдив и доказал это".

Но реакция аль-Масри была даже сдержанной по сравнению с ликованием главаря талибов Хакимуллы Мехсуда. Лидер когда-то приютившей Балави группировки потрудился заснять иорданца на видео перед его гибелью, так что теперь обладал доказательством своей причастности к столь успешной операции. И доказательство это ему пригодилось: в первые же дни после случившегося конкурирующие с его группировкой банды талибов стали делать попытки присвоить успех себе. Одна такая группа, например, утверждала, что взрыв устроил недовольный американцами афганский солдат.

Хакимулла пришел в такую ярость, что принялся рассылать западным журналистам имейлы, подписываясь настоящим именем.

"Мы заявляем, что ответственность за эту атаку лежит на подразделении ЦРУ в Афганистане", — писал в своих посланиях Хакимулла Мехсуд. Взрыв был "мщением за убийство Байтуллы Мехсуда, а также убийство Абдуллы из 'Аль-Каиды'" — это он явно имел в виду Абдуллу Саида аль-Либи.

Еще тридцатилетний предводитель талибов намекал на прекрасную новую фазу, в которую будто бы вступает племя мехсудов. Вылазка бомбиста-смертника, став самой крупной операцией его группы, проведенной вне района базирования, весьма способствовала усилению влияния лично Хакимуллы Мехсуда. Прежде он был местным джихадистом с весьма ограниченными запросами, но это прежде. Вслед за своим погибшим двоюродным братом он принялся хвастать планами атак на страны Запада, в первую очередь на "Америку, это преступное государство", на которое он возлагал вину за гибель Байтуллы.

— Наши фидаины уже проникли в Америку, страну, сеющую террор, — нагло врал Хакимулла Мехсуд в одном из видеообращений. — Мы нанесем чрезвычайно болезненные удары по самому логову фанатиков".

Впрочем, с подобной риторикой его опередил Балави. Своим актом самопожертвования, сказал он в одном из видеоклипов, снятых за несколько часов до смерти, "я открываю череду операций возмездия против американцев с их беспилотными дронами, причем такие операции будут проводиться далеко за пределами Пакистана".

Иными словами, бойтесь: Хост — это только начало.

4 января в 8.30 старшие менеджеры ЦРУ пришли в директорский кабинет на понедельничное собрание — самое торжественное чуть ли не за все последнее десятилетие. По просьбе Леона Панетты начали с минуты молчания. Высшие начальники Центра антитеррора склонили головы, кто-то молился, другие плакали.

Обычно словоохотливый Панетта выглядел подавленным, от недосыпания под глазами набрякли мешки. Вскоре после собрания ему предстояло отбыть из Лэнгли на базу военно-воздушных сил в Делавэре, невдалеке от Довера, — встречать военно-транспортный самолет, везущий домой тела погибших. И там, в жестокий мороз, выстоять на аэродромном бетоне, пока из самолета один за другим вынесут накрытые флагами гробы. А потом выдержать общение с родственниками погибших в пустом ангаре, где будет краткое поминовение — первое в череде множества такого рода мероприятий, запланированных на следующие несколько дней.

Панетта не знал, на какой точно день намечена встреча с Балави, но был знаком с общим планом развертывания операции и с нетерпением ожидал ее результатов. И теперь на его плечах лежал груз знания имен и лиц каждого из погибших и раненых. Он живо помнил, как встречался с несколькими из них во время инспекционных поездок на базы, где почти всегда созывали общее собрание, на котором рядовые оперативники и аналитики могли задавать вопросы директору ЦРУ. На этих собраниях он испытывал гордость, что руководит такими умными, талантливыми мужчинами и женщинами. Теперь, в частных беседах с близкими друзьями, он признавался, как жестоко мучит его то, что вероломство Балави не удалось распознать вовремя. Панетта перечитал бумаги, содержавшиеся в досье информатора, изучил фотографии красного “субару” с выбитыми взрывом окнами и десятками пробоин от шрапнели. Пытаясь распространять вокруг себя ауру спокойствия, внутренне он был глубоко потрясен. Как же могли они позволить террористу так запросто к ним проскользнуть? — спрашивал он себя вновь и вновь. “Леон чувствовал себя в ответе, — сказал один из менеджеров, друг Панетты, встречавшийся с ним в те первые дни после катастрофы. — Да, собственно, мы все так чувствовали — все, кто знал о намеченной на тот день встрече”.

Но когда Панетта, наконец, предстал перед руководителями отделов и подразделений ЦРУ на их утреннем собрании, его голос был тверд. После минуты молчания он предупредил, что всем предстоит необычайно крепко потрудиться. В должное время будет проведено всеобъемлющее расследова-

ние, сказал он, но сейчас ЦРУ должно направить всю свою энергию на Территорию племен в Северо-Западном Пакистане. Гибель семи сотрудников в один день это исторический рекорд – такого уже двадцать пять лет не случалось, – но ведомство не может позволить врагу даже малейшей передышки. То есть должно быть как раз наоборот, сказал он.

– На войне неминуемо приходится рисковать, но мы ведь семья – мы должны быть единой семьей! – сказал Панетта. – Теперь мы должны еще больше сплотиться, и не только чтобы пережить боль утраты, но сплотиться также и для того, чтобы непременно, обязательно выполнить свое предназначение.

Панетта продолжал говорить, ветераны Управления сидели тихо.

– В прошлом году мы здорово задали им перца, и они теперь пытаются нанести ответный удар, – сказал он. – Но мы должны сохранять за собой инициативу.

И, разумеется, новая инициатива была уже "на подходе".

В канун Нового года, всего через несколько часов после взрыва, принадлежащий ЦРУ одинокий "предатор" нанес первый карающий удар: он уничтожил служивший талибам убежищем дом около города Мир-Али в Северном Вазиристане. Среди четверых погибших был известный в "Талибане" командир по имени Хаджи Омар Хан, близкий союзник клана Мехсудов и ветеран гражданской войны с Советами.

Менее чем через двадцать четыре часа последовал второй удар, уничтоживший в нескольких милях от Мир-Али троих боевиков-талибов вместе с их машиной. Третьим ударом там же, поблизости, 3 января были убиты еще двое боевиков "Талибана".

Но это ЦРУ еще только разминало мышцы.

6 января, через два дня после речи, которую Панетта произнес перед руководством Управления, роботопланы слетелись к тренировочному лагерю в Датта-Хель и кружили там недалеко от дома, где смастерили начиненный взрывчаткой жилет Хумама аль-Балави. Первая волна ракет поразила сложенную из саманных блоков крепость, служившую штабом лагеря. Затем, когда повстанцы засуетились среди развалин в поисках тел, раздался следующий залп. Когда пыль осела, там остались лежать минимум одиннадцать мертвых тел, в том числе двое арабов, в которых пакистанские власти опознали эмиссаров "Аль-Каиды".

8 января последовала еще одна атака (пятая за девять дней); она закончилась уничтожением пятерых талибов, прятавшихся в доме-убежище. На следующий день удар по трени-

ровочному лагерю в деревне подле Мираншаха унес жизни еще четверых. Среди погибших оказался деятель "Аль-Каиды" иорданского происхождения, служивший телохранителем Шейха Саида аль-Масри. Если аль-Масри там и присутствовал, ему удалось ускользнуть.

Так продолжалось и дальше. До 19 января, то есть меньше чем за три недели после взрыва на базе, ЦРУ нанесло одиннадцать отдельных ракетно-бомбовых ударов по узкой полосе между Северным и Южным Вазиристаном; при этом погибло минимум шестьдесят два человека. Дроны как озверели: еще никогда с тех пор, как в 2004 году эскадрильи "предаторов" появились в небе над Пакистаном, они не вели себя так дерзко.

Этот шквал огня был санкционирован на самом верху, то есть в Белом доме. Как объяснили впоследствии высшие чины администрации, еще до взрыва на базе в Хосте все связанные с "Талибаном" цели Управлению были известны и даже распределены по порядку очередности. Но лишь к началу нового года флот имевшихся в распоряжении ЦРУ дронов вырос; новые "орбиты", осенью одобренные президентом Обамой, были задействованы только теперь. И, что еще важнее, ведомству разрешили временно нарушить одно из неписаных правил практики применения беспилотников. До взрыва в Хосте ЦРУ старалось избегать массированных бомбардировок, которые могли бы спровоцировать народные протесты в Пакистане. Теперь же руководители ведомства, как и солидарный с ними президент, были уже не в настроении проявлять сдержанность.

"Взрыв в Хосте привел к тому, что политическая обходительность перестала быть сдерживающим фактором, — сказал один из чиновников администрации Обамы, отвечающих за национальную безопасность, когда обсуждалось, чем США должны ответить на этот взрыв. — Теперь мы сбросили оковы".

Удар, вызвавший наибольшее удовлетворение в Лэнгли, был нанесен 14 января в районе Шактои — это довольно малонаселенная местность между двумя Вазиристанами. Дрон ЦРУ нарезал медленные круги над бывшей медресе, религиозной школой, в которой с некоторых пор устроили себе базу талибы. Осведомители доложили о присутствии в их лагере долговязого, с клочковатой, всегда нечесаной бородой, командира — на их взгляд, довольно высокого ранга. Телефонный перехват подтвердил, что это Хакимулла Мехсуд.

Перед самым рассветом два сильнейших взрыва сровняли и школу, и примыкавшее к ней здание с землей. В числе деся-

ти заснятых дронами тел оказались несколько боевиков-узбеков, о которых было известно, что они служили в личной охране главаря талибов.

Пакистанские средства массовой информации поспешили тут же вбросить новость: Хакимулла Мехсуд, тот самый, кто помог Балави подготовить и осуществить самоубийственную миссию, во время бомбежки находился в усадьбе; скорее всего, он погребен под обломками. Один англоязычный новостной сайт разместил на своей главной странице огромный заголовок: НЕУЖЕЛИ ХАКИМУЛЛА ПОГИБ?

Панетта целыми днями висел на своем безопасном телефоне, отдавая приказы и принимая доклады экипажей "предаторов", тогда как для широкой публики его роль сводилась лишь к тому, чтобы организовать и достойно провести долгие скорбные мероприятия. Вместе со своим заместителем Стивом Кэппсом он посетил больше двадцати похоронных и мемориальных церемоний, начавшихся в Довере и закончившихся четыре с лишним месяца спустя последними похоронами на Арлингтонском национальном кладбище. Он даже съездил в Иорданию, чтобы подбодрить руководителей Мухабарата, и встретился с товарищами Даррена Лабонте по работе на опорном пункте ЦРУ в Аммане, пообещав, что лично проследит, чтобы о его вдове и ребенке позаботились.

Уже в Довере человеческое измерение этой трагедии проявилось во всей полноте. На базу ВВС в Делавэре Панетта прилетел с генералом Джеймсом И. "Конем" Картрайтом, генералом морской пехоты и на тот момент вице-председателем Объединенного комитета начальников штабов. Вместе они встретили гробы; предполагалось, что затем он побеседует с родственниками погибших в специально подготовленных комнатах. Но родителей, детей, жен и мужей оказалось так много, что пришлось разместить всех в более обширном зале в капелле на базе. Когда Панетта прибыл, зал был полон скорбящими. Взрослые стояли группами около стен, дети играли или сидели у родителей на коленях.

"То, как много было людей, меня просто сразило", — вспоминал потом один из помощников Панетты.

Протискиваясь сквозь толпу, Панетта кому-то пожимал руки, кого-то обнимал. Потом он произнес перед собравшимися краткую речь.

"Вы должны понять две вещи, — сказал он. — Мы воздадим должное вашим близким и любимым, как положено, самым достойным образом, и начнем прямо здесь, в Довере. Одно-

временно мы будем продолжать сражаться, потому что они именно этого хотели бы".

В Иордании тем временем другие официальные лица из ЦРУ и Госдепартамента собрались в Аммане для участия в королевских похоронах Али бен Зеида, начавшихся с того, что по красной ковровой дорожке пронесли тело капитана Мухабарата в сопровождении почетного караула из двадцати четырех элитных бойцов в традиционных красных с белым головных платках-куфиях. Похоронную процессию возглавляло подразделение волынщиков, а за гробом шел двоюродный брат бен Зеида, король Абдалла II вместе с королевой Раниёй и их старшим сыном, наследным принцем Хусейном.

В Америке скорбящие семьи собрались для проведения частных церемоний во множестве мест — их география охватывала пространство от тихоокеанского прибрежного Орегона до Рокфорда, Иллинойс, и пригородов Бостона на атлантическом побережье. Чтобы почтить память Джереми Уайза, боевые друзья "морского котика" собрались в военно-морской капелле в Виргиния-Бич, Виргиния, а в честь Гарольда Брауна-младшего двое его старших детей — двенадцатилетний Пол и одиннадцатилетняя Магдалина — сыграли дуэтом на саксофоне и кларнете перед мессой в католической церкви его родного городка Болтона, Массачусетс. Борцы с наркотиками и полицейские-мотоциклисты плакали над гробом Скотта Робертсона в Акроне, Огайо, а в это же самое время в кафедральном соборе Аннаполиса, Мэриленд, один из сослуживцев по ЦРУ Даррена Лабонте поведал собравшимся о храбрости бывшего армейского рейнджера, которого товарищи прозвали Спартанцем. Выступавший сотрудник сравнивал павшего сослуживца с Леонидом, античным воином и царем Спарты, напомнив, как тот, окруженный значительно превосходящими силами персов, в ответ на требование сложить оружие ответил: "Молон лабе!" — "Приди и возьми". Дженнифер Мэтьюс воздавали должное на двух раздельных панихидах — в стенах семейной церкви во Фредериксберге, Виргиния, и в маленькой кирпичной молельне около Гаррисберга, Пенсильвания, куда она девочкой ходила на занятия воскресной школы. Торжественная тишина воцарилась в битком набитой фредериксбергской церкви, когда со своего места поднялась старшая, двенадцатилетняя дочь Мэтьюс и звонким сопрано запела арию из "Отверженных" — мюзикла, который так любила ее мама. *Пусть кто-то погибнет, но кто-то дойдет*, пела она. *Вставай, испытай судьбу!*

Минди Лу Парези во исполнение воли покойного мужа сделала все, чтобы Дэна Парези похоронили на том самом

Уилламеттском кладбище ветеранов в Портленде, около которого он мальчишкой играл в войну. Тело, облаченное в форму "зеленого берета" и ботинки парашютиста (все это Минди Лу привезла с собой на базу ВВС в Довере), она забрала и в цинковом гробу повезла через всю страну. Предполагалось, что панихиду, на которой будут присутствовать только близкие друзья и члены семьи, проведут, не открывая гроба, однако до начала вдова Дэна Парези попросила оставить ее ненадолго наедине с телом мужа. Несколько минут она тихо молилась, потом подошла к гробу и осторожно приоткрыла крышку. Лицо Дэна было окутано кисеей, руки в белых перчатках.

Минди Лу хотелось в точности представить, что пришлось испытать ее мужу, поэтому она собралась с силами и коснулась его израненного тела. Стояла и гладила его закутанное в саван лицо. Пощупала пустые места в перчатках, где должны были быть его пальцы. Провела руками по всей длине мундира, сквозь ткань ощущая торчащие, переломанные кости.

В последний раз поцеловала мужа и закрыла гроб.

5 февраля родственники павших сотрудников и сотни их коллег по ЦРУ собрались в Лэнгли, чтобы отдать последний долг погибшим. На церемонию приехали лучшие из лучших во всем вашингтонском сообществе борцов за национальную безопасность — представители Пентагона, Конгресса и Белого дома; их вез кортеж автомобилей, которому пришлось нелегко: на столицу налетела сильнейшая снежная буря. В отделанном мрамором вестибюле здания ЦРУ родителей, детей, жен и мужей усадили на складные стулья перед помостом, на котором играл струнный ансамбль. На помосте лицом к собравшимся стоял президент Барак Обама и, бок о бок с ним, Панетта и Кэппс.

Президент заговорил первым; один из пассажей его речи был обращен к детям, сидящим в первых рядах.

"Я знаю, все это вам тяжело, но, пожалуйста, помните одно: вашим мамам или папам не всегда легко было покидать дом, — говорил Обама, — но они поехали в чужие края защищать нашу страну. И отдали свою жизнь, чтобы защитить ваши.

Их служба была секретной, но сегодня каждому американцу известно, в чем состояла их миссия, — продолжал он. — Потому что их послужной список виден всем, он вокруг нас повсюду. В нем имена тех экстремистов, которые больше не представляют угрозы нашей стране, потому что эти экстремисты уничтожены. В нем те атаки террористов, которые не произошли, потому что были предотвращены".

Панетта в своей речи обращался главным образом к родственникам убитых сотрудников ЦРУ.

"Мы на фронте, — сказал он. — И будем продолжать биться с врагом".

В Управление уже начали поступать секретные телеграммы с отчетами об успехах в Северном Пакистане, но за последние дни штормовые тучи вновь сгустились: угрожающе зашевелились ячейки "Аль-Каиды" от Восточной Африки до Аравийского полуострова, новые угрозы зазвучали из уст их главарей. Ведомство получило подтверждение, что Хакимулла Мехсуд чудом спасся от покушения на его жизнь и вновь яростно угрожает изыскать способы убивать американцев. Проявился в виде новой аудиозаписи и Усама бен Ладен: он превозносил до небес предпринятую в Рождество попытку взорвать направлявшийся в Детройт пассажирский авиалайнер, обещая, что американцы "не смогут и мечтать о мире и спокойствии". Шейх Саид аль-Масри, лишившийся одного из своих телохранителей, по-прежнему жил где-то в горах Пакистана, слушал над собой стрекотанье "предаторов" и продумывал следующий ход. Война была далеко не окончена.

"Наша решимость непреклонна, — продолжал Панетта, — наша энергия неистощима".

После произнесения речей один из сотрудников ЦРУ запел печальную балладу, и народ мало-помалу начал покидать здание штаб-квартиры. Сгущались сумерки, крупными хлопьями валил снег.

18. *День поминовения*[1]

Виргиния, Арлингтон – 21 мая 2010

Прошло почти пять месяцев, пока, наконец, Элизабет Хэнсон не была похоронена должным образом. Пришлось преодолеть массу препятствий, в том числе и поначалу сопротивление Пентагона: как это гражданских служащих ЦРУ вдруг будут хоронить на самом престижном в стране военном кладбище. Леон Панетта, привыкший, когда ему надо, этаким бульдозером сметать бюрократические препоны, позвонил старому приятелю Роберту Гейтсу, бывшему директору ЦРУ,

1. День памяти павших во всех войнах в большинстве штатов отмечается 30 мая.

при Буше-младшем ставшему министром обороны и оставленному на этом посту Обамой. С его помощью все устроилось: гражданская служащая Хэнсон в соответствии с желанием родственников удостоится чести лежать на Арлингтонском кладбище. Датой погребения (завершающего череду "хостовских" похорон) выбрали 21 мая; как всегда на церемонии будет присутствовать Панетта.

Но когда этот день настал, руководству ведомства было не до церемоний. В то самое утро директор ЦРУ едва успел вернуться домой после срочных двухдневных консультаций с правительственными чиновниками Пакистана в Исламабаде. Вместе с Джеймсом Л. Джонсом, советником по национальной безопасности, Панетта ездил в Исламабад за дополнительной информацией о молодом американце пакистанского происхождения, обвиняемом в том, что 1 мая он пытался взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль прямо на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Подозреваемый, безработный финансовый аналитик Файзал Шахзад[1], сообщил полиции, что обучение взрывному делу он проходил в 2009 году во время посещения афгано-пакистанского пограничья. Чуть погодя всплыло видео, на котором Шахзад обнимает своего пакистанского покровителя Хакимуллу Мехсуда.

Попытка взорвать спрятанную в машине бомбу, к счастью, провалилась, но начальство разведслужбы США было шокировано тем, насколько густо весь этот замысел захватан пальчиками Мехсуда. Каким-нибудь годом раньше Хакимулла Мехсуд был никому неведомым "быком" на подхвате у полуграмотного родоплеменного гангстера, живущего в дальнем горном захолустье Северо-Западного Пакистана. Теперь, выдвинувшись благодаря тому, что его двоюродный брат погиб в результате ракетного обстрела ЦРУ, и став одним из главарей "Талибана", Хакимулла Мехсуд ухитрился поставить под удар жизни американцев в самом сердце крупнейшего города их страны. Не это ли имел в виду Мехсуд, когда предупреждал, что его моджахеды "уже проникли в Америку, страну, сеющую террор". Интересно, сколько еще таких бомбистов сюда направлено... или, может быть, они уже здесь?

Но когда Панетта садился в свой лимузин, чтобы ехать на похороны Хэнсон, его голова была занята кое-чем покрупнее даже таких событий. Все утро ему звонили помощники, сооб-

1. Файзал Шахзад (р. 1979) 7 мая 2009 г., бросив работу в США, уехал в Пакистан, где прошел подготовку в тренировочном лагере террористов; благодаря бдительности прохожих его бомба на Таймс-сквер (1 мая 2010 г.) была обнаружена и обезврежена. Приговорен к пожизненному заключению.

щая подробности того, что может стать открытием исключительной важности. Оказывается, в очередной раз вытащив закинутый в поисках террористов бредень, в нем нашли нечто неожиданное. Картина того, что сейчас обнаружилось на пакистанской Территории племен, пока не совсем прояснилась, но аналитики ведомства полагают, что обнаружен деятель "Аль-Каиды", которого они так долго искали.

Речь шла о Шейхе Саиде аль-Масри, человеке № 3 среди террористов и том самом командире, который курировал атаку Хумама аль-Балави на ЦРУ в Хосте.

Не успев прийти в себя после занявшего всю ночь полета, Панетта мгновенно ожил. Забросал вопросами начальника Центра антитеррора.

Что мы знаем? Как мы его нашли? Насколько вы в этом уверены?

Ответ из Лэнгли: *Недостаточно уверены. Пока.*

Сидя в машине, Панетта думал о том, что́ из всего этого можно извлечь. Шейх Саид аль-Масри — если, конечно, это и вправду он — станет одним из важнейших главарей террористов, когда-либо попадавших на перекрестие прицела ЦРУ. На данный момент это наиболее выдающийся командующий "Аль-Каиды" после разве что Усамы бен Ладена и Аймана аз-Завахири. А если смотреть с практической точки зрения, то он даже более влиятелен.

Когда огромный черный катафалк с гробом Хэнсон въехал на территорию Арлингтонского национального кладбища, роботопланы ЦРУ в ожидании приказа бороздили небо над домом в окрестностях Мираншаха. Надо же, какой удивительный финал у этой поистине ужасной главы в истории ведомства, подумал Панетта.

Но действительно ли это тот самый шейх?

Панетта позвонил в Белый дом, чтобы сообщить новейшую информацию Раму Эмануэлю, главе президентской администрации.

— ...но пока добро не даем, — сказал он в конце разговора.

Прежде чем в Хосте успела рассеяться пыль, начали опрашивать свидетелей. Как такое могло случиться?

Уже через несколько часов после взрыва выжившие сотрудники излагали известные им факты, да и в подразделении прикомандированного к базе спецназа по свежим следам подготовили свой отдельный рапорт. Двойной агент ЦРУ (то есть на самом деле тройной) умудрился проникнуть внутрь безопасной базы ведомства и пронес туда привязанное к телу необычайно мощное взрывное устройство. Сумел подобрать-

ся на расстояние пары десятков метров к группе из шестнадцати сотрудников разведки и только тогда привел устройство в действие. Немедленное вмешательство опытных полевых медиков и хирургов многим спасло жизнь, но десять человек погибли, в том числе бомбист и прошедший обучение в ЦРУ водитель-афганец.

Формулирование более сложных вопросов заняло и времени побольше. Старшие сотрудники Панетты сосредоточились на ключевых решениях и начали распутывать ситуацию шаг за шагом от конца к началу, от Хоста до Кабула и Аммана и, со всей неизбежностью, до Лэнгли. Тем, что Панетта узнавал, он сразу же делился с советниками Белого дома, в том числе с главой администрации Рамом Эмануэлем и советником по национальной безопасности Джеймсом Л. Джонсом. И он, и Стив Кэппс разобрали по косточкам совещания за закрытыми дверями, проводившиеся в комитетах по разведке Сената и Конгресса. Законодатели были настроены сочувственно, да еще их отвлекала катастрофа, чуть было не случившаяся в небе над Детройтом на Рождество, так что парламентских запросов по всей форме можно было не опасаться.

С благословения Белого дома Панетта решил предпринять два собственных расследования. Одним занялась специальная комиссия из ветеранов ЦРУ — сотрудников, имеющих большой опыт в вопросах антитеррора и контрразведки. Второе, не зависимое от первого, проводили два старых вашингтонских аса, известные и уважаемые в разведсообществе люди — бывший посол при ООН Томас Пикеринг и Чарльз И. Аллен, бывший менеджер ЦРУ, который когда-то служил представителем разведки в Департаменте внутренней безопасности страны — на эту должность его назначил Буш-младший во время своего второго срока. Эти две комиссии должны были изучить тысячи секретных телеграмм, докладных записок и сообщений по электронной почте, опросить выживших сотрудников ЦРУ, а также их начальников и сослуживцев из Хоста, Кабула, Исламабада, Аммана и Лэнгли.

Прошел почти год, прежде чем комиссии завершили отчеты. В течение этого срока, основываясь на скудных опубликованных данных, свои суждения высказало множество бывших разведчиков и экспертов по терроризму. Колонки комментаторов, новостные статьи и блоги привлекали особое внимание общественности к двум ощутимым промахам, которые будто бы и привели к катастрофе в Хосте; в то же время указывалось и на более глубокие изъяны главной раз-

ведывательной службы страны. Несколько отставных старших сотрудников ведомства возлагали вину на начальницу базы в Хосте Дженнифер Мэтьюс и, в более широком плане, на менеджеров ЦРУ в Лэнгли, которые одобрили ее назначение на этот фронтовой пост, несмотря на отсутствие у нее опыта службы в зоне военных действий. Другие наблюдатели с этим не соглашались, говоря, что истоком фатально ошибочных решений, принятых в Хосте, послужила все прочнее укореняющаяся в ведомстве боязнь риска. Даже в Ираке и Афганистане, уверяли эти критики, многие сотрудники ЦРУ живут за стенами безопасных крепостей, где пострадать никак невозможно; всю грязную работу по поиску и уничтожению террористических угроз они целиком переваливают на технику и иностранных коллаборантов. Вступив на этот путь, они, естественно, постепенно забывают азбуку работы с агентурой, вплоть до полной утраты проверенных временем навыков оценки и курирования информаторов и двойных агентов.

Не обходили критики и бытующее в ЦРУ пренебрежение законом. Но что именно пошло не так в Хосте тем предновогодним вечером, до конца понять им не удавалось.

Ведомственное расследование событий в Хосте действительно выявило множество нарушений. Комиссия пришла к выводу, что Дженнифер Мэтьюс и ее подчиненные в Хосте (при поддержке чиновников, сидящих в Кабуле и Лэнгли) во время встречи с Балави пренебрегли стандартными процедурами безопасности, вероятно, ослепленные стремлением заручиться благорасположением агента. Предупреждений, которые могли бы насторожить ЦРУ и помочь заподозрить Балави в обмане, наверх не передавали. Отчасти, видимо, потому — решили члены комиссии, — что к источникам подобной информации не было полного доверия. Отдельные озарения не доходили до руководства, поскольку их высказывали в частных имейлах и эсэмэсках, которые не попадали в ведомственный резервуар данных, касающихся Хумама аль-Балави. А при встречах на высшем уровне в Вашингтоне ведомство, хоть и не располагало всем объемом реальных фактов, демонстрировало завышенные ожидания.

Комиссия обнаружила: как Мэтьюс, так и старшие менеджеры в Лэнгли, поверили, что Балави — иорданский агент, на которого можно полагаться. А предостережения, поступавшие от тех, кто знал его лучше других, то есть от Али бен Зеида и Даррена Лабонте, конечно, терялись в свете “неопровержимых” и “очевидных” доказательств, которые сотрудники видели собственными глазами, а именно слов и картинок, ко-

торые Балави передавал по электронной почте из укрывища "Аль-Каиды".

"Все, что они видели и читали, плюс страстное желание добраться до верховных лидеров 'Аль-Каиды', привело к тому, что их главной заботой стало доброе здоровье и безопасность человека, полного решимости стать бомбистом-смертником", — сказал Томас Пикеринг, соруководитель группы, проводившей независимое расследование.

Следственная комиссия ведомства порекомендовала провести существенные реформы, и Панетта их незамедлительно начал внедрять, причем сразу несколько. Были повышены стандарты подготовки и требования к опытности менеджеров, работающих за рубежом, несмотря на выводы следствия о том, что неопытность не была решающим фактором, приведшим к трагедии в Хосте. ЦРУ также ужесточило меры безопасности на зарубежных базах и разработало систему "красных команд", которым предписывалось испытывать средства обороны ведомства, как это делал бы противник; были введены также внутренние проверки для защиты от двойных агентов и шпионов.

Комиссия посчитала, что возлагать вину за несчастье на какого-то одного человека или одно нарушение было бы неправильно. Но отметила, что, так же как это бывало и до атаки террористов 11 сентября, менеджеры на каждом уровне были глухи к предупреждениям и не желали замечать недоработок, которые задним числом кажутся очевидными.

После 11 сентября на вопрос, почему такое множество министерств и правительственных ведомств не сумели сорвать заговор "Аль-Каиды", двухпартийная комиссия пыталась ответить на страницах единого отчета. "Комиссия 9/11" перечислила десятки тактических просчетов ЦРУ, ФБР и других спецслужб, но гораздо большим всеобщим промахом, по ее мнению, была неспособность помыслить о немыслимом.

"Важнейшим нашим недостатком был недостаток воображения", — написано в отчете комиссии 2004 года.

Как минимум одна из корневых причин успеха атаки смертника в Хосте и террористов, ответственных за трагедию 11 сентября (события эти, конечно же, несопоставимы по масштабу), была общая. До 30 декабря 2009 года никто в ЦРУ и помыслить не мог, что осведомитель решится выйти на встречу с кураторами с единственной целью убить и их, и себя. За первые шестьдесят два года существования ЦРУ многочисленные двойные агенты, осведомители и шпионы чего только не вытворяли: поставляли ложную информацию, пре-

давали, мошенничали, крали деньги, пытались "соскочить". Но никто еще себя не взрывал.

Использовав хорошо сфабрикованные свидетельства, Балави встал на путь, который неизбежно должен был закончиться кровью. Были бы в ЦРУ предусмотрительнее, жертв могло быть меньше, но даже самый мудрый, прозорливый и неукоснительно соблюдающий правила менеджер не мог бы удержать две необычайно мощные силы от столкновения в Хосте в промозглых сумерках 30 декабря 2009 года.

Одной был интеллект Хумама аль-Балави, несомого течением между вздыбившимися до небес волнами, — человека, толком не знавшего, чего он хочет, и никогда не являвшегося в точности тем, кем казался.

Другой — жадное стремление уставших от войны разведчиков принять мираж за реальность.

В январе, когда хоронили Дженнифер Мэтьюс и Даррена Лабонте, мраморные надгробия на Арлингтонском кладбище стояли, укрытые толстым снежным одеялом. Теперь же кладбище сверкало многоцветием красных тюльпанов и окутанных бело-розовым пухом кустов кизила[1] на фоне изумрудно-зеленой свежей травы, залитой ярким солнцем. Более трехсот человек, в том числе множество соратников Хэнсон по ЦРУ, в молчании прошествовали между рядами надгробий, чтобы постоять рядом с ее родителями и братом у могилы. Двое, раненные в ноги взрывом в Хосте, были на костылях.

Собрались под огромным дубом, своей кроной осенявшим место, где предстояло упокоиться праху Хэнсон, уложенному в гроб красного дерева с инкрустацией в виде печати ЦРУ. Почетный караул снял с гроба и сложил флаг США, который передали матери Хэнсон.

"Она защищала флаг, теперь флаг будет вечно защищать ее", — сказал военный капеллан.

Когда отзвучали надгробные речи, начальник штаба Панетты Джереми Бэш стоял в задних рядах, нервно поглядывая на свой молчащий сотовый телефон. Ожидание близилось к концу. Подходило время принять решение, на сей раз еще более трудное, чем всегда.

Поблизости от пакистанского города Мираншах два принадлежащих ведомству дрона часами вели наблюдение за од-

1. Кизил официально считается главным деревом штата Виргиния, а его цветок — главным цветком.

ним и тем же сложенным из саманных блоков зданием, ловя каждое движение в округе. Подозревали, что внутри засел Шейх Саид аль-Масри, но уверенности в этом, по правде говоря, не было никакой. Ранней весной цеэрушные наводчики на цель совсем было к нему подобрались, но шейх ускользнул до того, как "предаторы" легли на боевой курс. На этот раз тайный советчик указал Управлению на усадьбу из нескольких зданий в двух-трех милях к северо-западу от Мираншаха. Сотрудники Центра антитеррора вели наблюдение за объектом много дней, пытаясь выяснить, в котором именно доме находится аль-Масри и кто еще делит с ним кров.

В ЦРУ хорошо понимали, что в усадьбе полно мирных жителей: видели, как туда входили, по меньшей мере, две женщины с несколькими детьми. Риск на сей раз был огромен, но и потенциальный выигрыш велик: человек № 3 в "Аль-Каиде"! Так что сейчас или никогда.

Если это действительно он.

Похороны закончились, вестей из Пакистана все не поступало. Панетта засвидетельствовал почтение родственникам Хэнсон, и черный автомобиль директора, выехав с кладбища, направился к северу, прочь от Вашингтона в сторону Балтимора. Панетта ехал на встречу в Агентство национальной безопасности, правительственную службу электронной подслушки, так что охотой на аль-Масри предстояло руководить оттуда.

Едва Панетта успел войти в здание АНБ, как его позвали к одному из телефонов спецсвязи. У руководства Центра антитеррора оказались свежие новости, но не только хорошие.

— Похоже, это и впрямь тот, кто нам нужен, но могут быть побочные потери, — сообщил начальник Центра, имея в виду женщин и детей, по всем признакам присутствующих в здании, за которым наблюдают дроны.

У Панетты упало сердце. Вечно с этим гадом все через пень-колоду! Позвонил в офис Эмануэля. В Белом доме тоже нервничали.

— Решайте сами, — сказали Панетте.

Директор ЦРУ минутку посидел молча, прокручивая в уме события уходящего дня. Потом вновь взялся за телефон, позвонил директору Центра антитеррора.

— Слушайте, мне надо знать, насколько вы уверены, что мишень выбрана верно, — сказал он. — Это крайне важно.

— На восемьдесят процентов, — отозвался директор Центра. — Может, даже на все девяносто, если вопрос в том, кто именно там засел.

Цифры процентов не порадовали Панетту. Но нельзя упустить хороший случай; другого такого Управлению может не представиться никогда.

— Нет, видно, мне от этого не отвертеться, — после долгого молчания проговорил он. — Даю добро.

Повесив трубку, Панетта попытался сосредоточиться на тематике встречи. А ближе к вечеру получил рапорт о запуске ракет и полном разрушении объекта. Затем последовали сообщения о телах, извлекаемых из-под обломков, и тут он с болью и сожалением узнал, что среди убитых две женщины и ребенок. Что же касается судьбы самого аль-Масри, то об этом Пакистан хранил молчание. До конца дня больше никаких сведений не поступало, утром тоже, не было их и на следующий день.

Затем, в День поминовения, сеть подслушки ведомства ухватила первый клочок разговора, в котором прозвучал намек на разительные перемены в высшем эшелоне "Аль-Каиды". Террористическая группировка потеряла одного из лидеров, о чем вскоре предполагала уведомить своих сторонников через один из излюбленных джихадистских сайтов. 21 мая в результате бомбежки убежища террористов неподалеку от Мираншаха погиб Аль-Масри, отвечавший в группировке за тактику.

Панетта тут же схватил телефон и позвонил свому другу Эмануэлю в Белый дом.

— Рам, — сказал он, — мы только что убрали Номер Три.

Местонахождение № 1 (бен Ладена) и № 2 (аз-Завахири) оставалось неизвестным.

Эпилог

1 мая 2011 года то же самое неистовое стремление отомстить за 11 сентября, которое послужило причиной ужасного просчета в Хосте, привело, наконец, к долгожданной победе. Меньше чем через год после подтверждения гибели аль-Масри закончилась и охота на бен Ладена.

Бен Ладен, как удалось выяснить ЦРУ, прятался не среди пыльных горных круч афгано-пакистанского пограничья, а в зеленом и довольно крупном пакистанском городе под названием Абботабад, который примечателен своим мягким климатом, современными торгово-развлекательными комплексами и высококачественным полем для гольфа. Там, в нескольких часах езды на автомобиле от афгано-пакистанской границы, сторонники бен Ладена выстроили для глава-

ря "Аль-Каиды" похожий на крепость особняк, солидным расстоянием защитив его от стрекота цеэрушных беспилотников, а от соседей укрыв за четырехметровыми стенами с колючей проволокой наверху.

Там бен Ладен обосновался в 2005 году с треми из пяти жен и как минимум двумя из восемнадцати детей. В доме не было ни телефона, ни интернета, зато при нем имелся тенистый сад для утренних прогулок; была в доме и просторная лоджия с двухметровым барьером, ограждавшим властителя дум террористов от посторонних взглядов, когда он в уединении принимал солнечные ванны. Из окна его спальни, располагавшейся на третьем этаже, открывался вид на капустные поля, луга с пасущимися коровами и скалистые отроги гор, а спутниковая антенна телевизора поставляла ему ежедневную жвачку из мыльных опер на арабском и новостных программ. В марте 2011-го, на шестой год изоляции в этом укрывище, он тихо справил свой пятьдесят четвертый день рождения — скромный такой стареющий мужчина с сединой в бороде и намечающимся брюшком, когда-то притязавший чуть ли не на власть над миром, а теперь запертый на клочке земли не больше футбольного поля.

И не знающий, что даже это крошечное прибежище скоро исчезнет.

За тысячи миль оттуда, в другом зеленом пригороде, десятки самых разных специалистов почти десять лет собирали по крохам информацию, сопоставляли и изучали ее, пока она не сложилась в гигантское мозаичное панно, дающее возможность найти ответ на одну из самых дразнящих загадок эпохи. Впервые со времен теракта 11 сентября 2001 года ЦРУ стало известно, где искать бен Ладена.

Просеиванием улик занимались сразу на трех континентах. Первые сведения поступили из Пакистана, где органами безопасности были схвачены двое деятелей среднего звена "Аль-Каиды", знакомых с внутренним устройством организации. Тут же обоих отправили в секретную тюрьму ЦРУ в Восточной Европе, где один из них на допросе назвал некое имя. Оно возбудило интерес в Лэнгли: Дженнифер Мэтьюс с коллегами по спецподразделению, занимавшемуся персонально бен Ладеном, связала это имя с имеющимися у них данными. В 2007 году к розыскам присоединился тогдашний директор ЦРУ Майкл В. Хейден; однажды утром старшие советники по антитеррору доложили ему о потенциально важном открытии: имя-то оказалось не чье-нибудь, а доверенного курьера "Аль-Каиды", служившего личным связным между бен Ладеном и внешним миром. Оставалось

только найти этого человека, и он привел бы их к дверям бен Ладена.

"Похоже, мы вышли на финишную прямую", — сказал тогда один из сотрудников, докладывавших Хейдену.

Хейден понимал, что поиски курьера могут занять месяцы или даже годы, но посчитал это открытие достаточно знаменательным, для того чтобы подробно его рассмотреть на одной из регулярных встреч с президентом Джорджем Бушем и его советниками по национальной безопасности. Вообще-то есть и другие зацепки, думал Хейден, но большая часть из них похожа скорее на заявления граждан, встретивших на улице живого Элвиса Пресли, нежели на разведданные. Этот след представляется куда более обещающим, хотя это еще не прорыв, о чем Хейден открыто предупреждал.

"В нашем деле крики 'эврика!' звучат редко, — сказал однажды Хейден. — Просто песочек потихонечку сыплется. В час по чайной ложке".

И впрямь, процесс поисков курьера шел мучительно медленно. Вообще-то этот человек впервые привлек к себе внимание ЦРУ давно, вскоре после событий 11 сентября, когда следствию стало известно о том, что бен Ладен предпочитает слать приказы через личных курьеров, не доверяя ни электронной почте, ни телефону, по которым на него можно выйти с помощью электроники. Пленные афганские боевики говорили о каком-то особо доверенном курьере, молодом пуштунском бизнесмене, известном в кругах "Аль-Каиды" по джихадистской кличке — Абу Ахмед аль-Кувейти. Но ЦРУ понадобилось несколько лет и серия счастливых случайностей — как, например, арест двоих функционеров "Аль-Каиды" в Пакистане в 2004 и 2005-м годах, — прежде чем стало известно его настоящее имя: Шейх Абу Ахмед[1]. Но что толку? Все равно ведь, где искать этого Абу Ахмеда у руководства ЦРУ не было ни малейшего представления.

В 2007 году (у руля тогда был еще Хейден) ЦРУ затратило огромные усилия на поиски загадочного курьера. Агентство национальной безопасности, с его компьютерными сетями и возможностями глобальной подслушки, обшаривало в поисках Абу Ахмеда линии телефонной и интернет-связи. А в Центре антитеррора ЦРУ команда наводчиков на цель во главе с Элизабет Хэнсон по крупинкам выстраивала "профиль" этого человека, тщательно вычитывая протоколы допросов в поис-

1. На самом деле его настоящее имя Ибрагим Саид Ахмед.

ках зацепки, которая могла бы привести к какому-нибудь его родственнику, партнеру по бизнесу или хотя бы указать, из какого города он родом. Поиски продолжались и в конце 2009-го, когда Мэтьюс и Хэнсон, находясь в это время в Хосте, обратили внимание на другой возможный путь проникновения в ближний круг бен Ладена — через иорданского агента Хумама аль-Балави.

Спустя несколько недель, после того как прах Хэнсон упокоился на кладбище, ЦРУ, наконец, вскрыло богатую жилу. В начале лета 2010-го АНБ вело рутинную прослушку телефона некоего пакистанца, подозреваемого в терроризме, и вдруг тот соединился с абонентом по имени Шейх Абу Ахмед! Дальнейшее было делом техники. Через несколько дней стал известен пешаварский адрес этого Абу Ахмеда, а также марка и номер его машины. Затем, в августе, оперативники из службы наружного наблюдения проследовали за ним до его основного жилья — подозрительно огромного укрепленного комплекса в Абботабаде, окруженного высокими стенами с колючей проволокой на столбиках по верху. Многие особенности жилища смотрелись странно, в том числе отсутствие подсоединения к линиям телефона и интернета; еще более странной выглядела склонность хозяина сжигать мусор, вместо того чтобы выставлять его на улицу. По всем признакам в главном трехэтажном здании проживало, по меньшей мере, три семьи, причем главой одной из них был высокий бородатый мужчина, которого — это надо же! — никогда не видели с наружной стороны ворот.

С этого момента ЦРУ со всем вниманием принялось за выяснение личности бородатого.

Всю осень и зиму длилось изучение его обиталища, причем процесс этот шел под непосредственным наблюдением директора ЦРУ Леона Панетты и его ближайших помощников: усадьбу изучали с помощью спутников, изощренной системы подслушки и агентов, действовавших на местности. Не раз камерам Управления удавалось заснять загадочного мужчину, который расхаживал по окруженной стенами территории. Все в нем совпадало с описанием бен Ладена, вот только качественных снимков его лица получить не удавалось.

В марте 2011-го — будто нарочно ко дню рождения бен Ладена[1] — Панетта сделал несколько предварительных сообщений членам Совета по национальной безопасности. Он при-

1. 10 марта 1957 г.

знавал: в том, что обитатель усадьбы в Абботабаде и есть главарь террористов, твердой уверенности пока нет. Сам Панетта оценивал эту вероятность процентов в шестьдесят-восемьдесят, не более.

Ну и что, горячился он, разве этого мало?

"Если все сложить и взвесить, — вспоминал потом Панетта свои слова, которыми он убеждал чиновников Белого дома, — то получится, что большей уверенности у нас не было со времен Тора-Боры! Поэтому совершенно ясно, что мы просто обязаны действовать. — И продолжил: — На мой взгляд, нами достигнута грань, за которой проведение дальнейшей разведки ничего уже не дает".

2 мая в ноль часов с минутами по афганскому времени, теплой влажной ночью, едва освещаемой узким серпиком луны, два необычайным образом модифицированных бесшумных вертолета "Сикорски-MH-60K пэйв хоук"[1] скользнули через границу и направились к Абботабаду. Это было началом операции "Копье Нептуна". Все 160 километров пакистанской территории вертолеты пронеслись одним духом, чуть не цепляя верхушки деревьев и точно следуя за рельефом горных отрогов, чтобы избежать обнаружения пакистанскими радарами. В Америке о полете знали лишь несколько десятков человек, большинство из которых в это время, расположившись вокруг огромного стола в большом конференц-зале под названием "ситуэйшн рум" на первом этаже Белого дома, следили за выполнением операции по видеокартинке на гигантских ТВ мониторах в режиме реального времени. На отдельном экране можно было видеть Панетту, в обязанность которого входило комментировать происходящее из своего командного центра на другом берегу Потомака, в Лэнгли.

Президент Барак Обама в рубашке без галстука и домашней куртке сидел, подавшись вперед и опираясь локтями на колени. Хмурясь, он глядел на экран и почти все время молчал, слушая, как Панетта в который раз разъясняет подробности хода операции и повторяет об ее невероятной опасности. Обама и сам все прекрасно понимал: тремя днями раньше в том же помещении его исчерпывающим образом проинформировали советники по национальной безопасности, предоставив длинный список возможных осложнений,

1. Слово "пэйв" (PAVE) в названии вертолета говорит о наличии на его борту авионики, автоматически задающей точное направление движения (Precision Avionics Vectoring Equipment).

многие из которых могли стать угрожающими. Обаме сказали, что, если просто нанести по дому удар — например, ракетой, пустив ее с "предатора", или бомбой с незаметного для радаров бомбардировщика, — это было бы для американцев много безопаснее. Однако под бомбами почти наверняка погибли бы женщины и дети, в Пакистане поднялась волна протестов, а у граждан Америки не было бы полной уверенности, что намеченный персонаж уничтожен. С другой стороны, вторжение американцев в усадьбу может окончиться большой катастрофой. Военнослужащие США могут быть убиты или захвачены в плен "Аль-Каидой", могут быть втянуты в вооруженное противостояние с местным гражданским населением и, наконец, их могут разбомбить самолеты пакистанских ВВС: в авиации Пакистана знать не знают о секретной вылазке американцев. Кроме того, может выйти так, что американцы, успешно пробившись на территорию усадьбы в Абботабаде, обнаружат там совершенно не того человека — высокого стареющего мужчину, лишь отдаленно похожего на бен Ладена.

Прежде чем решиться испытать судьбу, Обама всю предыдущую ночь думал, взвешивал риски. Нет, все же он пошлет туда спецназ — "морских котиков", хорошо натренированных коммандос, которые обрушатся на бен Ладена, прилетев прямо с базы в Виргиния-Бич, которую когда-то называл своим домом Джереми Уайз.

За продвижением двух "пэйв хоуков" президент и его советники следили в нервном молчании. Около часа ночи, как и было намечено, два вертолета с двумя дюжинами спецназовцев и пилотами на борту с тихим шелестом подлетели к пригородам Абботабада, но тут произошла неприятность. По плану один геликоптер должен был зависнуть над главным зданием, чтобы коммандос по веревкам десантировались на крышу. Однако из-за технического сбоя этот вертолет совершил жесткую посадку на внешнем дворе, ударившись хвостом о бетонную ограду и безнадежно сломав хвостовой пропеллер. Пришлось десантникам из обоих вертолетов карабкаться на стену и спрыгивать с нее во двор, сразу попадая под автоматный огонь. Шум и грохот падения вертолета разбудил одного из телохранителей бен Ладена, жившего на той же территории, и он начал поливать очередями одетые в черное фигуры, в кромешной тьме лезущие через стену.

Оснащенные приборами ночного видения, американцы быстро завалили стрелка, убив и какую-то женщину, попавшую под перекрестный огонь. Еще двоих мужчин убили во время штурма главного здания; в их числе был и тот, который

в комментариях официальных лиц США фигурировал потом, как взрослый сын бен Ладена.

Минуты тикали, а "котики" все еще не видели того, за кем явились. Зачистку территории вели двумя группами, одна из которых принялась методично осматривать каждую комнату на каждом этаже главного здания. С этого момента и, как всем показалось, на долгие часы экраны телевизоров в конференц-зале потухли.

"После того как спецназ вошел на территорию убежища... могу сказать вам только, что тут пошел период времени, примерно двадцать-двадцать пять минут, когда мы, в общем-то, толком не знали, что там происходит, — вспоминал потом Панетта. — А некоторые моменты были очень напряженные!"

Пройдет не один день, прежде чем станут известны все детали кровавой схватки, которая произошла на третьем этаже здания. Продвигаясь медленно, чтобы не нарваться на растяжку, одна из групп "котиков" поднималась по лестнице, преодолевая устроенные на ней нагромождения из беспорядочно наваленных предметов, пока не оказалась у входа в последнюю из трех отдельных жилых квартир. Выбив дверь, двое шедших впереди солдат ворвались в комнату и увидели, что к ним устремилась одетая в темный халат фигура. Один из солдат нажал на спуск, и фигура упала, оказавшись женщиной, раненой в ногу. За ней американцы заметили высокого мужчину с длинной бородой, в которой проглядывала седина. На мужчине были свободные, пакистанского покроя, пижамные штаны и камиз. Мужчина не прятался и не был вооружен, просто стоял, но смотрел вызывающе. Обученный десантник принимает решение за долю секунды. Желания сдаться мужчина не выражает. Вдруг на нем пояс смертника?

Первая пуля угодила бородатому в грудь. Следующая пробила лоб над левой бровью, отколов большую часть лобной кости.

Слушателям в Белом доме и Лэнгли понять что к чему по приглушенным звукам боя было невозможно. Выстрелы стихли, опять потекли минуты, теперь почти беззвучные, а затем из динамиков раздался мужской голос.

"Видео на Джеронимо", — произнес голос, используя заранее оговоренные кодовые слова. Подтверждая, что это бен Ладен.

В считаные минуты "морские котики" уже сидели в вертолетах (вместо разбившегося пригнали третий вертолет), загрузив туда, помимо окровавленного трупа бен Ладена, большое количество захваченных в убежище компьютерных носителей.

Вся наземная часть операции продолжалась сорок минут. В момент, когда геликоптеры пересекли границу, оказавшись в воздушном пространстве Афганистана и вне досягаемости пакистанских перехватчиков, собравшиеся в конференц-зале Белого дома не удержались от рукоплесканий.

— Мы с ним покончили, — резюмировал Обама.

На следующее утро миллионы американцев, проснувшись, узнали о смерти бен Ладена. Панетта все еще сидел в Лэнгли, составляя краткий меморандум, который в этот же день будет доведен до сведения всех сотрудников ЦРУ по всему миру. В основном меморандум содержал поздравления и похвалы всем сотрудникам и сотрудницам Управления, способствовавшим достижению цели, которая не давалась им почти десять лет.

“Сегодня мы избавили мир от самого зловредного террориста нашей эпохи”, — так начиналось уведомление Панетты.

Затем в трагическом ключе Панетта воздавал должное сотрудникам ЦРУ, которым не привелось дожить до того момента, когда их работа принесла плоды.

“Наши герои, погибшие в Хосте, — писал он далее, — по-прежнему с нами, их дух жив в нашей памяти, в этот счастливый миг они радуются вместе с нами”.

Но битва еще не окончена, Панетта это понимал. В “Аль-Каиде” появится новый человек № 1. И почти наверняка будут предприняты ответные вылазки, может быть, даже весьма серьезные. Но не сегодня.

Было благостное майское утро, солнце сияло точно так же, как год назад на Арлингтонском кладбище, и Панетта позволил себе немного расслабиться, насладиться победой. Жизнь на планете стала чуть-чуть безопаснее, по крайней мере на время, а те молчаливые обеты, которые он приносил на могилах восьми американцев и иорданца, теперь исполнены.

“Мы обещали, — написал Панетта в конце, — и сдержали слово”.

Карло Эмилио Гадда

Геннадий Федоров

Инженер слова, прекрасного на сказ и на слух

Блажен, кто самобытен
и твердо на том стоит,
но беда самобытному:
человек — двуногое стадное.

Сандро Пенна

По словам итальянского критика Джанфранко Контини, первым обратившего внимание на самобытность текстов писателя, при написании своих произведений Карло Эмилио Гадда "черпает только из своей жизни". *Познание* и *воздаяние* — два важных момента литературной деятельности этого человека. Постоянное на протяжении всей жизни впитывание, накопление знаний и впечатлений и воздаяние, плата за обиды и обманутые надежды часто находят место в его прозе, пронизанной изощренной комедийностью. Для стиля Гадды характерно удивительное, сравнимое разве с джойсовским, разнообразие нарратива, широкое использование сильно разнящихся между собой диалектов Италии (он первым так свободно использовал диалекты, далекие от родного ломбардского — тосканский, римский, неаполитанский, венецианский, молизанский), профессиональных арго, архаизмов, латинизмов, грецизмов, испанизмов, англицизмов и "гаддизмов". Из авторских "аномалий", не нашедших себе соответствий при переводе на русский, получился бы длинный список. Кроме того, Гадда часто выбирает редкие значения простых, на первый взгляд, слов.

Карло Эмилио Гадда родился в 1893 году в Милане. В этом городе и в местечке Лонгоне, расположенном невдалеке от метрополии, прошли его детство и юность, омраченные постепенным обнищанием семьи. Карло Эмилио ходил в гимназию в обносках и готовил уроки в нетопленом помещении, получая высокие баллы по итальянскому, латыни и математике. Будучи младшеклассником, Гадда записывал в

© Геннадий Федоров, 2013

тетрадку стихи собственного сочинения с рисунками, составившими целый том в четырнадцать линованных страниц, озаглавленный "Рукописная книга для чтения Мулюка". А уже став старшеклассником, он после топографической глазомерной съемки и демаркации границ на местности создал огромную (равную площади отцовского имения) империю, включавшую в себя: Герцогство Сант-Аквила, Графство Санта-Фречча и Княжество Колли Адзурри со своим гербом каждое. На гербе Сант-Аквила коронованный орел несет в клюве книгу, а в когтях — меч, все под девизом: *Justitiam sequamur, nos sequetur victoria! Нас, ищущих справедливости, ждет победа!* Герцогом Сант-Аквила был провозглашен сам Карло Эмилио, графом Санта-Фречча — его брат Энрико, а княгиней Колли Адзурри — старшая сестра Клара. Все было узаконено специальным Трактатом, заключенным 6 августа 1906 года в столице империи городе Партагосе (расположенном под черешней на углу между пустырем и тропой к огороду). Трактат хранился в Государственном архиве Герцогства Сант-Аквила. Клара вспоминала: "...однажды преподаватель итальянского Бутти вызвал меня к доске и заметил: "Ваш братец большой молодец, он будет великим писателем". А между тем "великий писатель" строчил сочинения для обеспеченных однокашников по две лиры за штуку. "Обожаемая мама", "бедная мама" Карло Эмилио была волевой и энергичной, образованной женщиной, преподавательницей истории, географии, итальянского и французского языков, из тех мам (окружающие звали ее il Madro, Мамон), которые "иногда ломают судьбоносное стремление своих детей к слову, такому прекрасному на сказ и на слух слову!" И Мамон не преминула сломить это стремление, принудив сына записаться в Политехнический, поскольку большинство ее родственников имели профессию инженера. Изучение инженерного дела прервала Первая мировая война, которую молодой человек, следуя наставлениям футуристов, принял с энтузиазмом "как единственное средство санации мира". Он надеялся отличиться в боях, хотя бы получить ранение, но этого не случилось. Попав в окружение под Капоретто, молодой лейтенант "подавил в себе желание стрелять и быть убитым", приказал солдатам снять с пулеметов и выбросить бойки и вместе со своей ротой сдался в плен, о чем позже стыдился вспоминать. В момент пленения при нем были: томик Д'Аннунцио, сборник прозы Кардуччи, "Трактат об исчислении" Тодхаммера и "Учебник физики" Мурани. В немецком плену итальянский лейтенант занялся решением неразрешимой задачи о трисекции угла, изучением

немецкого и английского, сочинением виршей, кропанием дневника, опубликованного в 1955 году под названием "Дневник войны и плена". Только вернувшись домой в январе 1919 года, Карло узнает о гибели в апреле 1918 года любимого брата Энрико, авиатора. Капоретто, плен и смерть брата слились для него "в одну волну накатившей дикой агонии".

Склонявшийся к националистическому движению Гадда в 1921 году вступает в фашистскую партию, но через много лет полное разочарование в фашизме приведет к испепеляющему воздаянию — написанному в конце Второй мировой войны, а опубликованному в 1967 году памфлету "Эрос и Приап". Инженерная деятельность в предвоенные годы (с длительными командировками в Аргентину, Бельгию, Германию) часто прерывалась не только из-за нежелания Гадды надолго задерживаться на одном месте, но и по другим причинам, например, в 1924–1925 годах — для подготовки дипломной работы по философии (по учению Лейбница), так и оставшейся незащищенной из-за безденежья. В одном из писем Гадда признается: "Моя работа инженера пока не позволяет мне писать, разве испускать некие фрагменты, подлинные всхлипы духа, занятого разработкой оснащенной вентилями установки для заполнения баллонов аммиаком, этим удушающим газом". Однако в 1926 году в журнале "Солярия" был опубликован его сборник "Несовершенных этюдов", позже вошедших в первую книгу рассказов "Мадонна философов", затем в 1927 году — "Апология Мандзони". Вошедшие в "Этюды" краткие зарисовки и философемы станут дебютным опытом, который позже получит свое развитие в "Первой книге басен", сложного и поэтому поздно обретшего признание сборника. Хотя сам автор называл этюды "заготовками" для крупных произведений. В 1935 году книга эссе Гадды "Замок Удине" удостаивается премии Багутта. В эти же годы им написана серьезная философская работа "Миланские размышления", изданная посмертно. В 1936 году инженер-фантазер, как он сам себя назвал в одном из писем, берется за написание романа "Познание страдания", вышедшего в семи номерах журнала "Литература".

С началом Второй мировой войны Гадда окончательно оставляет инженерную стезю и переезжает во Флоренцию "подучить язык (тосканский) и порыться в библиотеках (богатейших)". В этом городе существовало литературное сообщество, в которое входили Монтале, Ландольфи, Витторини, Разаи, Траверсо, собиравшиеся в кафе "Красные куртки", куда охотно захаживал и Гадда. Вот что говорит о нем Эудже-

нио Монтале в одном интервью: "...Ему очень нравилось жить во Флоренции. Он быстро обзавелся друзьями и знакомыми, хотя было неизвестно, приняли ли мы в свое общество чудовище или нечто иное. Однако уже тогда было ясно, что он весьма значительный, или долженствующий стать таковым, писатель, нет, в действительности он уже тогда был таковым, да, был, не знаю, до какой степени он сам сознавал это, поскольку не любил, когда его хвалили". На берегу Арно были прожиты полные лишений годы войны. Здесь же были написаны сборник миланских зарисовок "Адальджиза" и главный роман – "Такая грязная катавасища на виа Мерулана", увидевший свет в пяти номерах журнала "Литература" за 1946 год.

Через несколько лет после окончания войны совершенно обнищавший, наделавший массу мелких долгов Гадда был приглашен на работу в Третью программу Итальянского радио, ведавшую вопросами культуры. В декабре того же года он принимает участие в литературном конкурсе на морскую тематику и получает премию Таранто за рассказ "Первая флотилия в ночном деле". За время работы на радио Гадда создал серию исторических зарисовок о французских королях (от Людовика XIII до Людовика XV включительно), которая позже вышла отдельной книжкой под заглавием "Людовики Франции". В 1953 году его сборник рассказов "Новеллы из объятого пламенем Герцогства" удостаивается премии Виареджо.

В 1955 году Гадда оставляет службу на Итальянском радио и берется за радикальную переделку романа "Такая грязная катавасища на виа Мерулана", который в 1957 году после восемнадцати лет работы, вышел отдельной книжкой в издательстве Ливио Гардзанти. "Катавасища" не удостоилась премии Мардзотто, и ожесточенно поддерживавший этот шедевр критик Эмилио Чекки рьяно ринулся на поиски средств на создание новой премии, пусть разовой, для вручения только в текущем году, чтобы отметить величайший итальянский роман послевоенного периода, а может и всего XX века. В вечер присуждения Премии издателей в Гранд-Отеле собрался весь литературный Рим. Поблагодарив читателей и "милых читательниц", лауреат немного рассказал о себе, о "неторопливости" и "нерешительности" своей литературной судьбы. А вокруг – болтовня, сплетни и домыслы, что-де слишком уж экстравагантным стало повторное открытие Гадды и чрезмерно высокой оценка его творчества, что "Катавасища" – это "загнивающая филология", ущербный роман писателя "без размаха". Почти никто книги не

раскрывал, большинство, похоже, даже бахвалилось этим, а все обидное и мелкое, что можно было саркастически или самодовольно сказать о ней, было сказано, и довольно многословно.

Полицейский роман "Такая грязная катавасища на виа Мерулана" имел оглушительный успех у публики и критики. Изложенная на бумаге фабула романа займет едва страницу текста; подавляющую часть этого детектива составляют "уходы" от сюжетной линии в виде едко сатирических эссе на самые разные темы, а то и просто забавных бытовых зарисовок. Автор часто меняет стиль повествования, которое начинается с неторопливого, в духе Мандзони, представления персонажей и статистов и описания атмосферы и места действия романа с постепенным нагнетанием напряжения, не ослабевающего до самого финала, когда история обрывается несколько неожиданно для неискушенного читателя.

В течение следующих нескольких лет вышли все, или почти все, произведения Гадды, включая старые вещи, часто коренным образом переработанные или дополненные, — литературные откровения, которые трудно втиснуть в жанровые рамки романа, рассказа или эссе. Издатели были готовы публиковать все, когда-либо вышедшее из-под пера Гадды, вплоть до собрания многочисленных долговых расписок или любовных записок, в общем-то несуществующих по причине пожизненного одиночества их автора. Успех повторных публикаций не заставил себя ждать, и Гадда был признан крупнейшим мастером прозы XX века даже самыми неистовыми сторонниками авангарда. Созданная писателями-новаторами "Группа-63", по словам входившего в нее Умберто Эко, не случайно выбрала своим "верховным божеством" не кого-то из дадаистов или футуристов, а именно Гадду.

А вот что говорит о литературном творчестве сам Гадда: "Мои естественные стремления, мое детство и мечты, мои надежды и разочарования принадлежали или еще принадлежат романтику, но романтику, которому досталось-таки на орехи от судьбы, то есть от реальности. Очевидно, что я требовал и требую от романа, от драмы и даже от хроники или "воспоминаний" того максимума очаровательной таинственности или пристрастного описания обычаев и душ, который только и может помочь мне упорно продвигаться в чтении вперед. <...> Если вы скажете мне, что автоматная очередь — это реальность, хорошо, соглашусь, но я требую от романа, чтобы за этими двумястами граммами свинца было трагическое напряжение, работающая последовательность, тайна, рациональность или иррациональность факта... Сам по себе факт, сам

по себе объект — это не что иное, как мертвое тело реальности, фекальный осадок истории...”[1]

Альберто Моравиа тоже оставил нам свою оценку творчества К. Э. Гадды: “...Он был писателем с острым, хоть и тревожным чувством комедийного. Очень редкое качество. <...> Хочу сказать одну вещь: хороших серьезных романов насчитываются сотни. Хорошие комичные романы можно пересчитать по пальцам. Это значит, что писать комические вещи очень трудно. А Гадда комичен везде. Даже в такой жестокой книге, как ‘Познание страдания’. Кроме того, у него большие писательские способности. По-моему, единственный недостаток Гадды — это то, что он часто уходит от темы. А может, это и не недостаток. Достаточно вспомнить постоянные ‘уходы’ Лоренса Стерна в его ‘Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джентльмена’”[2].

Карло Эмилио Гадда умер в 1973 году. Он погребен на Некатолическом кладбище (Cimitero acattolico) Вечного города. В его рассказе “Путешествия Гулливера, то бишь Гаддуса” имеется набросок для собственной эпитафии:

Не ужился с живущими
на этих блаженных холмах
маркиз Благородной Нелепости.

Благосклонному взгляду читателя предлагаются несколько рассказов из раннего (“Несовершенные этюды” и “Маневры полевой артиллерии” из сборника “Мадонна философов”, 1931) и среднего (“Пожар на виа Кеплер” из сборника “Рассудительные соития”, 1940) периода творчества Гадды.

1. Из эссе К. Э. Гадды “Одно суждение о неореализме” (в книге I viaggi la morte. — Milano: Garzanti Libri, 2001).
2. A. Moravia, A. Elkann. Vita di Moravia. — Milano: Bompiani, 2000.

Карло Эмилио Гадда

Рассказы

Перевод с итальянского Г. Федорова

Несовершенные этюды

I. Огородник из Рапалло

НЕОПИСУЕМЫЙ зеленщик прервал свои вопли и посмотрел на меня заспанными глазами: встал он рано, как водится.

Что мне полагалось учесть.

В губах потухшая сигарета, висящая в уголке рта в положении, называемом бовизанским[1], которое мне очень по душе, над узким лбом — прядь крепких густых волос. На шее завязанный узлом платок, обнаженные загорелые предплечья, выцветшая красная майка, под которой выделялся рельефный торс.

Развалившись, он сидел за своим прилавком и смотрел на меня снизу вверх, как смотрят на никчемное, не представляющее интереса создание; покупать тыквочки я был не готов.

Нос крючком, обожженное солнцем лицо, цветущее здоровье. И все более насупленный вид.

Неожиданно он заорал снова, мол, его тыквочки не для каждого, только знатоки могут оценить их, а дилетантам этого не дано. И добавил несколько фраз снисходительного презрения в адрес всяких неверующих.

Эти его рассуждения на лигурийском диалекте, произнесенные скорее слитными дифтонгами современного диалекта дорического[2], содержали мощную и даровитую синтаксическую основу. И я понял, что в сравнении с ним многие ораторы и публичные проповедники — жалкие неумехи.

© Garzanti Libri s.p.a., 2001, Milano
© Garzanti Libri s.p.a., 2002, Milano
© Г. Федоров. Перевод, 2013

1. Бовизанский — от названия рабочего (теперь студенческого) квартала Милана Бовиза ("bove" — "бык"), когда-то это место было пастбищем. (*Здесь и далее, за исключением оговоренных случаев, – прим. перев.*)

2. Дорический диалект — греческий диалект Древней Спарты, в наши дни на нем говорят в некоторых местах на Сицилии.

II. М*олитва*

Я много думал о вас, бедные мертвые, хотя и должен был заниматься канцелярской работой и к тому же был не совсем хорош здоровьем.

Поскольку в любом деле требуется прилежание, мне не оставалось ничего другого, как продолжать работу, так что я уже не мог посвящать вам той великой скорби, которая казалась мне основой и смыслом жизни.

Собравшись с самыми чистыми мыслями, хотел бы сочинить молитву, обращенную к тому, Кто предопределяет всё, чтобы принесла она вам беспредельное утешение. Но поскольку вы живете в ярком свете, а я прозябаю в тени, мне совершенно ясно: конечно, невозможно, чтобы моя серость была как-то полезна вашему сиянию. К тому же, возможно, мой голос и не звучит и не может быть услышан.

Что делать? Когда иду, мне кажется, я не должен этого делать. Когда говорю, мне кажется, богохульствую; когда полдневной порой всякое растение упивается горячим светом, я чувствую: вина и стыд — на мне.

Простите меня!

Я старался подражать вам и следовать за вами, но был отвергнут. Определенно, я допустил серьезные ошибки, и поэтому мне было не дано записаться в ваш Легион.

Это обескуражило меня. Но я думаю о вас, други мои, мертвые.

Вон далекие, угрюмые горы, а над горами и лесами встают облака в виде мечтаний или дум.

III. В*ечная истина*

КРУПНЫЙ муравей, он постоянно ходит и ходит, заходит в свое хранилище и выходит из него, постоянно думая о работе, зажав между двумя тонкими нервными лапками огромную соринку: это наш труженик-крестьянин движется от хозяйственных построек к дому.

Достает вязанку хвороста, кладет ее на кучу, потом выходит из дому с ведром и выливает его, вот он уже с инструментом снова в поле, потом возвращается с корзиной и ставит ее. Потом должен молотить, потом должен плести.

Потом должен жать, потом должен поливать; потом вязать, потом расстилать, потом собирать в копны. Потом ворошить, потом черпать, потом замешивать: потом вместе с той болтушкой отнести также и корм для птицы; потом доить, потом закрыть, потом перенести.

И он носит и переносит, так проходит его день.

Звуки дня пролетают своей чередой и повторяются, будто в комедии.

Он их даже не слышит.

Голоса дня отпели свои страдания. Больше нет ничего.

Только пот и одиночество.

Лишь колокольный звон ритуально отмечает свой час. Он летит от старой башни, как давняя мысль о вечности.

Когда тень касается серых веж, значит, над постройками склоняется ночь. А когда в скопище дел ничего не видно, приходится делать перерыв.

IV. *Скорый поезд в* Центральной *Италии*

В домиках обходчика дети: с чубчиком и лентой, и со сверкающими глазами, не по размеру трусы, они длиннее юбчонки, мама предвидит быстрый рост на хлебе и фасоли. Сегодня трусы еще слишком длинны, завтра уже коротки.

Мост над рекой, от реки канал. Зеленый канал, похоже, остановился по таинственной команде и стал готовым большим бассейном.

Двигая утомленными шатунами (видимыми на повороте), локомотив въезжает на виадук, пролетает над одинокой электростанцией. Во мраке глубокой долины ее не замечает никто: ни остроумные дипломаты, ни дамы. В тени тех кустарников живет только пара глаз, зловещих топазов: это волчица, пришедшая из ночи покормить своим молоком человеческих детенышей; а упрямые генераторы всё тянут свою невидимую ношу, потоки вод с напряжением вращают *роторы* в вековечном торможении поля.

Одинокие гиганты с распахнутыми руками переваливают через жалкие горы, поддерживая странные ожерелья и основу из проводов.

А там целлюлозные заводы, хлопчатобумажные фабрики и прочие предприятия. Но они не видны, и бесполезно описывать их.

V. *Старая базилика*

КАВАЛЕР Ло Йодиче, старший бригадир Ди Маттео и еще два агента отдела расследований уже пять дней неумолимо преследовали его.

Из бара в бар, из квартала в квартал, из этого мира в иной! Украденный у пьяного приятеля еще в Америке револьвер продан, а проглоченный два дня назад ужин был последним.

Истощенный, он притащился к этой каменной скамье: старые газеты, шнурки, коробки серных спичек, а торговца нет. Вдоль цоколя здания запах застарелой мочи, мечта любой собаки.

Тоска по далеким, пропащим вещам охватила его: вспомнилась мать.

Перед ним площадь, портик, церковь. Старая базилика погружена своими пилястрами в аллювиальный покров, который пескоструйная река Тичино и строительные подсобники устроили с согласия Пенинских пещер. Между грозными тучами — склоны горы Монтероза.

Она погружает свои пилястры в добротный покров, под которым покоятся останки живших на этой земле поколений, прошедших свой путь от жаркого первородного праха, от смут Дезио и Парабьяго[1] до мрака земного.

А квадратная башня лишена красот и ждет леденящих туманов. Уже холодно деревьям, а колокола предлагают меланхоличные размышления.

Красота! Капители коринфского и смешанного стиля, тимпаны, орнаменты в виде рыцарских доспехов, в виде бычьих голов, светлые сверкающие мраморы!

Почему не любуются такими бесценными орнаментами в краю ломбардском? Арка из кирпича груба на квадратном пилястре. Родовой знак — это крест, который принимал в свой лагерь восставших против величия Империи, или змея, которая выворачивается из сердец человеков.

Есть города в других краях, где деревянные церкви крыты листами волнистого цинка, как портовые склады, а между *docks, посадочными платформами,* под цинковой крышей извиваются черные скорые поезда.

В тяжелых багажных вагонах они везут штабели параллелепипедов с массивными накладками. Склоняясь над столиками, с центрального прохода обеденного вагона старший официант в белоснежно-белом безупречно обслуживает застывших едоков, в то время как все подрагивает и покачивается на переводных стрелках. Виртуозный эквилибрист!

1. Смутное для Ломбардии время закончилось битвой при Дезио (1277) между сторонниками рода Висконти и рода Торриани. Свое владычество Висконти отстояли в сражении при Парабьяго (1339), нанеся поражение Таддео Пеполи, синьору Болоньи.

Мотки спутанных спагетти аккуратно выкладываются на тарелку каждого, затем следует второе под помидором.

Потом поезда останавливаются под храмовыми сводами, которые знающие инженеры рассчитали, применяя теоремы Кастильяно и Максвелла. В обширные атриумы вокзала вливаются толпы людей: удивительные дамы, солидные мужчины от промышленности и от транспорта и обычные проезжие.

Он снова вспомнил свою мать.

VI. *Смерть* Пука

В его глазу читалось: “Кант прав”. Двугранные углы и призмы, свет, и тени, и цвета исчезали: так называемые мушки оставили всякий страх.

А как злобно и ловко он умел ловить их на лету! А потом чихал.

Теперь он умирал, то есть понимал, что злость, призмы, подозрительный шум, и сам свет, и все остальное было ничем иным, как пустым перечнем.

Он верно служил. Какому делу? Что за вопрос!.. За какую награду?.. При чем здесь это, при чем!

Еще была басня о сытно кормленной собаке, которая столкнулась с благородной саркастичной проповедью тощего пса.

Но то была глупость.

Он проявил смелость, веселость, набожность, отдал жизнь: все это, не по его вине, вызывало в нем поразительный аппетит. Царем природы эта настоятельная потребность оплачивалась ломтями хлеба: заглатывая их на лету, он избегал зла. Еще он ублажал себя, на свой страх и риск таская котлеты.

Когда он кровожадно сидел в засаде, ему никогда не приходило в голову, что на свете существуют сочинители басен.

Пук (такой усталый!) все-таки смог подвести итог: добрая воля, вот что всегда вдохновляло его!

Теперь он умирал, то есть для него теряло значение все, приобретенное со времени появления на свет и становления.

Другие будут заниматься разными делами, для них текущими, истолковывая явления согласно банальным схемам.

VII. *Лигурийское сновидение*

ВОЙДИ в церковь, там замкнутый, внятный, чуть отдающий плесенью запах генуэзских благородных старых и толстых стен и сводов под торжественной хо-

лодной лепниной, чье барокко с трудом выгнул изысканный и жесткий шестнадцатый век. Нелегко согнуть того, кто тверд.

Среди той лепнины могли бы находиться достойно обрамленные Строцци, Маньяско и могучий Феррари.

То был свежий запах замкнутого благородства семнадцатого века, толстые стены, недостижимо высокие окна, по ту сторону от которых душа могла бы наполниться кобальтом, индиго, специями, далекими морями.

Там снуют арабские пираты, а в ослепляющем блеске стоит стража пизанских башен.

Никого не видно, сзади узкие окна вглядываются в густой и таинственный полдень: не собирается ли буря и не виднеется ли стая малых галер захвата?

Ларцы с драгоценными каменьями и богатейшими одеждами: на гнусных лицах варваров — слоновая кость зубов, обнаженных жестокостью. Блеск сверкающих кинжалов.

Но предусмотрительность мудрых адмиралов сделает море свободным. Нужно, чтобы к их решениям прислушались в зале совета и чтобы каждое было занесено в регистр; и вот поднимаются прочные стены, чтобы порыв неистовых людей достиг зелени реки Польчевера. Эту задачу возложить на Алессио, посоветоваться со старым Филаретом, послать за остальными, да, за Строцци, Маньяско и за могучим Феррари.

Лазурное море в золотых чешуйках глухо рычало на огромные куски пробки, которое оно рустовало о скалы. Оливы и пинии давали редкую освежающую тень на крутом бугорке, который дальше заканчивался обрывом. А в верхних ветках ветер вздымал воспоминания, нежность, надежды — радостный шум!

На окружающей маяк террасе дивно красивая женщина щедро шлепала своего малыша, возможно шестого; вместо того чтобы плакать, тот смеялся, потом кричал, болтая пухлыми сильными ногами, как бы плывя.

Там тропа с парапетом, тропа англичан, некоторые были поэтами и хотели, чтобы их сновидения вбирали весь свет этого моря.

Однако гораздо чаще случается так, что они посвящают себя незаконной торговле.

Просперо, законный Герцог Милана, вдохновитель бурь, это море окружает светящийся остров, где улыбается твоя нежная дочь.

На море в это время ни одного корабля, даже английского.

VIII. Б*ортовой журнал*

АТЛАНТИЧЕСКИЙ океан.
Пятница, 8 декабря 1922. 10 час. 30 мин.
Борт "Принцессы Мафальды".

Когда лодка, на которую в сопровождении Пьеро поднялась Клара, больше не могла следовать за нами и растаяла в районе порта, я оставил кормовую палубу, спрятал мой платок с зеленым рисунком и медленно направился в отсек своего класса. Был второй час пополудни: 30 ноября 1922 года, четверг. В салоне уже сервировали обед. Я спросил у maître, где мне сесть. Он указал на стоявший справа у застекленной стены столик, за которым сидели двое. Я занял свое место, сев спиной к носу. А пока стюарды неслышными на ковре шагами сновали мимо да позванивали столовые приборы, я просмотрел картонное *меню*. Уже прошло то первое впечатление стесненности и отвращения, охватившее меня при виде моей кельи, когда я уселся между стоявшими Кларой и Луиджи. Застекление, серебряная посуда, ковры, стюарды в перчатках и вид светлой улыбающейся Ривьеры (все напомнило мне совершенную в прошлом году поездку из Генуи в Рапалло на судне "Бон вояж") в такие моменты отгоняют неприятные мысли, недавнюю тревогу от разлуки с мамой, с Кларой.

Все говорит мне: насыщайся и радуйся! Тем временем четвертый сотрапезник сел за наш стол: он молод, лыс, невысок и ест молча.

А двое других ведут оживленную беседу, один — немолодой испанец, элегантный и бодрый, он сойдет в Барселоне, второй — синьор с бритой головой, непонятно, аргентинец или итальянец.

Резкий и точный, улыбчивый и румяный испанец в белоснежной сорочке энергично толкует о том о сем, при случае хвастает мудрым испанским нейтралитетом, сравнивая его с постоянным итальянским вмешательством, источником невообразимых бед, среди которых порицаемая всеми девальвация лиры.

Бритый синьор одобряет, хоть и без энтузиазма.

Затем испанец говорит о своих путешествиях, об ожидающих его друзьях, рассыпается в похвалах Сан-Ремо — очаровательному городу, улыбке Италии, затем вспоминает другие поездки, друзей и массу прочего. Я нахожу его умным и симпатичным, умеющим радоваться этой жизни человеком и завидую его заметной обеспеченности, которая позволяет ему быть умнее меня.

Стюарды разносят последние блюда, затем фрукты, они молчаливы, проворны и сосредоточены на подаче яств и уборке посуды. За стеклом наполненная солнцем Лигурия. Усталый, я разглядываю картонку с выпуклыми золотыми литерами N. G. I. (Итальянская судоходная компания), с красным заголовком *Пароход "Принцесса Мафальда"*; названия блюд, включая консоме, написаны по-итальянски. Золотой орнамент меня отвлек, отвлек гобелен на большом квадрате стены, он хорош, виден вкус. Поскольку гобелен прямоугольный, оба боковых, остающихся свободными по́ля затянуты зеленой камчатой тканью с цветами. Зеленое поле по бокам, фигуры рыцарей в центре, красивая деревянная рама, цветы, на столах настольные лампы, мягкий зеленовато-голубой ковер, серебро и хрусталь — это то, что странствует со мной по благородному Средиземноморью. Остаются скалы, и сады, и маяки.

Остаются картины, дворцы, бакалейные лавки. А также и горы, те, что еще видны, и те, что уже исчезли.

Пожар на виа Кеплер

О пожаре в доме № 14 плели разные небылицы и нелепицы. А в действительности дело обстояло так, что даже сам Его Превосходительство Филипп Томмазо Маринетти не смог бы одномоментно и синхронно объять всего случившегося за три минуты в том воющем схроне-клоповнике, как это удалось сделать пламени, мигом выгнавшему полуголыми в августовскую жару всех обитавших в нем женщин и их совокупную поросль, а еще разных мужчин, а еще нескольких бедных синьор — а если обозначить особо, то одну с плохими ногами, — костлявых, бледных, расхристанных женщин в кружевных нижних юбках, белых, а не строгих черных, какие надевают в церковь, а еще нескольких синьоров тоже в латаных одежках, а еще Анакарси Ротунно, итало-американского поэта, да еще домработницу агонизирующего гарибальдийца с шестого этажа, да еще Акилле с девочкой и попугаем, да еще синьора Балосси в исподнем, держащего на руках синьору Карпиони, то есть нет, оговорился, Мальдифасси, которая выглядела и верещала, как если бы бес ощипывал ее сзади. И, наконец, среди непрерывных криков, воя, детского скулежа, воплей, отчаянных призывов, и вынужденных приземлений, и узлов со скарбом, выброшенных для спасения из окон, когда уже доносился звук мчащих во весь дух пожарных, а две машины уже опорожнялись тремя дюжинами муниципальных

полицейских в белых мундирах, уже подкатывал автофургон Зеленого креста, когда из двух окон правой стороны четвертого этажа, а чуть позже из окон пятого, пламя смогло, наконец, выплеснуть снопы искр, пугающих, но таких долгожданных! — а языки пламени, ползучие и красные, внезапно и резко полыхнули и стали мгновенно возникать и пропадать в черных завитках дыма, смолистого и жирного, как от адового жаркого; дым похотливо вздымался из окон округлыми клубами, отпочковывая все новые и новые клубы, извивался канатными стренгами, как черный питон, под зловещие вспышки выползающий из преисподней, из подземелья; огненные бабочки, может, из горящей бумаги, а скорее из ткани или дерматина, порхали по всему затянутому гарью небу, вновь ужасая растрепанных женщин, стоящих босыми ногами в пыли недомощенной улицы, а кто — домашними тапочками в лошадиной моче и дерьме (плевать!) под вопли и плач множества ими рожденных. И уже ощущали, как их головы и напрасно завитые волосы вспыхивают чудовищным пылающим факелом.

От ближайших заводских труб и фабрик в закопченное небо возносился вой сирен, а крипто-символические хитросплетения электротехнического искусства доводили отчаянные тревожные призывы до совершенства. Из дальних пожарных станций пулей вылетали обоймы пожарных машин с распахнутыми дверцами, мгновенно и споро стартующих для оказания помощи в любой огненной беде, в то время как последний огнеборец пятого отряда в прыжке ухитрялся ухватиться левой рукой за крайнюю опору лестницы последней машины, уже делающей поворот на выезде из ворот, правой заканчивая застегивать ряд пуговиц форменной куртки.

Чопорная серьезность водителей автомобилей, на поворотах чиркающих по коленям прихрамывающих стариков, сосредоточенное спокойствие внутри, снаружи — бешеный стремительный бег машин, срывающих углы вконец заезженных со времен Гарибальди тротуаров; вот предусмотрительный звуковой сигнал внезапно останавливает всех на углу, но его сразу перекрывает вой сирен. Трамваи как вкопанные, лошади схвачены под уздцы слезшим с козел возницей, экипаж упирается в лошадиный круп, уголок конского глаза белеет от неведомо чем вызванного страха.

На первый взгляд последствия пожара были ужасающими. Оставленная дома одна с попугаем трехлетняя девочка Флора Прокопио, дочка Джован-Баттисты, сидела в кресле, в которое ее поместили и заточили; не имея возможности слезть, она отчаянно звала маму, крупные, как жемчужины, слезинки отчаяния набегали и скатывались вниз по щекам на мокрый слюняв-

чик с надписью “Кушай на здоровье!” и дальше в жидкую кашицу кофе с молоком, где потихоньку размокал целый французский багет, очевидно плохо пропеченный, и несколько новарских или сароннских (какие уж были) печений, трехлетнего возраста и они, это точно. “Мама! Мама!” — кричал испуганный ребенок, в то время как по другую сторону стола беспокоилась разноцветная птица с клювом в виде носа герцогини, имевшая обыкновение особенно пыжиться и приходить в экстатический восторг при первых же окликах мальчишек с улицы: “Лорето, Лорето!”, тогда ее охватывала важность или что-то вроде меланхолии и безнадежной летаргии, а если ее еще и приглашали: “Эй, Лорето, скажи-ка!.. да проснись ты... скажи-ка... Вива Италия! Эй, ты, Лорето, не важничай, выдай что-нибудь!”, то, услышав это “скажи”, птица выплевывала из клюва мягкий клекот: “Сам скажи!”; теперь же бедному созданию было не до “Сам скажи!”, о Боже, и действительно, по правде говоря, некий запах гари оно уже ощущало, хотя еще не слишком обеспокоилось им, однако, увидев, как лепестки этой зловещей магии прямо по диагонали пересекают открытое окно и далее влетают в комнату, как стая объятых пламенем рукокрылых, и принимаются лизать оборванные края сухих обоев и желтые жалюзи из ясеневых планок, потертыми завязками свернутые в верхней части проема, птица внезапно принималась пищать и выплескивать из глубин своего горла все, что приходило ей голову, все сразу, как радио, она испуганно и пугающе греблась когтями в сторону ребенка, делала резкие рывки, которые после полуметрового лёта всякий раз неизбежно пресекались удушающим вероломством цепочки, державшей ее лапу прикованной к шестку.

Поговаривали, что в молодости птица принадлежала генералу Буттафава, ветерану событий на Москве-реке и на реке Березина, позже — ныне уже оплаканному дворянину Эммануилу Стреппи; то была спокойная, насыщенная идеями молодость, проведенная в центре Милана на виа Боргоспессо; возможно, птахе удалось пережить не только Стреппи, но и остальных, более досточтимых персонажей ломбардской знати, о которой тем не менее она постоянно говорила гадости прохожим. Однако теперь, глядя на парящие пылающие банкноты, казалось, вылетающие из треклятого монетного двора самого Вельзевула, птица совсем слетела с катушек, похоже, двинулась рассудком: “Ива-и-Ита-иа! Ива-и-Ита-иа!”, — заверещала она во всю силу зоба[1], мечась на натянутой цепочке в об-

1. На самом деле — сиринкса, органа звукообразования у птиц, а не зоба, органа предварительного переваривания пищи — редчайшая техническая ошибка Гадды.

лаке перьев, горелой бумаги и копоти в надежде умилостивить судьбу, тогда как дитя взывало: “Мама! Мама!”, испускало крики вперемежку с плачем и стучало по столу ручкой половника. Вот тогда и явился некий Безоцци Акилле, тридцати трех годов, ранее судимый за воровские дела, ныне находящийся под особым наблюдением Королевской полиции, безработный и по причине безработицы вынужденный спать днем, чтобы ночной порой, случись в нем нужда, быть готовым выполнить кое-какую работенку, дабы вопреки надзору полиции заработать хоть на пропитание себе, Христову человеку; и вот здесь проявилась настоящая удача и великая милость святого Антонио Падуанского, нужно во весь голос сказать и признать это, удача в виде особо поднадзорного, который спал как раз в верхней комнате этажом выше на семейной оттоманке пансиона синьоры Фумагалли, а едва почуял опасность, набрался мужества, правда, поколебавшись в нерешительности и в дыму: дым тянуло вверх по лестничной шахте, превратившейся в камин; да со всем этим женским населением, кинувшимся в халатиках и сорочках со ступеньки на ступеньку с криками и детками, под вой сирен прибывающих пожарных. И вот тогда Безоцци ногами и плечами вышиб дверь и спас кроху и птаху, а заодно и лежавшие на комоде золотые часы, которые, правда, забыл вернуть, а все подумали, что это работа пожарных брандспойтов, заливших дом сверху донизу.

Безоцци услышал крики, он знал, что девочка одна, поскольку около пяти пополудни было как раз то время, когда он привык высаживаться с оттоманки на причал пробудившегося сознания, сплошь загроможденный неприятными от полицейского надзора чувствами, он тер глаза, почесывал там и здесь, но больше гриву, затем совал под краник мойки голову, вытирался полотенцем помойно-мышиной расцветки, причесывался половинкой карманной расчески из зеленого целлулоида, потом аккуратно по одному выдергивал из нее нацеплявшиеся волоски, пересчитывал их и один за другим отправлял в мойку, переполненную стопками жирных тарелок, глубоких и мелких, домашней кухни “пансиона” Изолины Фумагалли. Затем, зевая, натягивал свою небогатую пиджачную пару и пару старых торпедоносцев в виде полуразложившихся от потливости туфель, выходил, позевывая, на площадку и, вполне довольный собой, принимался мягко, неслышно похаживать вверх-вниз по бесконечным лестницам и время от времени щечными мышцами выстреливать жидкий дротик слюны на ступеньки или на стену, бездеятельный и одновременно энергичный, еще расслабленный после

оттоманки, но надеющийся на счастливую встречу. Встречу, ясное дело, с какой-нибудь домохозяйкой из имеющихся в наличии крепких, решительных, готовых проворно процокать каблучками вниз по ступенькам "цок-цок-цок" до самого выхода и шмыгнуть за дверь, ведь в доме № 14 недостатка в более или менее надежных дамах действительно не было, хотя в последние годы всю виа Кеплер заселили сливки коммерции, свившие здесь себе гнездышки вместе со своими семействами. В тот день ему встретилась мамаша — неприятная особа! — и посему он уже знал, что девочка осталась дома одна с попугаем. Вот и довелось спасти ее. А также и Лорето. Может, хоть это докажет им, кто он такой, и что у него на душе, и чем он отвечает на их высокомерие, несмотря на все неприятности, что причиняет полиция, таскаясь за ним днем и ночью. Ладно, котлы, что касается их, то это другая песня, ясное дело, пусть пеняет на себя тот, кто оставил их на комоде в тот самый момент, когда заполыхал дом.

"Страшнее пожара, — скажут потом все, — нет ничего на свете".

И то правда: под великодушие и нерешительность златоглавых огнеборцев; под каскадом питьевых вод, обрушившихся на зассанные оттоманки мшистого колера, в тот момент находившиеся под угрозой очень недоброго красного, на шифоньеры и буфеты, хранящие в лучшем случае пятьдесят граммов пустившей слезу горгондзолы, которые лижут языки пламени, как косулю — язык питона; под струйками и жидкими иглами из пеньковых шлангов в виде распухших мокрых змиев, под длинными, вылетающими из латунных гидрантов водяными пиками, пропадающими белесыми завитками и облачками в знойном августе, когда полуобгоревшие фаянсовые изоляторы летят отвесно вниз, разбиваясь вдребезги о тротуар "трах-та-ра-ра-рах!", а осмоленные телефонные провода улетают прочь со своих раскалившихся консолей, а черные летучие пласты картона и монгольфьеры из карбонизированных обоев — вниз, под ноги людей позади телескопических лестниц, петель, перекрутов непокорных шлангов, фонтанирующих параболическими струями во все стороны по уличной грязи; а оконные стекла шмякают осколками прямо в болотце из водицы и жижицы; а полные морковок ночные горшки из эмалированного чугуна — еще и теперь! — вылетают из окон и бьют по сапогам и голенищам спасателей, пожарников, карабинеров и пожарных начальников; а женщины под упрямое и беззащитное "чвак-чвак" своих домашних туфель подбирают обломки гребешков, осколки зеркал и бла-

гословенные образки Санто-Винченцо де Лигуори среди брызг и всплесков этой катастрофической постирочной.

В другом чрезвычайно трогательном случае чреватая женщина — уже на пятом месяце! — в тревоге и панике от суматохи, наверное, и призадохнулась в сочившемся с лестницы дыму, сразу влетевшем в дом пугающим порывом, едва отворили дверь, в попытке бежать она почувствовала себя плохо и рухнула без памяти прямо на площадке. Однако и эту чудом спас некто Гаэтано Педрони, сын покойного Амброджо, тридцативосьмилетний носильщик с центрального вокзала, где он должен был заступить на смену в шесть тридцать. Посланец Божий, подумать только, ведь чтобы сдвинуть и понести такой баул, нужно быть человеком дюже практическим в этих делах. Заливаясь соловьем, он уже собирался выйти из двери верхнего этажа, тоже принадлежавшего Изолине Фумагалли, этот ветеран некоего неутомимого волокитства, на которое Господь почти наверняка должен закрыть, по крайней мере, один глаз. Откланявшись, он почувствовал себя свободным и окрыленным, и более чем когда-либо еще склонным к защите слабых и пропащих, нахлобучил соломенную шляпу, поправил ее на макушке и, закуривая половину тосканской сигары, размечтался о том, как хватко и прытко он будет управляться с доставкой всех двадцати пяти баулов, чемоданов и шляпных картонок какой-нибудь американской грымзы из властных и долговязых, что крутятся окрест с мужской тростью: между Венецией и Готтардом, Болоньей и линией Т. П. (Турин—Париж).

Когда — вот те на!.. вместо американки — суматоха, крики и дым с лестницы, едва откроешь дверь, которую временами уже и не разглядеть. “Как палом палило, — рассказывал он в тот вечер, — да так сильно, как никогда в жизни”. Первым делом он подал голос женщине, еще занятой с кранами, с лоханью-биде, с некими кастрюльками и переливанием вод, но сразу бросившей все свои дела, мыло, и салфетки, и лоханку, и воду, и всё-всё, мигом вскочившей в халатик, китайский или японский, каким там он был, и, не теряя времени, сразу запричитавшей: “Ах! Мадонна, ах, Мадонна! Моя шубка, моя шубка!”; затем женщина кинулась забрать из комода сумочку, но мужчина схватил ее за руку и потащил из комнаты в чем она была: в наброшенном на плечи кимоно, купленном в Порта-Вольта, но без трусиков, зато в домашних тапочках, один из которых она сразу же посеяла на лестнице; мужчина тянул женщину за руку, так вдвоем они и ринулись искать спасения в этой удушающей, пугающей бездне. Дальше уже инстинктивно, походя, он двумя-тремя ударами ноги разбил

первое попавшееся оконное стекло: дымило и за ним. Уже ниже они наткнулись на лежавшую без памяти, уткнувшуюся в дверной косяк женщину; тогда с помощью своей прихрамывающей на босу ногу спутницы, которая обязательно удрала бы, если бы мужчина не удержал ее за руку и прокричал в лицо: "Ты должна помочь мне, иначе тр...", в трудах и ужасе, обливаясь потом, ему удалось сволочь ее вниз, туда, где были носилки и санитары Зеленого Креста и, на всё воля Божья, пожарники тоже.

А вот синьора Арпаличе Мальдифасси, кузина знаменитого баритона Мальдифасси, Элефтерия Мальдифасси! Ну, да!.. подумать только! — который в 1908 пел в Ла Скала... в "Мефистофеле"!.. весь весенний сезон, о! какой триумф, настоящий триумф! подлинная слава нашего Милана, так вот эта синьора устремилась к спасительному спуску скопом с остальными, толкаемая и сбиваемая с ног "эгоизмом, — скажет она позже, — квартиросъемщиков с шестого этажа", скакавших вниз по ступенькам, как стая зайцев, а каково оказаться с зажатой туфелькой — грязные подонки! — между ступенькой из каррарского мрамора и согнутой железякой перил? Конечно! Поэтому и сломала ногу, говорила она, хотя на самом деле только подвихнула лодыжку еще на первой ступеньке, поскользнувшись от испуга и не зная, куда ставить ноги в туфлях с такими претенциозными, впрочем, как и у всех прочих, каблуками, чтобы добавить себе шесть-семь сантиметров, как это принято теперь у женщин. А все потому, что бедная вдова хотела любой ценой спасти портрет своего Эвсторджо и драгоценности, тоже память о бедном Эвсторджо; она прытко кинулась назад забрать из комода эти ценности, которые как раз тем утром выкупила из ломбарда на возвращенные Менегацци деньги. Неисповедимы пути твои, Держитель! Представить только, что она должна была испытать, — о Боже, Боже! — сразу столбенеешь при одной этой мысли, не говоря уже о пересказе случившегося словами, когда в таком испуге и смятении женщина почувствовала, как "безжалостный эгоизм человеческой натуры" сильно пнул ее на ограждение, потом на стену, потом снова на перила с риском сбросить в пустоту проема! — а к страху и слабости ее пола добавился неожиданный острый спазм, после чего нестерпимая боль всей ноги, от которой она рухнула задом на край ступеньки и, как чудовищный тобогган. проехала немного гузном, соскальзывая со ступеньки на ступеньку, всякий раз ударяясь и вновь чувствительно ударяясь крестцом или копчиком, называйте как хотите, плохо защищенным недостаточно развитыми ягодицами, которыми с

молодых лет обделена бедная синьора Мальдифасси! В едкой копоти она чихала, кашляла и причитала: “На помощь! Спасите! Нога... помогите!” Не умолкая, ее скривившиеся губы испускали это шестистопное двустишие из глубин испуганной души и истерзанного тела. А стащить ее вниз по лестнице под горестные вопли, кашель и удушающий дым выпало бравому каменщику-подмастерью, молодому фашисту-авангардисту[1] Эрменеджильдо Балосси, сыну Джезуальдо, семнадцати лет, из Чинизелло, который в подштанниках на бедрах и с бледностью на лице тоже собирался спасти свои ценности, бугрившиеся под исподним, увы! еще не отданные в заклад никакому бугорку Венеры. И здесь тоже... виден перст указующий Господа нашего. Поскольку босоногий Балосси вовремя спрыгнул с крыши, где занимался ремонтом марсельской черепицы после сильного градопада прошлой недели, который по другим кровлям прошелся чинно-благородно, как все беды, которые делают вид, что нисходят на нас согласно воле Провидения или, может, каре Небесной.

Парень работал послеполуденной порой, ибо в самый полдень на раскаленной черепице можно было свариться живьем, могли расплавиться мозги; его голову стягивала красно-желтая повязка, которая лучше чем что-либо иное держала густые, как овечье руно, волосы, припудренные известкой; как мы уже видели, парень был одет очень легко: в голубую выцветшую на спине майку из вискозы, прозрачную и сплошь дырявую; мокрая от пота, она казалась сделанной из папиросной бумаги. Его огромные ступни, широкие и мясистые, с короткими разлапистыми пальцами, торчащими врозь раскрытым веером, предлагали бисквитной пористости черепичной кровли свою шершавость, особо ценимую десятниками и исполнителями строительных работ Милана; да и во всей гильдии каменщиков не было лучше приспособленных для этого ступней, ну как тут не послать парня лазать привидением по скатам крыш за семь лир в день: ремонтировать печи, смело по-кошачьи балансировать по конькам, протискиваться по водосточным трубам. Следовательно, как сказал бы Вирджилио Брокки, “свое место под солнцем” парень заработал вполне заслуженно, и не благодаря связям и рекомендациям, а вполне законным путем. А добывая себе этот нелегкий хлеб, он беспрерывно терял четыре тесемки на лодыжках, наш Гермес из Чинизелло, крылышки на ступ-

1. Фашист-авангардист — член детской фашистской организации “Балилла”.

нях у которого очень даже могли бы рассучиться от жары на тесемки.

Перемазавший известкой усы и иссохшее морщинистое лицо под соцветием белых родинок, уже утомленный и сломленный оглушительными воплями каменщик жалобно звал подсобника из пугающей глубины лестничной шахты: "О, Джоанн! О, Джоанн!"[1], он, скуля, втолковывал всем этим исступленным женщинам в шарканцах, мечущимся в ужасе, отягощенным узлами и хныкающими детьми, что на крыше остался мальчуган, "подсобник, мой подсобник", что на чердаке должен быть "Джильдо, подсобник Балосси из Чинизелло", он снова и снова принимался "джоаннировать" в дымную трубу той адовой лестничной клетки снизу вверх, но его вопли заглушали крики толпы. Конечно, никто не ринулся назад при мысли о подсобнике, да и потом, большинство его даже не слышало. Пока на нижней площадке не явился он сам, обессиленный, красный, мокрый от пота, с красно-желтой повязкой на голове и с черным усом через всю щеку, держа на руках синьору Мальдифасси, причитающую "Ах, ах! моя нога! нога, нога! о Господи, о Мадонна! да помогите же вы оттуда сверху!" и цепко сжимающую в руке полотняный мешочек, очевидно, не желая расстаться с ним ни за что; парень был в исподнем, опустившемся до крайне низкого, уже такого тревожного положения, что чуть погодя его можно было бы счесть отсутствующим, с каждым шагом растопыренные пальцы его ног как бёрдо[2] придавливали завязки к ступеням. Парень взял и теперь держал женщину сзади подмышками, и на каждой ступеньке то одно, то другое его колено на мгновенье образовывало как бы временное сиденье под ее тощим задом, беспризорный отрок старался держать равновесие, чтобы не скатиться кубарем на площадку вместе с ношей. Так что позже, в День Конституции! его отметили похвальным словом за гражданскую доблесть, — бедный и бравый бытчик! — он это, право, заслужил.

И еще один бедняга, старый Дзаваттари, оказался на волосок от гибели. Он страдал астмой и бронхиальным катаром уже много лет. В тяжелой форме, так что даже миланский август не облегчал его страданий, все были более чем уверены,

1. "Джоанн, джоаннин" — так ломбардские каменщики называют подсобника или помощника; любопытное смешение двух этимонов: распространенного имени Джованни и прилагательного "джоване" — "молодой", откуда уменьшительное "джованино", что соответствует итальянскому "джовинето" — юноша. (*Прим. К. Э. Гадды.*)
2. Бёрдо — гребень ткацкого станка.

что это неизлечимый случай. Незначительное облегчение приносила постель, в которой он находился до полудня, а вплоть до шести вчера — стол, застеленный грязной скатертью, с большой фьяской "Барлетты" на нем, "моим лекарством", как он его называл, за которым он и сидел до самого вечера, не обращая внимания на пятна от вина, помидоров и кофе, ничуть не обеспокоенный всем тем хламом из сломанных пополам зубочисток и остатков еды: кусков горгондзолы и колбасок луганига. Сидя за столом, уперев локоть в скатерть, с которой свисала левая недействующая, старый Дзаваттари весь сонный, бездеятельный остаток дня потихоньку наполнял себе из фьяски один полустакан за другим, "раз полстакана" и "еще полстакана", другой рукой, действующей, время от времени подносил стакан под усы; так нескончаемо длилось это неторопливое потягивание и смакование (долгие смакования и громкие щелканья о нёбо), как если бы нектаром и амброзией было то красное панероне[1], дозревшее до феррагосто в погребах Монтезаны, оставлявшее два миллиметра лиловой жижи на шепелявом языке, а крупные алые капли — на висячих усищах совсем одуревшего от катаральных выделений Белловезе[2]. Такие алые и живые, они походили на капли Святого Сердца или Мадонны-печальницы с картин Чиголи. А затуманенный и погрустневший взгляд старика в некоей головной размягченности устремлялся далеко-далеко в небеса косности двумя верхними половинками яблок, прикрытых спадающими веками, взгляд тоже несколько по-кеплеровски принимал некие тона Святого Сердца, но ведь оставалась еще Святая Фьяска, уж она-то трудилась усердно. Так долгими часами с локтем, упертым в отбросы на скатерти в помидорах и "Барлетте", со свисающей рукой и другой, которая когда не наливала и не смаковала, то почесывала колено, — так часами на протяжении всего склона дня он похрюкивал и похрапывал, потея в духоте и вони своей пропыленной комнаты с еще не проветренной постелью и наволочкой цвета летнего зайца, расстегнутой ширинкой, откуда выглядывал уголок ночной сорочки, двумя потрепанными тапками, натянутыми на босые

1. Слово "панера" миланского диалекта означает "сливки", "панероне" — очень плотные сливки, так на жаргоне ценителей называется густое красное вино с насыщенным цветом, которое обязательно должно образовывать на языке знатока желанную кашицеобразную жижу, если же этого не случается, то напиток могут презрительно обозвать винцом, лягушачьей кровью и так далее. (*Прим. К. Э. Гадды.*)
2. Потомок (здесь "долгожитель") галльского вождя Белловезе, ок. 600 г до н. э. основавшего в долине реки По город Медиолано, позже ставший Миланом.

бурые ступни; с коротким дыханием, похоже, катящимся по шарикам слизи, с любовью молодой мамочки лаская свой приглушенный катакомбный катар — бормочущий, медленно кипящий клей в забытом на огне котелке.

Этот самый Дзаваттари был партнером фирмы "Карабеллезе Паскуале" с виа Чиро Менотти, 23, на пару они практиковали торговлю недорогой атлантической рыбой фирмы "Дженепеска", выловленной моторизованными шаландами "Стефано Канцио" и "Гуалконда", временами еще и "Доралиндой"; держали на льду и устриц из Таранто, и дары моря с обоих побережий Италии — всё по очень сходной цене. Довольно неплохо шли дела и со штучной поставкой зеленых чудищ морских глубин ошеломленным домохозяйкам района Чиро Менотти, до наваждения зацикленным на мысли об экономии, но начисто лишенным малейших способностей для должной готовки подобных единорогов!

Но все это здесь ни при чем, а следует сказать вот что: едва поняв случившееся, при первых испуганных криках со двора и с лестницы старик Дзаваттари, уже достигший весьма утешительного помутнения и отупения, в некоей тревоге и оцепенелости членов сделал попытку направить себя к окну, дабы попробовать открыть его, поскольку в состоянии помрачения рассудка счел его закрытым, тогда как всю вторую половину дня окно оставалось распахнутым; но физический первобытный страх порхал вокруг него, как легкое пламя вокруг угасающего огарка его инстинкта самосохранения, единственное, что старику удалось, это опрокинуть наполовину опустошенную и тоже одуревшую фьяску "Барлетты"; а у него самого вдруг распахнулся бронхиальный катар и одновременно ослабились доблестные запорные кольца анального сфинктера, так что, сотрясаясь от сильного кашля (в то время как едкий черный дым начал просачиваться в комнату через замочную скважину и щель под дверью), охваченный страхом и неожиданной гиперемией, а также и ужасом одиночества, он почувствовал, что ноги стали ватными как раз в момент наибольшей в них нужды; все кончилось немедленным и решительным опорожнением прямо в ночные одежки, а затем выпуском из глубин легких такого количества доброй органики, какой, я уверен, точно не смогло бы выдать все море Таранто со всеми его устрицами, которых можно выловить и без партнерской фирмы. Его спасли пожарные в масках, выломав дверь ударами топора. "Видно, от огня его потянуло на блевотину", — заключил начальник отряда Бертолотти по завершении операции. Самым жалостным и, к сожалению, прискорбным оказался случай с кавалером Кар-

ло Гарбаньяти, ветераном-гарибальдийцем с шестого этажа, одним из "тысячи" Марсалы[1] и одним из пятидесяти тысяч пятидесятилетия Марсалы. А все потому, что, несмотря на крики домработницы Чезиры Паготти, он, настоятельно пренебрегая другими очевидными возможностями, захотел спасти свои медали и даже дагерротипы и два небольших портрета маслом, изображающих его самого в молодости, то есть в эпоху битвы при Калатафими. Но переноска медального собрания гарибальдийца в обстоятельствах всеобщей паники, а они таковыми и были, — это не совсем простая задача, как могло бы показаться на первый взгляд. В итоге ветерана тоже подстерегла асфиксия или что-то в этом роде, так что пожарникам пришлось унести и его, дабы спасти его шкуру с риском потерять свою. Но, к несчастью, судьба поторопилась, да и возраст — восемьдесят восемь! плюс сердечная недостаточность и болезненное мочеиспускание от сужения канала, которыми он страдал уже много лет. Так что санитарная карета Зеленого Креста, еще не доехав своим пятым рейсом до пункта срочной помощи на виа Паоло Сарпи, скоро была вынуждена повернуть назад, к моргу университетской клиники в глубине студенческого городка, что позади нового Политехнического, да на какую виа Боттичелли! дальше, дальше! по виа Джузеппе Тротти, вот-вот, молодцы, минуя виа Челория и виа Манджагалли, потом виа Полли, виа Джачинто Галлина, за Пьером Гаэтано Черадини, а за Пьером Паоло Мотта — прямехонько к приемной дьявола.

М*аневры полевой артиллерии*

Б*атарейные стрельбы 75-го и 100-го калибров. В*еличественное *описание в двух мифических гипотипозах и нескольких редких выражениях*

НАКОНЕЦ-ТО кусты стали реже, на поляне были чертовски красивые девушки, чуть дальше — группа, в которой должен был находиться генерал.

Да вот он: я узнал его.

Я подобрался ближе: генерал сурово выговаривал офицерам. Счастливый Карлуша следовал за мной.

1. На остров Сицилия возле города Марсала во время войны за освобождение и объединение Италии произошла высадка тысячи волонтеров Джузеппе Гарибальди.

Время от времени генерал поглядывал влево: пренебрегая вниманием высокопоставленного лица, светлые одежды порхали в глубинах его сетчатки милыми видениями.

Красавец-сержант стоял в благоухающей гуще дев и галантно повествовал о поставленных задачах и о предмете настоящих маневров.

А вот и знакомый, лейтенант Толла, но этим утром милый Толла, должно быть, натворил каких-то глупостей, потому что, взобравшись в седло, генерал сказал ему, именно ему:

— А вы, лейтенант, запомните: двойная выходка — это уже слишком... под поражающим огнем противника. И, кроме прочего, не смейте поучать того, кто знает больше вашего...

Командирский скакун ни секунды не стоял спокойно: последние слова генерал произнес, когда лошадь поворачивала к лейтенанту свой великолепный хвост, так что стойка "смирно" офицера обращалась уже к хвосту. Как только военачальник исчез в леске вместе со своей свитой, оставшиеся отбросили протокольные церемонии, дабы направить свои мозговые усилия на исполнение служебных обязанностей.

— Ну и что они будут делать теперь? — настаивал Карлуша.

Ах, помню, я разругался с одним присутствующим там гражданским. Плюгавый, бледный и истеричный, одетый в черный костюм с черным развевающимся галстуком и усыпанным перхотью воротничком, в желтых, отнюдь не разлезшихся и не стоптанных туфлях, он держал в руке "Аванти!" и "Уманита Нова"[1]; вначале я принял его за следователя или писаря подпункта приема налогов, вместо этого он оказался небезопасным анархистом. Я поругался с ним из-за того, что, излив своим албанским[2] говором поток затасканного антимилитаристского сарказма, он в заключение заявил, что у генерала дурацкая рожа.

А вам такое понравится?

В других обстоятельствах этот генерал был моим генералом. Удивительным "организатором".

Определенные описи, определенные рапорты на бумаге определенного формата должны составляться строго по инструкции, как только он один и умел делать (и никто во всей армии не умел оформлять эти бумаги лучше него). Некоторым пристроившимся дорого обходилось их благоустройство

1. "Аванти" ("Вперед") — печатный орган Итальянской социалистической партии, выходит с 1920 г.; "Уманита Нова" ("Новое Человечество") — анархистская газета, выходит с 1920 г.
2. Население некоторых провинций (Авеллино, Альто-Адидже) и местечек Италии говорит по-албански, наследуя говор своих предков.

при командовании корпусом на вилле Д'Ормибене. Наполеоновские разносы его превосходительства не производили никакого впечатления на внимавших ему болванов-посредственностей: они и сами кое-что повидали в жизни, пусть и с разинутым ртом; но эти же разносы, смешившие посудомоев, полоскавших посуду в заплесневелых стенах подвала, принесли ему славу старого вояки.

Кое-кто из услужливых и усердных подчиненных украсил его еще и такими рекомендациями: "Старый пень, а крепок как кремень", "Старый перчина, но еще молодчина".

В душе последователь Марса. Хотя при каждом погружении наставника в дрему его последователь не упускал случая скинуть меч и кольчугу и через заросли олеандров и миртов последовать по указующим стопам Марсовой супруги; поговаривали, что польщенная Богиня простерла над ним защиту и ласку и вверила своим служанкам.

А те своими мазями напомадили ему усы.

Но случилось так, что каленое железо щипцов для завивки усов так и не смогло придать лихой завиток этим пересохшим, кустящимся по желтому пергаменту над расселиной рта волоскам, похожим на сберегаемые лесной чащей вплоть до февраля сухие ветки, которые нога контрабандиста топчет ранним туманным утром.

Коньком генерала было произносить торжественные речи по любому поводу, перемежая бесстрастные, но патетичные, почерпнутые из дисциплинарного устава призывы к исполнению долга с влетевшими в уши при чтении газет фразами последней журналистской моды, которые он почитал редкими и ценными. Он беспорядочно нагромождал в них воспоминания о некоторых известных всем учителям начальных классов исторических событиях вместе с описаниями эпизодов не менее исторических, но ведомых только ему одному как сознательному их персонажу. Все это уснащалось бессмыслицами на манер мелкого буржуа, пребывающего в воскресном самодовольстве, с добавлением кое-каких завитков красноречия официального чествователя юбиляров. Речь подкреплялась мощными непредвиденными ляпсусами, таким фасоном ему удавалось вовлечь слушателей в спиралевидную путаницу анаколуфов и последующих нелепостей и в сплетение согласований *ad sensum, по смыслу*, так что, веруя в лучшее завтра, аудитория от слова к слову признавала себя побежденной, отказывалась от разумения главного и удовлетворялась постепенным усвоением частных красивостей. С его опытом манипулятора массами генерал дошел до того, что, рассылая однажды вечером вверенным ему частям один оперативный

приказ, он не позаботился потребовать от саперной роты армейского корпуса поднять на воздух некий мост над одной глубокой канавой, по дну которой журчал некий ручеек.

Саперный капитан находился в отпуске: саперный лейтенант, получивший ранение в полдень, направлялся на носилках к эфиру и хлороформу: офицер-стажер, как удалось установить, оказался "безынициативным" лицеистом. Так что старый мост остался в целости.

Таким счастливым стечением обстоятельств споро воспользовался полковник Ванетти: собрал три атакующих батальона и перевез через мост три навьюченные на мулов шестидесятипятки и несколько ящиков ручных гранат. Во мраке ночи лаяли безумные громы-молнии, мрак выглядел вратами вечности.

Вернувшимся обратно Ванетти больше не видели. Четырнадцать взрывов в сорока метрах от красного, сыплющего, как из лейки, пламени. Так не потеряли ни одного орудия и твердо отстояли каждый камень.

Тем временем в брезжившем серостью рассвете среди слабых голосов и бледных лиц его вытаскивали из-под вороха записок, которые бесполезно описывать, и старались устроить поудобней, по-христиански, хоть немного: вот тогда и подоспел приказ о взрыве моста.

Но никто его не выполнил. Конечно!.. До него ли, когда в котлах и мешках подвалила "работенка"!

Одной из самых милых сердцу моего генерала была уверенность в том, что для солдат он "отец родной", что солдаты обожают его и всегда хотят видеть в своих рядах.

Когда явился рассвет и явился, заботами Господа, тот самый рацион (предыдущего вечера), я почувствовал, как солдаты и в этот раз не сдержали своей сыновней любви.

Пайковый рацион часа четыре проболтался на спине ковылявшего по камням мула. Доставка харчей сразу успокоила Ванетти и остальных. Предусмотрительные кашевары придержали рис "чуть недоваренным", поскольку ему еще предстояло постранствовать, в дороге он и должен был дойти и прибыть варевом упревшим, так что пальчики оближешь. И верно, пока возницы старались обеспечить мулам спокойную жизнь в зловещей полутени, которую могли рассеять неожиданные всполохи, крахмалистая эмульсия доходила до кондиции вместе с пластами сарданапаловой говядины. И вот тогда "обожание и любовь к своему генералу" и всем командирам, включая меня, включая Всевышнего, вырвались из глоток грубиянов, в то время как своими клыками семнадцатилетних эти двадцатитрехлетние вояки принялись рвать и терзать говяжье мясо.

Все орудия оказались в сохранности. Каким же было горе генерала, когда он узнал, что другие орудия и корпуса постигла иная участь. Что со всей очевидностью даже для вовсе чуждых военному делу людей означало, что командиры тех корпусов были скроены совсем по другой мерке.

Есть и такие, для которых весть о потерянном орудии, где и каким бы корпусом оно ни было потеряно, — смертельная капля в сердце. А если орудий сотня? Сотня капель травит слабое сердце.

Но мой генерал никогда не отчаивался:

— Расплодилось много тыловых крыс! — говорил он.

И тем довольствовался, поскольку был уверен, что произносит великую истину.

В журналах, я видел, он выступает фигурой положительной. Хотя мощный *bajo*, *зад*, на котором он обычно сидит, слишком уж виляет беспокойными пухлостями. Наклоняется, выставляет половинки в самый неподходящий момент, нарушая завершенную симметрию парада. Но и порицать нельзя, будет только хуже: ведь он либерал.

Вот над "грекой" две полосы[1]. На эти полосы над "грекой" и нужно обратить внимание, чтобы понять человека и понять, что он за генерал.

Из глубин трепещущего страстью сердца возносим мы любимому и милейшему нашему Суверену мольбу с пожеланием процветания. Пусть щедрый на благородные дела мир последует за неповторимыми деяниями героев и мучеников, а если тень, то пусть и она будет достойна предшествующего ей пламени. И пусть Марс, блистающий пугающим красным светом и сопутствующими весьма плотными испарениями и серными выбросами, исходящими от черной вершины Энцелада[2], прекратит приносить нам зловещие знамения. И да установятся теперь спокойные намерения и совершатся деяния утешительные.

Эта мольба тем более исполнена страсти, поскольку мы ждем, что со временем генерал Бартолотти достигнет предельного возраста и обретет почтенный вид, так что даже для самого механизированного аппарата мобилизационной машины призыв его на службу станет немыслимым.

Со словами "Встань и иди"[3], которые мы с верой говорим каждому молодому человеку, связано выражение "До

1. Количество полос над генеральскими вензелями (в виде греческого орнамента, именно поэтому называемыми "грека") обозначает звание, здесь две полосы — генерал-лейтенант.
2. Энцелад — гигант, погибший в бою и сожженный Афиной в Этне.
3. "Встань и иди" — слова Христа, обращенные к расслабленному, исцеленному в Капернауме. Евангелие от Марка, 2:7.

свидания и спасибо", которое мы с нетерпением обращаем вместе с пожеланием спокойной ночи этому чертяке, старому солдату.

Телефонист повторяет цифры направления, превышения и прицела, которые повторяет лейтенант, которые проверяет наводчик. Первый номер снова заводит свой припев: "Орудие... огонь!" Третий номер делает резкий рывок, сопровождаемый вспышкой пламени и металлическим грохотом. Шелест снаряда сотого калибра быстро гаснет в воздухе, так стынет след беглеца: ищи ветра в поле.

Облачное небо и зеленые округлости холма прячут невидимые холмики, иные горы.

А из неведомых краев — глухой и сильный удар, как стук ящика, с силой задвинутого в далекие таинственные архивы горы.

Наблюдатель регистрирует результаты стрельб, и после внесения поправок телефон батареи передает совершенные цифры.

Разрывные снаряды уверенно рвут далекую луговую поверхность. Вот измученные оставшиеся в живых, они тяжело дышат и истекают по́том, сломленные усталостью. Даже винтовка и пять лимонок — уже тяжесть. Зрачки глубоко запавших глаз высматривают окончание подъема. Короткое оболь-щение надеждой рассеивается, на губах улыбки. Конечно, неминуемая темнота — это их долг.

Захлопываются архивные ящики горы, взбешенные дверцы. Низколетящие облачка: красные, как на изображениях мучеников. Белые низкие облачка; эти раздирающие душу разрывы и свист враждебных предметов.

О, весна! Ураган нескольких стомиллиметровых батарей, всего лишь легкая прелюдия.

Еще более страшный свист внезапно превращается в блеск молнии и сучий визг. Спринг-граната, фугасный снаряд, шаманство красного дьявола!

Пугающий вой накатывает издалека. Ужасающие взрывы в долине и на горе. И другие, быстрые и частые, в воздухе: черные, белые — неумолимые. Земля вбирает осколки шрапнели, а из кратеров от трехсотпятидесятимиллиметровых снарядов вырываются нещадные осколки пепельного цвета, пронзают тени других взрывов, просветы, тетраэдры и ромбоэдры доломитовых скал, кубы белого известняка.

Линии снабжения обрываются, как перерезанные ножом сухожилия, мулы разбегаются, ящики разлетаются, отчаявшиеся руки возносятся защитить глаза и лоб.

Суровость и дикая ярость уже не нашего “я” определяет теперь каждый миг сознания; связующее постоянство представлений кажется потерянным; желаний нет, существует одна только бодрствующая необходимость, до которой нет дела всем остальным.

Что несете вы, измученные санитары, завидуя тяжелой неподвижности простертой фигуры?

Почему вы бледны как смерть, руки со сбитыми кровоточащими костяшками, халат в лохмотьях, расстегнутый воротничок?

Дисциплинарный устав запрещает такую неряшливость.

А что за капли падают вдоль тропы?

Адски воняют гниющие мулы.

А вот по всей горе невидимые мотыги взрывают бесплодные холмики, под бешеный грохот откладывается семя в виде белых и черных куч. Под градом камней и осколков железа каждый вслушивается в свою судьбину. Под траурным солнцем машут крылышками незаметные шмели с намерением присосаться к кускам плоти, деликатесным мозгам.

Многие заняты неизвестно чем. Что они делают? Туман прячет все. Кто-то, склонившись, потеет красным потом, остальные в муке, как мельники. Мука на наших штанах, на лице и бесчувственных руках; два потных связиста, путаясь и прыгая, обходят сплетение вырванных с мясом и разбитых предметов, чтобы проверить, управляет ли еще этот черный и хрупкий нерв сражения массой жалких возможностей.

— Подай мне этот пук, иди туда...

— Да где этот проклятый ход?

— Должен быть ниже... вот он...

— Нет, это не он... помнишь, тот был полон дерь...

— Хх! Еще не хватало... сейчас...

Неописуемые взрывы заставляют пригнуться: быстрые пригибания перемежаются прыжками. Люди идут по проводу и пропадают в лабиринте и дыме.

Туман прячет товарищей, кашель от тринитратов обкладывает сухостью горло. Умершее нехорошей смертью чудовище демонстрирует свою подлую душу в виде цилиндра желтого гранулированного чедита, похожего на пармезан.

А среди расколотых кубами скал разорванные в клочья задохнувшиеся противогазы вынуждают наши глаза застыть во враждебной пугающей неподвижности. О, матери!

Фантазии самых мрачных ночей, это солнце превосходит вас, это сгусток немыслимого, ирреальная основа невозможного.

Пропыленные и оборванные, несите ящики, откройте, пропустите, но берегитесь: котловина Комо рядом, ее хотят, ее очень хотят захватить! Проклятая копилка, набитая восемью сотнями гранат. Ход сообщения “Мертвая лошадь” завален. Проскочим. Вперед.

Согнувшемуся в полости своей норы хирургу покоя больше нет. После каждого наружного взрыва под грязные проклятия гаснет от сильного порыва свеча. Душераздирающая бесполезная мольба вылетает из сжатых ртов покинутых людей. А лица окрашиваются васильковым, предшествующим ночи цветом.

Эфир и кровь не волнуют белого хирурга в черной норе. Ты еще не двинулся рассудком, упрямый мясник?

Так вот и случается, что гора на краю земли должна испить свое теплое лекарство, испить свое красное лекарство. Так есть и так было, а земля наша еще носит нас.

Так было и так будет, вечно.

Б*атарея на маневрах*

КАРЛУШЕ захотелось увидеть батарею семидесятипяток, и он дал мне кусочек шоколада: “Если и опоздаем, тетя не станет меня ругать”.

Он шныряет по лесу, наконец нам удается разглядеть далекую цель. Крутой откос скалистой стены рва обозначал позицию врага. Это узкая расселина, где молодому лишайнику и пучкам венерина волоса довелось украсить собой летний отдых саламандр.

Первое орудие начало пристрелку с фугасного снаряда, чей пепельный след продымил от скалы, как если бы в нее ударило долото. Стекло призм и линз очерчивает и приближает поле, однако дает дымку, которая не позволяет хорошо видеть легкий выброс пыли от каждого удара долота семидесятипятки.

Невооруженный глаз замечает лучше.

Какой-то снаряд ударил ниже, в песчаную конусность дефекации, и тогда белая куча задымилась; другой — выше, в луговину, тогда куча становится черноватой и яркой.

Командир передавал поправки по телефону, но телефонист, крапотти[1], понимал плохо. Тогда командир со злостью

1. Крапотти — глупый сынок Панталоне, богатого торговца, персонажа итальянской комедии масок.

схватил мегафон, жестяной конус с нагубником, и раструбил цифры на всю гору.

Потом и второе орудие произвело пристрелку, потом третье, потом четвертое: данные направления, прицела и превышения одинаковы, но у каждого своя неточность.

Когда поступила команда "Беглый огонь", из рук в руки пошли "галеты" и начались безумные подскоки. Четверка орудий ритмично издавала то грохот тормозов, то красный вопль из-за щитка, молоденькие каштаны, как прутики, клонились долу в этом урагане. Ритмично клоня спину при каждом выстреле, наводчик вновь смотрит на пузырьки, проверяет наводку. Округлую вершину холма секут сумасшедшие молнии и свистящие угрозы, все ветки ритмично выпрямляются и сгибаются в безрассудной растерянности.

Толчки лафетов и тычки вернувшегося накатника, усердие обслуги и яростные вспышки четырех орудий сменяют друг друга, как ритмичные удары штоков управления в кулачковый вал двигателя. Казалось, невидимая ось связывает четверку диких орудий в математическую последовательность фаз. Это управление.

На далекой горе появились легкомысленные облачка, украшающие склон, как белые свечные потеки — серый порфир алтаря. Тайную сень горы оскорбил безумный хохот. Гора снова испустила глухие громыхания, которые выкатывались из нее как бы в попытке изобразить случайную последовательность.

Недвижимые горы! Вот так по вашим склонам — грохот и отметины уродующей себя жизни; по вашей девственности — лошади, вспышки, потные люди, орудийные стволы и бешенство. Побережья взяты как триумфаторский приз. Дробящие удары семидесятипятки обтесывают виски скальных призраков и ураганным воем оглушают подземные поселения множества летучих мышей. Статистические органы этих млекопитающих отмечают многочисленные случаи учащенного сердцебиения.

Аккуратно докладывается о всех результатах практикующихся в стрельбе артиллерийских батарей в далеких долинах. Карты стрельб усеяны красными яйцеобразными овалами, устремленные вглубь территории разветвления коноида выгрызают куски равнины или горы.

На зеленых холмах появляются песчаные проплешины. Двугранные углы вершин, плоскости скатов — один светел, один затенен, — как угловатые крупы худых, истощенных животных. А беловатые пятна в завитках кустов на первый

взгляд выглядят как парша, парша, поедающая зеленый покров холма.

Крупные благородные лошади, на левой тяжеловесно сидит мощный артиллерист, они ступают среди кустов и обступающих скал, крепкой шеей кивая: “Да, да”. Сильным движением поднимают лохматую у копыта ногу и уверенно опускают ее меж веткой, острым камнем или вырванным деревом в место, которое мы, люди, вряд ли найдем так быстро. Артиллерист как бы везет все сам, тогда как везут его: он ритмично поднимает руки, послабляя поводья, направляя между хлещущими ветками две благородные морды, а потом и оба крупных горячих и черных крупа. Постромки пристегивают к пустому зарядному ящику на передке, который уже закрыли и подняли; оглобля — “ну и турок!” — взята на защелки. На горячий круп надеты все постромки, а на узловатую грудь — кожаные полосы нагрудника, жирные и потные. Все завершается шлеями с обшитыми кожей петлями, натянутыми легким передком.

Артиллерист заставил лошадей осадить назад, те подчинились, продолжая соглашаться: “Да, да”. Зад одной лошади встал не на то место и получил от командира удар палкой: возражений не последовало, зад встал на место.

Прицепили передок к орудию, фиксирующая пружина замкнулась на крючке. Так неистовое орудие оказалось пристегнутым, теперь ему приходилось подчиняться лошадиным силам и катиться туда, куда хотели люди.

Поступила команда “марш”: и орудия, каждое по отдельности и все вместе, попытались тронуться в путь.

Но дорога между дикими каштанами и расколотыми камнями была нехороша. Перекрывавшее дорогу молодое деревцо срубили, оно стало ворохом сучьев и веток.

Жара гнала пот, но приказ был дан.

Начали вытягивать третью пушку.

— Эй, взяли! — кричал сержант.

На поросшей дикими зарослями непроходимой дороге мышцы мощных битюгов напряглись, пушкари с силой уперлись в колеса. По плоским сильным крупам сыпался град палочных ударов:

— Давай, Горго! Тяни, дохлятина!

Дорога была просто дрянь.

Отколотый камень спокойно лежал на пути, образуя для правого колеса ступеньку высотой в добрых сантиметров двенадцать.

— Тяни, Горго! — последовала серия ударов, животное отчаянно рвалось вперед в клетке из своих постромков, шло за

напарником, а артиллерист рукояткой короткой плети плашмя поддавал ему. Удары, рывки животных, снова удары.

— Тяни, худоба, ну! Давай! Давай, скотина!

Орудие не двигалось. Колеса не могли перевалить через камень под острым углом: нужно ублажить их лестью и лаской. А солдаты сонно зевали под знойным полднем. Усилия прикладывали, но думать не хотели, ибо думать и решать утомляет больше, чем упираться, как мулы.

Тем временем по приказу генерала остальные упряжки услали вперед. Тянуть должны были только Горго и Тубон: это их долг. От которого они и не отказывались, напротив, были прилежны в желании исполнить его. Но люди казались им несколько отупевшими, немного усталыми: наверное, от большого солнца. Тогда Горго, также и по совету напарника, решил сделать выговор и подбодрить их, призывая к должной последовательности между воображением и действием, между легковесными устремлениями души и тяжеловесной неторопливостью реальности.

А меж тем из ртов артиллеристов стали вылетать иные, еще более неистовые, призывы, адресованные разным личностям небесной иерархии, не исключая Всевышнего; этому Последнему были впоследствии присвоены имена разных домашних млекопитающих. По такому исключительному случаю почти всех млекопитающих подбирали из отряда свиней. Приведенные события освещались на бергамском и болонском диалектах и на тосканском наречии.

После одного палочного удара, особо подлого, Горго резко обернулся и взглядом, от которого впору заплакать, сказал колотящему его палкой человеку в расстегнутом мундире и немного сползших штанах: “Думай!” А ведь это солдат, выполняющий молодецкую задачу своего бравого войска. Белый потный галстук вылез из-под расстегнутого воротничка и болтался сам по себе как тряпка; палка в руке, рот открыт, как у мальчишки, прядь мокрых волос на виске.

Орудие, сардоническое чудовище, стояло на месте чуть наклонно и спокойно смотрело с обрыва вниз, как если бы вся эта суета его не касалась. При всяком усилии пушка оставалась неподвижной, а передок опадал там же. Так что вся упряжка вместе с четырьмя колесами и узлом крепления походила на хромого крокодила, неудобно устроившегося на контруклоне и утомленного трудоемким перевариванием пищи.

Лейтенант Толла вслед за парнями увидел ступеньку. Вот только он, на протяжении лет лелеявший свою первую детскую мечту о деянии, взял Тубона и Горгу под уздцы и, отведя

назад, направил их шаг так, что проклятый камень прошел рядом. Заслуженными упреками и неуставными словами успокоил он одуревших парней, сморенных сонливостью, жарой, беспорядочным грохотом упряжки, пылью, башмаками, командами, напряженным потным трудом, собственной руганью, сопутствуемыми взаимной бранью и проклятиями.

Повиснув на уздечке, Толла продолжал ругать солдат, иногда оборачиваясь и спотыкаясь в ветках, но сильные шеи Тубона и Горги и их горячая признательность поддерживали его. Остальные с открытыми ртами толкали колеса и вот, потянув за хвост, сдвинули крокодила с места. Тубон и Горго энергичными копытами передавили все ненужные ветки, кивая: “Да, да”, мощный артиллерист попустил жирные поводья, и третье орудие тоже углубилось в лесок.

Имена земные и небесные больше не упоминались.

Третье орудие спустилось, удерживаемое тормозами и вожжами, ибо могло скатиться на лошадей, как жалкая падаль.

Оно таки изрядно попыхтело! Да так молодецки!

Теперь же, когда лошади взяли тягловую заботу на себя, а не забывших адский труд людей уже ничто не заботило, орудие тоже решило позволить везти себя, тем более что и ему хотелось всласть подремать.

На радостях, что увидел семидесятипятки, счастливый Карлуша уничтожил весь припас. Приятно видеть, как мальчишка заглатывает хлеб кусками, чуть не раздирая себе горло! Видно движение куска вниз по пищеводу, как у страуса, глотающего свеклу в полдник.

Этот хлеб становится кровью, красной радостной кровью. В ней откладываются и хранятся зародыши всяких надежд и тех благородных деяний, которые далекое будущее прячет от нашего понимания, но не от нашего предчувствия.

А пока позвольте-ка Карлуше зарабатывать на хлеб иначе.

Далекое качение оббитых железом колес говорило, что увлекаемые лошадьми батареи двигались рысью по хорошей дороге.

Ольга Седакова

Ангелы и львы

Антония Арслан. *Повесть о книге из Муша* / Пер. с итал. В. Халпахчьян. — М.: Река времен, 2013. — 95 с.

> "Видишь, ангелы?", — спрашивает в восторге Овсеп, обводя пальцем в плотном переплетении множества цветов, пальметок и спиралей два задумчивых лика, которые выглядывают слева, как будто подавая знак о божественной мудрости. "А львов видишь? — отвечает с другой стороны Гоар. — Это армянские львы, эти улыбающиеся, с шарфом на шее".

"Повесть о книге из Муша" — вторая книга Антонии Арслан, вышедшая по-русски. Первой была "Усадьба жаворонков" ("La masseria delle allodole")[1]. "Усадьба жаворонков" — первая книга "армянской трилогии" Антонии Арслан. "Повесть" — ее третья, завершающая часть. Непереведенной пока осталась средняя — "Дорога Смирны" ("La strada di Smirne", 2009). Прежде чем говорить о нашей повести, совсем вкратце сообщу об авторе, Антонии Арслан, итальянской писательнице с армянскими корнями (так принято ее характеризовать). Антония Арслан пользуется в Италии особой любовью. К ней относятся как к "моральному авторитету" (l'autorité morale): традиционная для Европы культурная позиция, которая в последние годы явно вакантна. "Усадьба жаворонков" (2004) — поздний писательский дебют Антонии Арслан. Университетский профессор, исследовательница итальянской литературы, автор трудов о народной итальянской литературе и о женщинах-писательницах XIX–XX веков, переводчица французской, а затем армянской поэзии, Антония Арслан обратилась к писательству, углубляясь в армянскую историю собственной семьи. Ее дед по отцу, всемирно известный доктор, чудом спасся во времена армянской резни в Оттоманской империи. Он получил образование в Европе, женился на итальянской графине из Падуи. Антония Арслан родилась в Падуе, городе святого Антония Падуанского, которого итальянцы называют просто Святой, не добавляя имена (как у нас, говоря Преподобный, не добавляли имени Сергий). Падуя с ее собором и особенно падуанский городок Кампосампьеро со своим огромным францисканским монастырем, куда съезжа-

© Ольга Седакова, 2013

1. СПб.: Симпозиум, 2010. Пер. с ит. Е. Смагиной.

ются люди со всей Италии, — в каком-то смысле аналог нашей Троицкой лавры. Там два года назад нам и довелось впервые встретиться. Антонию назвали в честь Святого.

Поздний дебют принес Антонии Арслан мировую известность. Книгу много раз переиздавали, перевели на двадцать языков (русский, видимо, стал двадцать первым), она получила множество премий, по ней снят одноименный фильм братьев Тавиани (2007)[1]. С "Усадьбы жаворонков" началась "армянская трилогия" Антонии Арслан. О третьей ее части и пойдет речь.

Все помнят и уже десятилетия повторяют, как заклинание, слова Теодора Адорно о том, что после Аушвица поэзия (или искусство вообще, или красота вообще) невозможна. Следуя этой логике, можно было бы сказать, что поэзия стала невозможна много раньше: после первого в Новое время геноцида, армянского геноцида 1915 года в Оттоманской империи. Несомненно, события такого рода подрывают что-то важнейшее в человеке: его способность доверять себе. Если "мы (то есть, люди) такие", если мы способны на такую адскую жестокость и тупость, у нас нет больше права на высокие слова, великие замыслы и т. п. Говоря иначе: при встрече с адом поэзия умирает.

Но кто хоть раз
был смешан с прахом,
Не сложит песни золотой.

Вл. Ходасевич

После такого опыта необходим какой-то очистительный обряд вроде того, который совершает Данте, выйдя из ада, чтобы "мертвая поэзия воскресла", *la morta poesie resurga* (Purg. 1, 7). Великое произведение искусства (может быть, эпитет этот избыточен, и другие, невеликие, вещи и не стоит называть искусством) несет в себе чувство "внутренней правоты", словами Мандельштама[1], и блаженной свободы: это чувство внутренней правоты, необъяснимой уверенности переживает во время сочинения его автор (такое состояние и называют вдохновением; Карл Барт, протестантский богослов, самое чистое воплощение этой убежденности в собственной правоте слышит в музыке Моцарта), и потому сочинение не перестает сообщать читателю опыт совершенно особого счастья и

1. На русский, однако, его название переведено как "Гнездо жаворонка". В статье цитаты из романа приводятся в переводе О. А. Седаковой и В. Халпахчьян.

1. В нем росли и переливались
Волны внутренней правоты.

Об этой же правоте — и тоже в связи с музыкой — у Пастернака:

Опять Шопен не ищет выгод,
Но окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.

Характерно, что известный современный поэт, приводя по памяти эту строфу, заменяет "правоту" на "пустоту".

выздоровления, своего рода возвращения в Эдем. Катастрофы минувшего века как будто бросили на нашу цивилизацию тень какой-то непоправимой вины и общего краха и перекрыли доступ к этому блаженному вдохновению. Так думают многие, в том числе художники и писатели последних десятилетий. Этим они объясняют мутный и темный, "виноватый" характер собственных созданий. Другого после Аушвица быть не может — или же оно будет ложью. Райская игра свободного искусства, как полагают, оскорбительна для памяти жертв.

Позволю себе отступление личного характера. Однажды, листая черный двухтомник Мандельштама, я присмотрелась к помещенной там, в качестве иллюстрации, его лагерной анкете с известной графой: "Особые приметы". Совсем недалеко от этой страницы были мои любимые стихи "Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы". Столкновение двух этих "примет" что-то со мной сделало. Рядом с "особыми приметами" мандельштамовские "приметы" умерли. Этого больше нет, подумала я. Этого больше быть не может. Когда я рассказала об этом моей подруге, она ответила: "Значит, они своего добились. Они ведь и хотели, чтобы этого не было. Не будем им помогать".

Книги Антонии Арслан — прямое опровержение тезиса о "смерти поэзии". Арслан берется рассказывать о чудовищных вещах, перед которыми искусство обычно отступает, — и при этом в ее рассказе звучит музыка и веет сказкой. "Это история со счастливым концом, несмотря на все", — говорит о своей повести рассказчик. Это "все", на которое "несмотря", — не шутка. Трое из пяти "смиренных героев" повести, решивших любой ценой спасти драгоценную древнюю рукопись (иллюминированную рукопись XIII века на пергаменте, которая весит 28 килограммов!), гибнут, причем гибнут уже совсем рядом с целью. Судьба двоих выживших, быть может, еще больше несовместима с представлением о хеппи-энде: их ждут, как сообщает рассказчик, только новые страдания и разлука (а их, осиротевшего во время резни мальчика Овсепа и молодую женщину Ануш, потерявшую собственных детей, только и спасало то, что они были вместе). Да, рукопись спасена и доставлена в Эчмиадзин. Но ведь герои верили, что эта книга — "их талисман": "мы не погибнем, пока существует Книга". Однако они погибли! Они не дождались никакой награды, даже памятной записи в хранилище рукописей (мимоходом замечает рассказчик). Или же речь идет о каком-то другом "мы" ("мы не погибнем"), а не о героях повести "со счастливым концом"? Немой Ангел охранял их с того самого момента, как они обнаружили в сожженном монастыре Книгу — но ведь они погибли! Мало того: этот Ангел, явившийся во сне гречанке Элени и убедивший ее идти вместе с армянскими спутниками, чтобы отдать и

свою жизнь, и жизнь своего друга Макариоса за Книгу, "наконец, улыбнулся" как раз накануне их гибели. Значит, в "счастливом конце" истории имеется в виду нечто другое, чем обыкновенно в сказках? "И стали они жить-поживать и добра наживать". Или же — как звучит в уме Макариоса, вдруг услышавшего внутри странное тепло — знак сопутствующего им Немого Ангела: "Макариос чувствует, с каждым шагом все больше, как внутри у него разливается незнакомая сердечная благость, которой сам удивляется, и душа его наполняется нежданной радостью. Он чувствует себя отцом этого маленького отряда, с которым он пройдет сквозь адское пламя самого мрачного отчаяния и проведет его в безопасное место по ту сторону горной гряды, по ту сторону отчаяния, по ту сторону трагедии. Они не будут оглашать своим плачем берега рек вавилонских, вспоминая потерянную родину: у них будет новая жизнь, и она будет мирной — слово грека Макариоса".

Пророчество грека Макариоса не сбывается — во всяком случае, в рамках повествования. Это другая сказка.

"Спасти этих пятерых или спасти Книгу?" — размышляет Немой Ангел. Кончаются его размышления тем, что здесь, вообще говоря, нет выбора — потому что здесь просто нет двух разных возможностей: "Спасая Книгу, они спасут себя". Одна из этих пятерых, Гоар, умирая от тифа, просит, чтобы ту половину книги, которую несла она (тяжелую рукопись они разделили на две половины, и вторую несла Ануш), похоронили с ней — не навеки, на время: "Но оставь ее пока со мной, чтобы с ней я предстала перед Судом Божиим: закопай ее рядом со мной. А когда все это кончится, только тогда возвращайся сюда и забирай ее. Она сохранится в целости, потому что я буду ей надежным сторожем. И тогда отнеси ее Католикосу в Эчмиадзин и скажи ему, что это живое сокровище и что я спасла ее ценой моей жизни".

На другой странице автор признается: "И все же рассказчик устал рассказывать эту бесконечную трагедию Утраченной Родины. <...> Рассказчик выплакал слезы, ему хочется других историй.

Но среди этого ужаса и утрат — вот они сверкают, спасенные Книги".

Трагедия со счастливым концом, которая остается при этом трагедией, — вот жанр этой необычайной повести. Можно сказать и так: это трагическая сказка.

Счастливый конец этой истории, я думаю, не только в том, что драгоценные древние Книги спасены (Книга из Муша, о которой идет речь, — только одна из них). Вместе с ними спасена честь народа, который обрекли на истребление. Она спасена совсем простыми людьми — героями и героинями нашей повести. Они едва ли могут прочесть то, что содержится в этих премудрых богослужебных книгах, которые почитаются в народе как чудотворные (в нашей повести речь идет о Книге проповедей, на полях которой поме-

щены эпизоды армянской истории). Но они очень хорошо знают существо того, что в них содержится. В древнем монастыре Святых Апостолов в Муше, одном из первых памятников христианства в мире и одной из главных армянских святынь, наши беглецы находят трех его зверски убитых насельников и предают их земле: “Но прежде, чем бросить землю, Кохар вдруг опускается на колени и куском мокрой ткани старательно умывает ему (настоятелю. — *О. С.*) лицо, возвращая на него терпение: “У него было слишком разъяренное лицо — объяснит она потом — нельзя с таким лицом предстать перед высшим судом”.

Честь народа спасена перед небом и перед историей. Ангелы не покинули изгнанный со своей родины народ. И львы — улыбающиеся армянские львы с шарфом на шее — идут вместе с беглецами.

Я думаю, что счастливый конец этой истории еще и в том, что для нее нашелся рассказчик. Нашелся тот, кто не дал бесследно исчезнуть ни этому великому горю, ни этому мужеству. Рассказчик исполнил свое дело: он воздает последние надгробные почести тем, кого лишили даже “величия смерти”, погребения и прощания. Это не просто сохранение памяти: это воскрешение памяти. “Похоронить своих” — тема Антигоны, древняя тема трагедии одушевляет всю “армянскую трилогию” Антонии Арслан.

И в нашей истории XX века, с ее миллионами “убитых задешево” и лишенных погребения, труд их поминовения приняли на себя поэты: “взамен могильных роз, взамен кадильного куренья”. Борис Пастернак:

Душа моя — печальница
О всех в кругу моем.
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Анна Ахматова:

Непогребенных всех —
я хоронила их.

Или:

Чтоб вас оплакивать,
мне жизнь сохранена.

И здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали: к утверждению Адорно о невозможности искусства после Катастрофы. Поэзия оказалась не только не невозможна, но необходима. Катастрофа возвращала поэзию к ее началу: погребальная песнь — быть может, первое проявление поэтического в истории. Антония Арслан и в этой своей повести, как и в первой, той, что принесла ей мировую известность — так же, как в России Пастернак и Ахматова, — дает нам непосредственно почувствовать самую насущную *необходимость* искусства после “этого ужаса и утраты”. Без искусства, которое послужит мученикам минувшего века, вырвет их жизнь из забвения, “второго небытия”, станет свидетелем их славы, вся эта история будет и дальше тянуть человечество ко дну, как камень на шее.

Единственный раз на всем протяжении рассказа Антония Арслан говорит от первого лица — там, где ее героиня Ануш находит своего только что убитого младенца:

"И других детей из долины Муша настигнет смертная участь: их обольют керосином и сожгут вместе с матерями в амбарах или зароют живыми со ртом, набитым землей; но, хотя бы этому малышу, я хочу спеть, как могу, поминальную песню. И в моем сердце — но с другими словами — поднимается эхо той нежной и могучей "элегии невинности и юности", которую много лет назад я заучила на память: "*Похоронен с первыми мертвыми, глубоко покоится сын Армении... Зерно вне возраста, темные вены своей матери, он сокрылся в беспамятной воде бурлящей Арацани. После первой смерти другой не будет*"[1].

После первой смерти второй не будет. Это та же клятва в бессмертии жертвы, которую мы слышим в стихе Ахматовой:

Для Бога мертвых нет.

И свидетель этого бессмертия — Рассказчик, Поэт. Это его работа: он говорит о тех, кого никто уже не знает, о тех, кто ждет, чтобы его развеянный по ветру голос услышали.

Антония Арслан умеет слушать. Ее повествование, как она говорит в другой своей книге, колеблется "между двумя мирами: сновиденческим, который живет снами и сказками, — и конкретным, повседневным"[1]. Читая "Усадьбу жаворонков", я была уверена, что читаю семейную хронику, которую повествователь только пересказывает, — пока не осознала, что у этой "хроники" не может быть реального источника. Кто мог бы сообщить рассказчику все эти события, эти детали? Их участники исчезли, не оставив записок. Но какая-то особая достоверность рассказа поражала: несомненно, все происходило именно так, как здесь рассказано. И я догадалась, что рассказчик каким-то таинственным образом *слышит* сообщения своих исчезнувших героев (впрочем, Антония Арслан сама об этом говорит — но невнимательный читатель может легко пропустить это признание: собственных героев — погибших! — она называет в списке тех, кому благодарна за помощь при создании книги[2]). Антония Арслан воскрешает мир, которого она сама никогда не видела. Это оставляет нас с глубочай-

1. Измененная последняя строфа известных стихов Дилана Томаса "Отказ оплакивать смерть лондонской девочки, погибшей в пожаре" (A Refusal to Mourn the Death, by Fire, of a Child in London"). Антония Арслан меняет реку Темзу на Арацани. Девочка у нее становится мальчиком и армянским, а не лондонским ребенком.

1. Antonia Arslan. Il cortile dei girasoli parlanti. — Edizioni Piemme, 2011, p. 6.
2. В русском переводе первого романа Антонии Арслан "La masseria delle allodole", опубликованном издательством "Симпозиум" под заглавием "Усадьба жаворонков" (2010), этот список по непонятным причинам отсутствует.

шим впечатлением его реального присутствия, его желания быть выслушанным: ничто не исчезает, ничто не пропадет — даже если оно осталось нигде не записанным и его свидетели не уцелели. "После первой смерти второй не будет".

Новая книга Антонии Арслан внушает то же впечатление документальности: повествование как будто основано на бесспорных, точных, проверенных фактах. Из одной оговорки в конце рассказа (монах в Эчмиадзине, принимающий от Ануш спасенную рукопись, не записывает ее имени) мы вдруг понимаем, что на самом деле все это — плод "реконструкции" событий, принадлежащий исключительно рассказчику. Все: имена, характеры, ход событий... И тем не менее читателя не покидает уверенность: так все и было. Я назвала бы письмо Антонии Арслан волшебным реализмом (не "магическим реализмом": за этой манерой закреплен совсем другой мир). Искусство в конце концов есть род духовной одаренности. Если художник не догадывается о Немом Ангеле, который сопровождает нас, лучше ему за дело не браться. Некоторые называют этот дар даром воображения. Я думаю, это дар внимания и любви к реальности.

Мы постоянно ведем в наших рассуждениях спор с Адорно. Но вот в чем он, несомненно, прав: чему-то катастрофы прошлого века в самом деле вынесли решительный приговор. Что-то и в самом деле стало недопустимо — недопустимо эстетически и морально — в присутствии миллионов невинных и преданных забвению жертв. Как ни удивительно, в новейшей практике искусства это так же мало понято, как и насущная необходимость большого искусства "после Аушвица". Что я имею в виду, говоря о "большом искусстве"? То, о чем в "Докторе Живаго" Пастернак сказал так: "...искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает"[1].

"Memento mori", "помни о смерти", философский совет классической античности; монашеская "память смертная"... Все это давно и прекрасно известно — так же как известно и постоянное человеческое желание сбежать от этой памяти. Но отличие той мысли искусства о смерти, о которой говорит Пастернак — и которую воплощают книги Антонии Арслан, — в том, что речь здесь идет не о собственной смерти, или не в первую очередь о собственной: прежде всего это смерть других. Иначе говоря, это не значит: не забывай того, что ты смертен. Это значит: помни о том, что бессмертие умерших — в каком-то смысле и твое дело. Ввиду этой мысли и происходит ревизия многого в искусстве. Многое на очной ставке с этой мыслью становится не-

1. Книга 1, часть 3, гл. 17.

возможным. В первую очередь все, в чем слышна агрессия, будь это форма или общая позиция автора, в этой ситуации выглядит совершенно безобразно. После опыта XX века мы стали более чуткими к любому присутствию насилия в искусстве – даже в великом искусстве прошлого. Но "актуальное искусство" множит и множит свои "проекты", в которых, кроме агрессии, ничего почти и нет. Мы должны наконец разобраться с тем, что путаем *силу* с *насилием* и *власть* с *порабощением*[1]. Это вещи прямо противоположные. Сила есть только там, где нет насилия. Истинная власть, которую нельзя отнять, – у того, кто чурается насилия. Опыт прошлого столетия требует наконец решить это окончательно – требует хотя бы от художников.

И еще одна вещь кажется "после Аушвица" совсем непристойной: отвращение к реальности, отказ нашему миру в малейшем проблеске смысла. Этим настроением полным-полна художественная и интеллектуальная продукция последних десятилетий. Исключения редки. Что на это сказали бы те, у кого отняли жизнь, мир и реальность – вещи, для них драгоценные и полные смысла? Те, о ком Арслан рассказывает и в этой своей книге, и в прежних.

Читателя (меня, в частности) поражает в героях Арслан их невероятное, нерефлектируемое желание жить – жить после всего, жить, потеряв детей, дом, потеряв все... И это при том, что они ни секунды не сомневаются в том, что погибших ожидает блаженство, что души их принимают ангелы! На презентации "Усадьбы жаворонков" в Москве я спросила Антонию: как совмещается эта страсть к жизни с простой народной верой в посмертное блаженство мучеников? В русской традиции, как правило, любовь к иному миру не соединяется с привязанностью к здешнему. Антония ответила, что она даже не задумывалась об этом, настолько естественным и привычным кажется ей такое соединение.

Книги Антонии Арслан – не только о великом горе и неслыханном злодействе, но и о "древней мудрости, которой больше нет"[1]. Мудрости, которая учит человека доверять тому, что в любой случайности, в любой встрече его жизни есть какой-то смысл, который, быть может, откроется скоро, а может, и никогда – но само знание об этих "крохах смысла" делает нас внимательными и благодарными. Книга, которую спасают герои "Повести", – богато иллюминированное собрание гомилий, церковных проповедей. То, что пишет Арслан, внешне нисколько не напоминает проповедь. Она избегает малейшего морализма и учительства. Мы следим за ее сюжетами, как в приключенческой повести. Все висит на во-

1. Я писала об этом в связи с "Божественной Комедией": Под небом насилия. Ад, Песни... (опубликовано по-итальянски).

1. Antonia Arslan. Il cortile dei girasoli parlanti, p. 5.

лоске и всякий раз каким-то непредсказуемым образом продолжается. Рассказчица не вмешивается в ход событий с рассуждениями и размышлениями, его как будто нет. Но после каждой книги Антонии Арслан я чувствую, что меня чему-то научили, что-то напомнили. Скорее всего, вот это: значительность того простого факта, что мы существуем на этом свете, где *все что-то значит.*

Антония Арслан нашла особое письмо: как будто совсем простое и сжатое до минимализма (в переводе эта отточенная простота немного ослаблена: и в самом деле, самое трудное — это переводить простое). Повесть состоит из двадцати трех маленьких главок и эпилога. И в это тесное пространство повествования вмещено столько событий, характеров, поворотов судеб! Целый мир. Мир, которого больше нет: он превращается в призрак на глазах читателя. К этому, собственно, и сводятся сюжеты повестей Арслан. И, удивительным образом, вопреки всему, что происходит, нам в этом мире хорошо. Антония Арслан вспоминает, как в гимназическом детстве, в Гренобле, куда ее отправили совершенствовать французский, читая единственную книгу на родном итальянском, которую она взяла с собой, — "Маленький мир" Джованнино Гуарески[1], она открыла для себя секрет историй, которые становятся любимыми: такие истории "создают миры, в которые нам хочется войти и откуда мы уходим не иначе как с сожалением"[2]. Такой мир анатолийской долины Муш и создала Антония Арслан. Из него жаль уходить.

1. Giovannino Guareschi. Il piccolo mondo. Эта популярнейшая в Италии книга впервые вышла в русском переводе О.Гуревич под названием "Малый мир. Дон Камилло". — М.: Центр книги Рудомино, 2010.
2. Antonia Arslan. Il cortile dei girasoli parlanti, p. 46.

Игорь Клех

Золото басен

О пользе кормления народов баснями

Опасное дело — убедить человека, что он во всем подобен животному, не показав одновременно и его величия. Не менее опасно убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее — не раскрыть ему глаза на двойственность человеческой натуры. Благотворно одно — рассказать ему и о той его стороне, и о другой... Пусть знает, каков он в действительности.

Блез Паскаль *Мысли*

Жанр-долгожитель

Басня — это узловая пересадочная станция, расположенная между первобытными сказками звериного эпоса, более поздними пословицами и поговорками и современными анекдотами. Возраст басни исчисляется тысячелетиями. Она ровесница возникновения цивилизации в современном понимании — образцы кратких поучительных и иносказательных притч были обнаружены на шумерских клинописных табличках пятитысячелетней давности. Когда люди перешли от стадного и стайного образа жизни к более сложному устройству общества, построили города и создали государства, возникла необходимость договориться об элементарных правилах поведения в изменившихся условиях. Иначе говоря — воспитать народ, над чем трудились в Междуречье, Египте, Индии, но более всего преуспели в Элладе, где в середине I тысячелетия до н. э. выкристаллизовалась так называемая эзоповская басня.

Когда великая и ужасная мифология (бессмертные олимпийские боги, всевозможные чудища, мойры и неумолимый рок) отступила, театрализовалась, превратилась в привычный и не очень обязательный ритуал, возникла великая античная словесность. Гомеровский эпос, профессиональная философия и трагедии — для аристократии и школьная риторика, басни и комедии — для простонародья. Чрезвычайно показательно, что Го-

© Игорь Клех, 2013

мер был величествен, слеп и, перебирая струны, пел о грозных исторических событиях, а Эзоп был уродливым рабом, постоянно острил, ставя собеседников в тупик, и рассказывал байки, позднее записанные и литературно обработанные греческими книжниками.

Стоит задуматься, отчего героями басен, с легкой руки Эзопа, становились чаще всего животные? Непростой вопрос, философский.

Очевидно поначалу люди не отделяли себя от природного мира и животные явились для них счастливыми подсказками — словно ответы, подсмотренные в божественном задачнике. Разве лев не благороден и не подобен царю — с его мощью, гривой, ленивой царственностью движений и поднятой мордой, глядящей анфас, не отводя взгляда? Разве волки не являются безжалостными охотниками? Разве хитрость и уловки не свойственны зверям помельче и послабее? Разве муравьи и пчелы не умелые строители и трудяги? Разве не водоплавающие птицы надоумили и вдохновили первых корабелов? Разве существует безусловная преданность крепче собачьей? Ну и так далее — настоящий клад для первобытных аналитиков! Со временем, усвоив уроки живой природы и переведя их на условный язык басен, человек отделил себя от мира животных и поставил неизмеримо выше. Естественно, басенный зверинец — бестиарий — вышел не только аллегорическим и символическим, но и довольно подвижным, поскольку разные народы на разных континентах приписывали одним и тем же зверям качества, подчас не сводимые к общему знаменателю.

Время басен закончилось повсеместно к середине XIX века в связи с триумфом материалистических учений и распространением машинной цивилизации. Научные теории Дарвина, Маркса, Фрейда и Павлова, появление генетики, кибернетики и этологии, проникшей в тайны поведения животных, сделали бесповоротно невозможным возвращение к прежним наивным представлениям. Именно это имел в виду нобелевский лауреат по литературе Чеслав Милош, когда писал на пороге третьего тысячелетия свое “Предостережение”: “Зверюшки из детских книжек-раскрасок, говорящие кролики, собачки, белочки, а еще божьи коровки, пчелки, кузнечики. У них столько же общего с настоящими зверями и насекомыми, сколько у нашего представления о мире — с истинным миром. Подумаем об этом и содрогнемся”.

Последними баснописцами стали “могильщики” жанра. За рубежом — это Амброз Бирс, основоположник “черного юмора”, а в России — гений мистификации и литературной пародии Козьма Прутков. А также советские пропагандисты, вроде Демьяна Бедного, Маяковского и Михалкова-старшего, или сказочники, вроде популярного в свое время Феликса Кривина.

Однако вернемся к истокам и вершинам жанра.

Эзоп. Этика

Основоположник жанра басни и изобретатель так называемого эзоповского языка — фигура легендарная, почти как Ходжа Насреддин, однако не сказочная, по свидетельству историка Геродота.

Правда, достоверных сведений об Эзопе — кот наплакал. Известно, что он жил в VI веке до Р. Х., родился где-то в Малой Азии, на греческом острове Самос был продан в рабство, обладал уродливой внешностью. То есть тогдашними греками — с их презрительным отношением к варварам и рабам и культом телесного совершенства — мог восприниматься лишь как двуногая разновидность домашнего скота. Поэтому так поражали хозяев и собеседников Эзопа его искусное балагурство, умелая диалектика и обезоруживающая мудрость. Якобы в конце жизни они и подвели Эзопа, когда он принялся обличать в корыстолюбии и паразитизме жителей Дельф, где издавна проводились Пифийские игры и находилась главная греческая святыня — обитель дельфийского оракула, с безумной пифией-прорицательницей и жрецами-толкователями ее предсказаний. За такие речи дельфийцы подкинули ему золотую чашу из храма Аполлона, после чего обвинили в воровстве, осудили и сбросили со скалы. Если это так, то Эзоп явился предтечей Сократа и предшественником юродствующего философа Диогена, которому повезло несравненно больше.

Куда более достоверно, что Эзоп сочинял басни, которые грекам так понравились, что передавались из уст в уста и сделались общим достоянием, превратились в фольклор. Спустя несколько веков Эзопу приписывались уже все сочинения в этом жанре. К тому времени молва потрудилась и над биографией автора — украсила ее легендами, обросшими подробностями. Насколько безобразно выглядел Эзоп, как помог себя продать на невольничьем рынке, выкрикивая: "Кто хочет купить себе хозяина?", как мудрым толкованием уберег остров Самос от завоевания Крёзом, за что был освобожден и служил советником у царя Крёза и царей Вавилона и Египта, как поучаствовал в пире Семи мудрецов, знаменитейших греческих философов того времени, какую басню рассказал перед смертью дельфийцам и как те были вскоре наказаны чумой за казнь мудреца.

После смерти Александра Македонского в 323 году до н. э., когда древнегреческий мир вступил в затяжную и плодотворную фазу заката, эти устные предания были наконец записаны, худо-бедно упорядочены и литературно обработаны. К началу нашей эры легенда об Эзопе приобрела достаточно законченный вид. Ее увенчал труд безвестного автора "Книга о Ксанфе-философе и Эзопе, его рабе, или Похождения Эзопа". А обессмертили его имя многочисленные кодексы эзоповских басен, неоднократно переписывавшиеся, переводившиеся и имевшие хождение в странах Европы и на Востоке на протяжении полутора тысяч лет.

Самый давний и потому наиболее достоверный список басен получил у историков и литературоведов название "Основной Эзоповский сборник". Это 244 сюжета, которые впоследствии обыгрывались другими баснописцами, включая Лафонтена и Крылова. Все вместе они образуют некий эзоповский космос. Как же он устроен?

Басня двулична, как Янус, и таково же устройство и содержание эзоповской басни. Эта двуличность состоит в том, что басня поучает, развлекая — излагая увлекательную историю, обязательно сопровождает ее нравоучением. Подобно душе с телом, они не всегда и не вполне стыкуются, что и придает басне бодрящий тонус.

С одной стороны, Эзоп — выразитель недовольства угнетенных низов общества, глас обездоленных. С другой — сторонник индивидуализма, не только разрушительного, но и созидательного. Его настрой критичен и пессимистичен: миром правит сила, всегда склонная творить зло и несправедливость; видимость обманчива, судьба изменчива, а страсти губительны; потому каждому сверчку лучше знать свой шесток, по одежке протягивать ножки, полагаясь только на себя и рассчитывая на собственные силы. За висящую у всякой басни довеском мораль — аналог пропагандистского лозунга — охотно ухватились с двух концов простые обыватели и идейная обслуга властей предержащих, совершенно независимо от исторической формации, общественного строя и политического режима. Коронный нравственный вывод большинства эзоповских басен остроумно сформулировал их переводчик и замечательный знаток античности Михаил Гаспаров: "Некто захотел нарушить положение вещей так, чтобы ему от этого стало лучше; но, когда он это сделал, оказалось, что ему от этого стало не лучше, а хуже".

Это и есть суть эзоповской басни как жанра: она не дает положительных примеров, а показывает КАК НЕ НАДО, что сделало ее популярной в семьях и школах и позволило просуществовать не менее двух тысяч лет.

Фокус, однако, в том, что Эзоп вполне читаем и сегодня. По той простой причине, что он был не рассудочным моралистом, а этическим мыслителем и сочинителем притч. Мораль исходит из предустановленных и якобы незыблемых принципов, а этика — искусство правильного поведения — учитывает обстоятельства и ищет приемлемый компромисс между действительным, желанным и возможным. Этика отличается от морали тем, что она не беспощадна, а грустна и милосердна.

На всем протяжении существования басен противоборствовали две тенденции. Моралисты, преподаватели, теоретики, идеологи считали первичным элементом басни нравоучительный вывод, а поэты и сочинители — колоритную историю. В этом состязании все чаще побеждали творцы, а не судьи, и жанр медленно, но уверенно двигался в направле-

нии все большей литературности эзоповской басни, приближая тем самым ее закат.

Лафонтен. Эстетика

О Лафонтене, который жил во Франции в ее Золотой век при Людовике XIV, мы знаем несравненно больше, чем об Эзопе. "Король-солнце" не жаловал великого баснописца, но жить давал и, немного помурыжив, даже позволил стать одним из сорока "Бессмертных" — членом Французской академии искусств и наук. И дело было не столько в мещанском происхождении Лафонтена (как-то его даже уличили в самозванстве и собирались оштрафовать, но позднее произвели в служивые дворяне), сколько в его особости, отдельности, недостаточной угодливости (что в абсолютистской монархии — почти бунт). Даже в той литературной корпорации, благодаря которой Лафонтен оказался приближен ко двору, в стане корифеев тогдашнего официального искусства — теоретика классицизма Буало, трагика Расина, комедианта Мольера — Лафонтен смотрелся белой вороной. Приняв в свой узкий круг, они окрестили его "простодушным добряком". Прозвище приклеилось, сделавшись визитной карточкой и защитной грамотой Лафонтена. Поначалу Буало превознес его до небес за искусные подражания в античном вкусе, однако появившиеся вскоре французские басни не принял на дух. Зато Мольер был ими восхищен и считал, что отныне никаким остроумцам и острословам Франции не затмить славу Лафонтена.

Жан Ла-Фонтен родился в провинции Шампань в 1621 году в семье местного "хранителя королевских вод и лесов" (лесничего, по-нашему), от которого лет в двадцать пять унаследовал эту должность. Сын не оценил благодеяний отца — в том числе женитьбы по родительской воле на пятнадцатилетней девице — и не остепенился. Повадки животных или устройство лесного муравейника занимали его куда больше, чем сохранность королевского имущества и собственная семейная жизнь. Супружескими обязанностями пренебрегал, подолгу пропадал в Париже, сочинительствовал и домой наведывался, только чтобы спустить еще какую-то часть имущества, подобно персонажу собственной позднейшей басни "Цикада и Муравей" (в переводе Крылова "Стрекоза и Муравей"). Дошло до того, что его перестала узнавать прислуга жены, как он сам не узнал во встреченном юноше своего выросшего сына.

Между прочим, подобные иждивенчество и беззаботность диктовались статусом тогдашних литераторов и прочих деятелей искусств, которые не смогли бы существовать без высокопоставленных покровителей и заказчиков. И Лафонтен научился использовать их по полной программе. В числе его покровителей и кормильцев — вытащившая его из провинции в Париж племянница кардинала Мазарини и еще несколько сменявших

друг дружку герцогинь; могущественный министр финансов Фуке, нанявший Лафонтена за тысячу ливров в год писать ему по стихотворению в квартал, однако проворовавшийся и репрессированный королем по наущению Кольбера, — имена-то какие, словно из собрания сочинений Александра Дюма! К покровителям может быть причислен опальный герцог Ларошфуко, коллега Лафонтена и автор гениальных афоризмов; дофин-престолонаследник, которому Лафонтен посвятил свой первый сборник басен "Эзоповы басни, переложенные в стихи господином Лафонтеном"; сам Людовик XIV, наконец, которому Лафонтен преподнес свой второй сборник басен; а также приютивший прославленного баснописца на склоне лет его богатый почитатель и депутат парламента, в доме которого он и умер в 1695 году на семьдесят пятом году жизни.

Нам трудно оценить прелесть и своеобразие басен Лафонтена, поскольку стихи непереводимы в принципе. Даже в самых лучших переводах мы видим их как бы через мутное стекло, получая самое приблизительное представление об их форме и содержании. Ну кто, ради бога, переведет обратно на французский язык крыловский пересказ Лафонтеновой басни? Или того круче: как за рубежом разобрать и собрать наше секретное оружие — стихи Пушкина, чтобы в переводах не получить второстепенного поэта, эпигона европейских романтиков? Ровно так же, как мы порой с недоумением взираем на Петрарку или Байрона в русских переводах.

Чтобы стало понятнее.

Скажем, в первоисточнике, басне Эзопа, героями были Муравей и Жук-Навозник. Первый — трудяга, рачительный и запасливый хозяин, второй — паразит, беззаботно проедающий доставшееся ему, по существу... свалившееся на него добро. У Лафонтена Муравью противопоставлен Кузнечик, или Цикада — французский язык не делает различия между этими все-таки разными насекомыми (Cigale, сигаль, цигаль, стрекотун-стрекотушка). Причем Муравей и Кузнечик/Цикада имеют одинаковый грамматический род — женский, что французами воспринимается и может быть переведено на русский как Мурашка и Цикада. Но всплывает другая проблема. Если о рабочих муравьях известно, что это именно "мурашки" — то есть недоразвитые бесполые самки (как и рабочие пчелы), то у цикад и кузнечиков поют-стрекочут только самцы (существовали, кстати, любители вокала этих насекомых, которые держали их в проволочных клеточках вместо певчих птиц). В свою очередь, Крылов как суверен, а не вассал, решительно меняет биологический вид одного из басенных героев и придает их конфликту, как сказали бы сегодня, "сексистский" окрас. У него Муравью противопоставлена Стрекоза — совершенно немое, но удивительно грациозное и женоподобное насекомое, не ползающее, не прыгающее, а летающее и чрезвычайно прожорливое.

Вы почувствовали, что происходит с незатейливой историей при переводе ее с древнегреческого языка на французский и русский, да если еще ее зарифмовать и сдобрить чудным русским просторечием "глядь — зима катит в глаза", отчего глаза на лоб полезли бы у французских классицистов, античных риторов и средиземноморского Эзопа (известно ведь, как поразили замерзшие реки отправленного из Рима в "задунайскую" ссылку поэта Овидия)?!

Лафонтен не просто изложил стихами поучительные истории Эзопа и других античных авторов, древнеиндийской "Панчатантры", средневековых озорных фаблио. Давно окостеневшие сюжетные схемы он присвоил, опоэтизировал, театрально обыграл, отчасти деморализовал, офранцузил и опростил — одним словом, национализировал. Получилось очень свежо и непосредственно, стилистически безупречно, немножко сентиментально, лукаво, мудро — не для королей и законодателей литературной моды, а для народа.

Любопытно отношение к Лафонтену нашего Пушкина, выросшего на французской литературе и без всякого пиетета звавшего баснописца Ванюшей Лафонтеном. Пушкин не очень жаловал басенный жанр. Куда более ему пришлись по вкусу фривольные "декамероновские" истории того же Лафонтена, которыми тот грешил до избрания в академики (пушкинские "Граф Нулин" и "Домик в Коломне" тому порукой). И уж во всяком случае, гораздо выше басен Лафонтена поэт ставил басни Крылова, в которых ценил сугубо русское "какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться". Тем не менее в молодые годы на Пушкина произвели огромное интеллектуальное впечатление лафонтеновские басни "Раздор ["Ссора"]", "Любовь и Безумие", "Дуб и Тростник [в переложении Крылова "Дуб и Трость"]", о чем свидетельствуют его стихи не только лицейского, но и ссыльного периода ("Аквилон", 1824).

Надо сказать, что сам Лафонтен считал "Дуб и Тростник" своей лучшей басней. Даже в виде нерифмованного подстрочника она производит сильнейшее впечатление. Вот как передана гибель Дуба:

"...С края горизонта в ярости налетает самый грозный из детей севера, каких он только взрастил в своих чреслах. Дерево держится прямо; тростник гнется. Ветер крепчает и ему удается вырвать с корнем того, чья голова почти касалась неба, а ноги почти упирались в царство мертвых".

А вот речь Тростника:

"Ветры не так мне страшны, как вам: я сгибаюсь и потому не сломлен. Вы же до сей поры выдерживали их яростный напор, не сгибаясь".

Неизвестно, чего здесь больше, пересказа басни Эзопа или переклички с Блезом Паскалем (который был на два года моложе Лафонтена и не дожил до сорока) — его знаменитым определением сущности, достоинства и участи

человека на земле: “мыслящий тростник”.

Б*асни* “*дедушки*” К*рылова*

Как здравомысленно-лирический Лафонтен являлся ренегатом директивного французского классицизма, так ренегатом прямолинейного русского классицизма стал насмешливо-мудрый Крылов. А иначе, если прибегнуть к басенному сравнению, остались бы они оба Гусеницами и Личинками.

Жизненный и творческий путь Крылова напоминает мертвую петлю.

Родился в 1769 году в семье нищего армейского прапорщика, предположительно в Москве. Оказавшись в четырехлетнем возрасте в Оренбурге, был до смерти напуган “русским бунтом, бессмысленным и беспощадным”, когда Пугачев в ярости, по свидетельству Пушкина, клялся повесить Крылова и всю его семью. Затем злая бедность в Твери с матерью, когда семья потеряла кормильца и малолетний Крылов стал сиротой. Недорослем он отправился на завоевание северной столицы и уже к двадцати годам на диво преуспел в этом. В свои молодые годы Крылов делал то же, что другие: как Фонвизин, писал комедии; подобно первому русскому диссиденту Новикову, завел персональный сатирический журнал (вроде современных блогов); как Сумароков, сочинил несколько басен, о которых впоследствии предпочитал не вспоминать. Однако мрачный закат екатерининской эпохи, еще более мрачный период правления Павла I и материальные трудности на целое десятилетие выбили его из литературы. От греха подальше он укрылся в провинции, где жил у разных покровителей. Здесь, общаясь с людьми самых разных сословий, почитывая и пописывая, он избавился от диктата тогдашней литературной моды и... созрел. Живи он только в провинции или только в столице, такое было бы невозможно. Как не стали бы теми, кем стали: петербургский повеса Пушкин без ссылки, полтавский мечтатель Гоголь без Петербурга и Рима, потерянные Лермонтов и Толстой без Кавказа и войн на юге России, припадочный Достоевский без каторги, а интеллигентный Чехов без поездки на Сахалин и т. д. Омывшись океаном народной жизни, как губка, напитавшись нелитературной речью, Крылов вынырнул в Петербурге в 1806 году законченным великим баснописцем. Опубликовал первые басни, через три года издал первый сборник, еще через два года был принят в Российскую академию.

Фокус был в том, чтобы заговорить по-русски в литературе свободно и раскованно — чего не умели ни имперские классицисты, ни либеральные просветители, ни слащавые сентименталисты, ни дремучие архаисты, ни туманные ранние романтики.

Были Ломоносов, Державин, Карамзин, Жуковский и другие, заслуги которых безмерны, но по-настоящему заставить литературу загово-

рить по-русски в полную силу смогли Крылов, Грибоедов, Пушкин, Гоголь с Лермонтовым, Владимир Даль и так далее. И дело не в лингвистике, а в духе языка — его смекалке, смелости скрещивать стили и порождать новую грамматику, способности свободно оперировать понятиями, жонглировать образами и прочих характеристиках, с трудом поддающихся определению.

Например, русская пословица "Пошла синица море зажигать, моря не зажгла, а славы много наделала" — готовый эмбрион басни Крылова "Синица". Или позаимствованные русскими у немцев базарные лубочные картинки с историей, как Мыши Кота хоронили, — настоящий театр в табакерке! Таковы и басни Крылова — с безошибочным распределением ролей, живыми диалогами и незримым присутствием над сценой кукловода сатирического театра. Часть их разошлась в лубках для простонародья, а совокупный книжный тираж басен Ивана Крылова только в 1830-х годах составил 40 тысяч экземпляров (то есть исчислялся бы многими миллионами по сегодняшним меркам).

В XIX веке российские монархисты, а в XX советские коммунисты приложили недюжинные усилия, чтобы представить Крылова своим "дедушкой" — слегка педантом, слегка маразматиком, которому памятник установлен в Летнем саду. Ан, не получилось — и не получится.

Басни Крылова вошли в золотой фонд и являются одним из краеугольных камней русской культуры — а строго говоря, идентичности России. Перестанете читать Крылова и пользоваться его "подсказками", ставшими мегаобразами, пословицами, поговорками, — перестанете быть русскими.

"А ларчик просто открывался".

"Слона-то я и не приметил".

"А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".

"А Васька слушает да ест".

"Сильнее кошки зверя нет".

Кто не знает демьянову уху, муравья, что "даже хаживал один на паука", или бесстрашную Моську?

С этой Моськой целая история. Считается, что сюжет подсказала Крылову немецкая басня в русском переводе о "дураке", который покрасил осла зеленой краской и водил по улицам, что призвело в городе настоящий фурор. Ерунда какая. Тогда как у Крылова настоящий комический эпос на тему "Россия — родина слонов". И, что интересно, нестареющий.

Пусть читатель простит небольшое отступление. В начале XXI века в одной из бывших прибалтийских республик министром культуры назначили женщину без "верхнего образования", которая както в интервью обозвала Российскую Федерацию "Моськой, которая лает на Слона Евросоюза". Какой цинизм — нашей же басней нас по сусалам! Проходила, значит, в средней школе и запомнила — вот что такое сила слова и сила крыловских образов.

И через двести лет басня "Крестьяне и Река" словно сегодня написана — о нашем государственном капитализме и откатах, а "Воспитание Льва" — о либералах и реформаторах ельцинского периода.

За год до смерти, в 1843 году, Крылов упорядочил свод из 200 своих басен в 9 книгах. Самые важные и удачные, на его взгляд, он ставил в начале и конце каждой книжки, кое-что, наоборот, прятал в середину от сглаза. Звездочками отметил три десятка переводов или подражаний. В действительности, их было несколько больше, но на самом деле они не являлись ни переводами, ни тем более подражаниями (разве что в пушкинско-лермонтовском смысле). Не меньше половины крыловских сюжетов совершенно оригинальны (как "Тришкин кафтан", "Демьянова уха", "Музыканты", "Щука", "Лебедь, Щука и Рак", "Синица", "Муравей" и другие). Он мог черпать их даже из периодики ("Мартышка и очки") или из горячих перипетий большой политики (как замечательный цикл 1812 года — "Кот и Повар", "Обоз" и изумительная басня о Бонапарте и Кутузове "Волк на псарне", которая в русских штабах читалась как боевая листовка, в том числе самим фельдмаршалом: "Ты сер, а я, приятель, сед..."). За тридцать лет тогдашняя цензура не пропустила всего две его басни, которым даже эзопов язык не помог, и только после великих реформ их стали включать в полное собрание его басен. Сам Крылов умел держать язык за зубами и не выдавал своих источников. Множество басен, написанных на злобу дня, он сумел превратить в шедевры на все времена, а люди все допытывались и предполагали:

"Парнас" — это про Российскую академию (где за нее Крылова "прокатили" на выборах и приняли в академики только со второй попытки)? А "Квартет" — это о реформе Государственного совета? Ага, "Воспитание Льва" — это об Александре I. Тогда "Кукушка и Орел" — это Булгарин и Царь, а "Кукушка и Петух" — Булгарин и Греч, тогдашний литературный официоз.

А баснописец отмалчивался или отделывался отговорками от догадок и предположений: быть может, и похоже, но это случайное совпадение и т. п.

Подобно беспечному добряку Лафонтену, Крылов примерил на себя русский халат этакого мудреца на покое, ленивца и обжоры, которому ни до кого и ни до чего дела нет. Висит себе картина криво в изголовье на одном гвозде, ну и ничего — небось не упадет. Хотя, конечно, людей попроницательнее и влюбленных в его басни — таких как Гоголь, Белинский и Иван Тургенев, — этот маскарад не мог ввести в заблуждение.

А молодой Батюшков уже после публикации первых его басен предсказывал в своем "Видении на берегах Леты", что только их вернет река забвения (и действительно, все прочие творения Крылова не пережили своего создателя, увы), покуда сам "Крылов, забыв житейско горе, / Пошел обедать прямо в рай".

Григорий Рыскин
Дэвид Шилдс и его Manifesto

Искусство — это кража.

П. Пикассо

Дарю читателю дюжину кубиков. Он может сложить из них домик, по своему усмотрению. Но лучше оставить все, как есть.

"Ничего в этой книге не произойдет", — предупреждает автор книги "Жажда реальности"[1]. Она намеренно бессюжетна и фрагментарна: "Искусство существует, — говорит он, — чтобы можно было вновь обрести ощущения жизни...: 'Катюша обернулась... сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами'". Подобные "ощущения жизни" являются Толстому на прогулках в Ясной, на медвежьей охоте, в "набеге" на Кавказ. А мы — обретаем их вновь.

Вот наброски к "Хаджи Мурату: "Тень орла бежит по скату горы". "Из куста держи-дерева выскочил козел". Такое понравилось бы Мацуо Басё. Несколько иероглифов — и стихотворение.

Так творил Довлатов, мастер словесных формулировок: "Через минуту появился официант с громадными войлочными бакенбардами..." "У Эви были острые лопатки, а позвоночник из холодных морских камешков..." Самое интересное у него: "Соло на ундервуде", короткие рассказы, колонки редактора. Но когда он решил написать большую вещь, по всем правилам — "Иностранку", — получился водевиль с картонными персонажами и хеппи-эндом.

Дэвид Шилдс утверждает: роман как повествовательное полотно с линейным сюжетом изжил себя. Писать нужно яркими фрагментами, создавать коллаж.

У него немало единомышленников из разных стран и эпох: "Я не стану читать автора, если пойму, что он сознательно хотел написать книгу, — говорит Ницше. — Я буду читать только тех авторов, чьи идеи невольно образуют книгу".

"Думал о том, что Шопенгауэра 'Parerga und Paralipomena' гораздо сильнее его систематического изложения, — говорит Толстой. — Мне не надо писать систему. Из того, что я здесь записываю, выясняется мой взгляд на мир... напрашивается то, чтобы писать

© Григорий Рыскин, 2013

1. David Shields. Reality Hunger. — Penguin Books, 2011.

вне всякой формы: не как статьи, рассуждения, и — не как художественное, а высказывать, выливать, как можешь, то, что сильно чувствуешь".

Именно так, порывисто-фрагментарно, писал прозу Генрих Гейне: "Zu fragmentalisch ist Welt und Leben"[1].

Выходит, постмодернизм был всегда.

Иронический взгляд сквозь очки, бритый бронированный череп — Дэвид Шилдс, автор бестселлеров, не поддающихся жанровой классификации, лауреат премии ПЕН-клуба. Десять его книг переведены на пятнадцать языков. К успеху пробиваются головой. Вымирание жанра традиционного романа, искусственность границы между реальным и вымышленным — его idée fixe: "Мне не нравится быть втянутым в фантастические ситуации романа. Воображаемый мир не интересует меня. Я последователь Беккета. Он понял: современное искусство фальшиво. Он хотел искусства из глубин жизни. Его раздражал Джойс, чей голос казался ему перегруженным модуляциями, слишком ирландским, слишком лирическим, с избытком аллюзий. Беккет хотел прямо обратиться к безумию и безнадежности человеческой экзистенции". Это и есть ЖАЖДА РЕАЛЬНОСТИ.

Книга Дэвида Шилдса построена по полифоническому принципу. Многоголосие сливается в один голос в предпоследней главе MANIFESTO, в которой автор формулирует свой коллажный символ веры.

Обложку этой ошеломляющей книги могло бы украсить лицо старика Беккета, дожившего до восьмидесяти четырех лет. Иссеченное глубокими морщинами, оно напоминает глиняный такыр — коллаж пустыни. Фрагментарность, через которую едва брезжит сюжет, — особенность Беккета. И размытость повествовательного начала. "Я люблю такие новеллы, в которых нет и следа новеллы", — говорит Шилдс.

Как ручей из водоема, Шилдс вытекает из Сэмюэла Беккета. К тому же беккетовское скептическое отношение к религии сквозит и у Шилдса: "Христос родился, был распят, воскрес, вознесся, и с тех пор мы его не видели". Теперь вместе с Владимиром и Эстрагоном — мы все "в ожидании Годо".

Томас Джефферсон поступил вполне в духе Беккета — Дэвид Шилдс с сочувствием говорит о богохульстве отца-основателя американской демократии: "Он прошелся по Новому Завету, удалив все чудеса, оставил только поучения. Возьмите оригинал, оставьте все, что вас привлекает, отбросьте остальное. Получится гипсовый слепок. Не подлинник, а лишь отпечаток, пригодный к употреблению".

Именно такой "редактуре" подвергают концептуалисты творения культуры, вставляя их в свои коллажи. "Искусство — это воровство", — говорит Пикассо, а вслед за ним и Шилдс. Они не видят в этом

1. "Слишком фрагментарны мир и жизнь" (*нем.*).

ничего предосудительного. В энергичных афоризмах автора — призыв к смелости и эксперименту. Тут взрывание всех и всяческих стереотипов: “Если вы хотите писать серьезные книги, вы должны быть готовы ломать формы... Все великие произведения литературы растворяют жанр или изобретают новый”.

Сквозь всю книгу, от начала до конца, проходит противопоставление романа и эссе. Шилдс расстреливает РОМАН в упор и навскидку: “Только одна вещь страшней скуки — страх скуки. И этот страх охватывает меня, когда я открываю роман. Мне нет никакого дела до жизни его героев. Я не вижу стержня в романе. Сама идея ‘характера’ мертва... Сюжет наводит тоску, не имеет ничего общего с реальностью. Почти всегда предсказуем. Песенка романа спета. Он напоминает караоке. Выходит человек, разевает рот (под запись), а кто-то поет вместо него старую как мир песню. Роман — обман”.

Но так считал и Пушкин:

Ей рано нравились романы,
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в ОБМАНЫ
(выделено мной. — *Г. Р.*)
И Ричардсона и Руссо.

Да и “Евгений Онегин” — не традиционный роман, а роман в стихах. “Энциклопедию русской жизни” Дэвид Шилдс, надо думать, отнес бы к жанру “лирического эссе”. Герой — байронический. То есть заимствованный. Главы прерываются лирическими отступлениями. Весь текст — коллаж из онегинских строф... Концовка размыта... “Многоточки... многоточки...” — как говорит у Довлатова эстонская девушка... Чем заканчивается жизнь и судьба Онегина? “Многоточками”... Моцарт считал, что главное в музыке — пауза. Во времена Моцарта в “просветы” вписывали щебетанье птиц. “Евгений Онегин” наполовину соткан из “просветов”.

Многие считают: традиционный РОМАН существует для барышень и дам, чья жизнь — сплошной досуг.

В поезде Николаевской железной дороги Анна Каренина читает английский роман, разрезая книгу костяным ножом. За окнами рогожная жестокость медлительного русского быта. Но я-то смотрю на землю в иллюминатор реактивного джета. У меня под крылом Исландия:

Дальше, к югу,
то есть к юго-востоку,
коричневеют горы,
бродят в осоке
лошади-пржевали;
лица желтеют.
А дальше — плывут линкоры,
и простор голубеет,
как белье с кружевами.

Иосиф Бродский

А между тем многие пишут так, как будто не было Джойса, Беккета, Пикассо, Бродского... Будто для Анны Карениной и Татьяны Лариной.

Современая жизнь скорей дискретна, чем непрерывна. Природа и бытие — разорваны. Разрезаны на клипы. Человек загнал птиц и животных в гетто между железными до-

рогами и шоссе, перекрыл водные пути рыбам и гадам, рвет в клочья джунгли и тайгу. Звери и люди заключены в "фрагменты" лесов и полей.

Интернет и TV разодраны рекламой. Экономический и экологический кризис. Стрессы и страхи. Непредсказуемость будущего. Сомнительность идей прогресса и Великой французской революции. И вообще любых идей. Фрагментарность "мультикультурного" социума. И всем-всем-всем — недосуг. Чтобы молодому человеку выйти на рынок труда, нужно получить "рыночную профессию". А это трудно и дорого. Требует громадного интеллектуального напряжения, бездны времени и денег. Вот и получается: "Романом зачитаешься — в кармане недосчитаешься". "В молодежи, как образованной, так и простонародной, чувствуется демоническое настроение. Бог умер — вот основа новейшего быта", — говорит Бердяев.

Мне нечего сказать
ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я,
в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо!
Переводи бумагу.

Иосиф Бродский

Шилдс считает: РОМАН не соответствует мироощущению современного человека, и потому автор объявляет традиционному роману шах и мат:

"Мне могут возразить: художественная проза устремлена к познанию. Но в чистом виде роман — развлечение. Вот почему я больше не в состоянии читать романы. За исключением тех, которые прикидываются романом, на самом деле таковым не являясь". Автор приводит список англоязычных эссе, замаскированных под роман, куда входит, например, "Орландо" Вирджинии Вулф. Читай Дэвид Шилдс по-русски, он посвятил бы восторженную "коллаж-рецензию" роману Натальи Лайдинен "Другой Париж"[1]: ее клошары разговаривают, как персонажи Беккета:

— Что бы мне написать?
— Пиши: "Голодаю".
— А может, что пожалостливее.
— Не-э, пиши: "Голодаю". А язвы у тебя есть?
— Язвы? Какие?
— Лишай или струпья.
— Да нет вроде.
— А то бы подали больше.
— А у меня вот язвы.
— А может, подлечить?
— Да что ты!
— У Марселя еще ерунда. А вот у Мартина, который на углу, вообще мечта: ноги нет, а вторая — сухая. Ему за день накидают больше, чем нам обоим.

Это и есть жажда реальности: художник берет необработанный кусок реальности и вставляет в контекст, как камень в перстень.

Радикальный манифест Дэвида Шилдса призывает упразднить границы между худо-

1. Наталья Лайдинен. Другой Париж: изнанка города. — М.: Рипол-классик, 2008.

жественной прозой и нонфикшн: “Когда я жестко связан романом как формой, мое сознание отключается, объявляет сидячую забастовку. В раздражении отбрасываю одномерный текст, который не в состоянии передать многомерность моей экзистенции. Современный писатель должен переключать рычаг коробки передач: повествование, медитация, исповедь, репортаж, стихи и т. д. Суть американского характера — стремление передвинуть фронтир”.

Всемирно известный израильский писатель Амос Оз именно так и поступает. Нет лучшей иллюстрации к модернистскому манифесту Дэвида Шилдса, чем роман Оза “То же море”[1]. Причудливая полифония. Литература для искушенного читателя. Выстраивая композицию, Амос Оз изобретателен. Стихи перемежаются с прозой, порядок переходит в хаос, любовь в порно. Сюжета скорее нет. Проза израильского писателя — как кино. Те же принципы монтажа.

У Амоса Оза — проза перекликается с псалмами, Песнью Песней, Книгой Иова. Но чаще из чащи его прозы звучит голос Екклесиаста. Мудрая, исповедальная, безумная книга. Комбинация литературного эксперимента и триллера. Амос Оз решительно отказался от “традиции”.

“Почему традиционный роман вымирает? — спрашивает Шилдс. — Потому что он игнорирует современную культуру... По той же причине кончился рок, а хип-хоп находится в стагнации. Сегодня появляются новые, более впечатляющие формы повествования”. При этом автор не предлагает сбросить традиционную культуру с корабля современности. Напротив, советует приобщаться к ней.

Глава “Хип-хоп” начинается в ритме рэпа:

> Гений заимствует благородно.
>
> *
>
> Хорошие поэты заимствуют,
> Великие поэты — воруют.
>
> *
>
> “Искусство — кража”.

Но тут автор “переключает рычаг коробки передач — и за рэпом следует вдумчивый авторский монолог: “Люди постоянно говорят об оригинальности. Но что они имеют в виду? Едва мы рождаемся, реальность начинает ‘формовать’ нас. Что мы можем назвать СВОИМ? Если подсчитать, что́ мы взяли от предшественников и современников, и вычесть, останется нуль. Мы — коллаж из чужих мыслей и цитат. Но если произнести их своим голосом, окрасить собственным чувством, тогда это НАШЕ. Что такое заимствованное? Это когда вы присваиваете нечто и вставляете в новый контекст. Меняете коннотации. То есть, используя традиционные элементы, создаете дополнительные оттенки значений, ‘созначения’... Искусство, основанное на реальности, угоняет свой ‘материал’, как угонщик — автомобиль, и при этом не извиняется”.

1. Amos Oz. The Same Sea — New York: A Harvest Book, 2002.

Итак, искусство — кража. Как отнеслись бы к этому гневливые поэты Востока?

Он в сердцах порвал на
нем сорочку
И визжал в лицо,
от злобы пьяный:
"Ты украл пятнадцатую строчку,
Низкий вор, из моего 'Дивана'!"

Дмитрий Кедрин *Кофейня*

Дэвид Шилдс находит подобный гнев неразумным. Караоке, например, основано на хищении не одной строчки, а всей авторской индивидуальности. К караоке Шилдс неоднократно возвращается: "Караоке — версия хип-хопа. Минимум мастерства и инструментального оборудования. И вот ты уже исполнитель. Любой и каждый. На диске — чужой 'хит'... Включаешь... делаешь ртом, как рыба, выброшенная на берег. Имитация самовыражения. Аудитория принимает игру: оркестра нет, только запись. Популярная песня давно существует в культурном пространстве. Головокружительное дилетантство. Искусство, лишенное искусства. Единственный элемент оригинальности — уникальность имитатора. Звуковое пространство 'хита' заполняется визгами, выкриками, поздравлениями с днем рождения".

Говоря о массовой культуре, Дэвид Шилдс по-джентльменски сдержан. Он не сноб. Наблюдает и исследует. Он разделяет мнение Жана Бодрийяра: "Цитирование, симуляция, ре-аппроприация — все это не просто термины современного искусства, но его суть". Постмодернизм — это эклектика любых форм и традиций, ортодоксии и авангарда. Поэтому сегодня культуролог не может игнорировать интернет и телевидение — два крыла "масскульта", заключившие в свои объятия — ВСЁ.

"Телереальность" — так называется глава о популярных телешоу, включающих куски жизни.

Одну из программ — "The Extreme Makeover" ("Невероятное обновление") я начал было смотреть, но не смог... Мне пересказала жена. Каждые две недели два "реальных" человека подвергались пластической операции. Кроме того, над ними трудились зубные врачи, заменявшие гнилостные развалины во рту ослепительными голливудскими улыбками. В спортзале, бассейне и сауне счастливцы под наблюдением тренеров убирали "лишние сантиметры" — жировые отложения. При этом за кадром звучали исповеди бывших уродов: как ужасно быть гадким утенком среди лебедей. Камера проходит вслед за страдальцами через все адские муки пластических операций. И вот наконец... МОМЕНТ ИСТИНЫ... Покрывало сдернуто. В присутствии родственников и друзей. Все плачут. Даже "камерамэн" обронил слезу... на камеру... Раз-два-три... "Ты только посмотри!" — позвала жена. Я видел этого парня "до" и "после". Был Квазимодо — стал Кэри Грант. Америка, от океана до океана, стонала и плакала. В Сан-Франциско и Нью-Орлеане остановились трамваи. В

Нью-Йорке "замироточила" Бронзовая Леди (статуя Свободы). Но никто не спросил, а сколько уродов стали уродливее после неудачных пластических операций? И вообще, во что все это обошлось бы реальному бедняге в реальной реальности? Если бы платил из своего кармана...

Таких шоу множество: "American Idol", "American Next Top Model", "The Apprentice"... Удивило вот что. На вопрос "Кем вы хотите быть?" молодежь отвечала: поп-певцом/певицей, моделью, рок-звездой, миллионером (делать по миллиону долларов в год, работая на Доналда Трампа)... И никто не захотел учиться на математика, биолога, химика. Да и по результатам тестирования школьников "великая страна" на 17-м месте в мире по чтению, на 23-м — по естествознанию, на 31-м — по математике. Американцы не только позади китайцев, корейцев, французов. Они пропустили вперед четверку бывших вассалов "империи зла": Венгрию, Словению, Эстонию, Польшу.

Глава "Телереальность" написана менее энергично, чем остальные. Автор верен принципу политкорректности? Так оно и есть: "В 2008-м (год президентских выборов), — сообщает он, — больше американцев проголосовало за шоу 'American Idol', чем за Барака Обаму. 97 миллионов за 'American Idol', 70 миллионов — за президента". Народу оно видней. Против народа не попрешь.

Но Шилдс не был бы автором РАДИКАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАНИФЕСТА, если бы не написал дальше: "Мы хотим, чтобы на телеэкранах была отражена наша хаотичная, суматошная, полная стрессов жизнь. Чтобы завязались актуальные, искренние, острые дискуссии между молодыми людьми — стихийными солипсистами, признающими единственной реальностью лишь свое Я, отрицающее существование внешнего мира". То есть Дэвид Шилдс не освобождает СМИ, ставшие нынче отстойником пошлости, от ответственности за молодежь, дрейфующую от "науки и культуры" в... никуда.

Григорий Соломонович Померанц посвящает этой проблеме эссе с выразительным заголовком "Видеоты", в котором высказывается более решительно: "Телевидение стирает различие между реальным и нереальным, между важным и пустяковым, между истиной и ложью... Разрыв между элитой и массой скорее углубился. Общество делится на зрителей теле-киномешанины и упорствующих читателей... Я не боюсь показаться смешным, я готов вызвать взрыв иронии, но мой проект — это СМИ, научившиеся сеять "разумное, доброе, вечное"[1].

Подобный проект осуществляется в Америке... Я называю его "Телевизионная ассамблея Чаутауквы". Борьба за "упорствующего читателя" в

1. Г. Померанц. Страстная односторонность и бесстрастие духа. — М.: Университетская книга, 1998. — С. 578.

США никогда не прекращалась. В конце XIX столетия Америка была самой просвещенной страной мира, в чем одна из причин ее расцвета. В 1874 году в штате Нью-Йорк, в районе Чаутауква, начался эксперимент по массовому обучению взрослых. Была создана культурная программа под названием "Ассамблея Чаутауквы". В палаточных городках на берегах озер собирались миллионы фермеров, рабочих, домохозяек, чтобы утолить жажду знаний — знание не было классовой привилегией. Тринадцатый канал нью-йоркского телевидения — это "Чаутауква" сегодня. Я двадцать лет поддерживаю эту телестанцию, что обходится мне в 120 долларов в год. Как и миллионам американцев, финансово поддерживающих теле-Чаутаукву. Что бы я делал без нее? Без оперных и театральных представлений, НЕ РАЗОРВАННЫХ РЕКЛАМОЙ... Без симфонических концертов, лекций о теории относительности и теории струны... Без программы "Nature", переносящей меня в Африку, джунгли Амазонки, на дно мирового океана, к созвездиям... Без обзоров театральных постановок и книжных новинок... Именно на тринадцатом я узнал о бестселлере Дэвида Шилдса "Жажда реальности". И неслучайно. Потому что пафос тринадцатого и этой книги — БОРЬБА ЗА УПОРСТВУЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ: "Когда-нибудь появится читатель, — мечтает Шилдс, — интересующийся не тем, к чему взывает писатель, но привлеченный силой его страсти и интеллекта, а также оригинальностью формы".

Тут можно усмотреть призыв к безыдейности. Но Г. С. Померанц рассеивает мое недоумение: "Постмодернизм противится всякому пафосу, его ирония обесценивает, обезвреживает любые идеи, не дает им поработить себя, но в этой иронии есть пафос. Постмодернизм продолжает борьбу Просвещения за эмансипацию от устаревших идей и учреждений"[1].

Читать Шилдса — одно удовольствие. Недаром его книгу как ветром сдуло с прилавков... Этой "занимательной культурологией" зачитываются сегодня в студенческих кампусах:

Фрейд, страдающий от мучительной боли, вызванной раком челюсти, отталкивает руку медсестры с болеутоляющим: "Предпочитаю страдать, лишь бы не мыслить отчетливо".

Все романисты... пребывают в поисках прекрасной иллюзии.

Двигатель романа — иллюзия. Двигатель эссе — МЫСЛЬ.

Искусство — это не истина; искусство — это ложь, помогающая нам узнать истину.

Жизнь — это то, о чем человек думает каждый день.

Все мы бежим от реальности. По сути, это и есть определение homo sapiens.

1. Г. Померанц. Страстная односторонность и бесстрастие духа. — С. 576.

В отличие от романиста, эссеитст не повествует, эссеист говорит о том, что думает, знает, понимает.

После Фрейда и Эйнштейна роман отказался от повествовательности, поэзия — от рифмы, искусство — от изобразительности в пользу абстракции.

Сегодня в центре американской литературы — роман-блокбастер в пятьсот страниц. Пожалейте деревья, которые пошли на бумагу...

Чехов отсек сюжет. Беккет — характеристику персонажа. Отсекать лишнее — именно в этом суть творчества.

У меня есть только одна амбиция: сказать в десяти предложениях то, что романист — в целой книге.

Первооткрывателей всегда легко узнать по количеству стрел, торчащих из их спин.

Сюжет будто утверждает, что все совершается по некой причине, а я утверждаю: "Вовсе нет".

И так далее.

"Жажда реальности" — не унылое поле, засеянное латиницей, а коллаж из солнечных полянок, на которых кувыркается веселое и задиристое Слово.

Даже неулыбчивая нью-йоркская газета "Уолл-стрит джорнэл" не выдержала и отозвалась: "Дэвид Шилдс — по-снайперски меткий, благородно-самокритичный и местами восторженно-радостный писатель".

Послесловие

Хотя бессюжетная композиция книги напоминает запутанный клубок, в нем можно обнаружить "связующую нить": потянешь — и клубок легко разматывается. Автор знаком с русской "формальной школой" (кстати сказать, в списке ссылок в конце книги несколько раз фигурирует В. Шкловский). И развивает ее основополагающий тезис — "имманентное развитие жанра". Виноградов и Эйхенбаум считали: когда конструкция жанра превращается в клише, он сменяется новым, более оригинальным. Износившиеся и неспособные более заинтересовать читателя жанровые элементы должны быть заменены. Распадаются устоявшиеся формы бытия — уходит присущий им жанр. Так, с исчезновением придворной аристократии исчезла и хвалебная ода.

Что бросается в глаза при повторном прочтении Дэвида Шилдса, это обилие реминисценций из наших "формалистов"... Ну, например: "Достоинство стиля состоит именно в том, чтобы доставить возможно большее количество мыслей в возможно меньшем количестве слов". Это Виктор Шкловский. Шилдс просто пересказывает его. Я отнюдь не готов обвинять американского писателя в плагиате (который он понимает как питательную среду культуры, о чем много говорит в своей книге). Да и сам Шкловский взял эту мысль у Веселовского, а тот — у Спенсера.

"Искусство существует для того, чтобы можно было вновь обрести 'ощущение жизни'", —

пишет Дэвид Шилдс. Но это из того же источника: "И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством" (В. Шкловский "Искусство как прием"). Ирония автора по поводу предсказуемости романного сюжета — тоже от Шкловского: "Действие литературного произведения совершается на определенном поле: шахматным фигурам будут соответствовать типы-маски... Сюжеты соответствуют гамбитам, то есть классическим розыгрышам этой игры, которым в вариантах пользуются игроки"... (В. Шкловский "Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля".)

Выходит, Шилдс "вытекает" не только из Беккета...

И еще. Смущает безоговорочность авторских суждений. Но исцеляет Толстой... не хрестоматийный, а живой, то есть разный в разные периоды своей долгой жизни... Оказывается, Лев Никола*ич*, которого мы с Шилдсом взяли себе в союзники, то отрицает роман, то — решительно защищает: "Если бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман — тот самый, который я написал, сначала... Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководствовала потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. ...и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя; а можно только посредственно словами, описывая образы, действия, положения"... (Из письма Н. Н. Страхову от 26 апреля 1876.) А ведь лихой Шилдс (помните?) обещает нам "сказать в десяти предложениях то, что романист в целой книге"... Наверняка задумался бы, если бы был знаком с этим письмом нашего классика.

Противником романа как жанра был Лев Шестов: "...самое обременительное и тягостное в книге — это общая идея. Ее нужно всячески вытравлять... Я убежден, что другого исхода нет, что нужно вновь разобрать по камням наполовину выстроенное здание... и представить работу в виде внешним образом ничем не связанных между собой мыслей" (Л. Шестов "Апофеоз беспочвенности"). Его коллаж философских суждений, по свидетельству современников, произвел в начале 900-х впечатление разорвавшейся бомбы: "Все стали обсуждать с азартом книгу Шестова, — вспоминает И. Корвин-Хорватский. — Но больше всех слушал, как завороженный, Боря Пастернак. Он мне шепнул, расширяя свои прекрасные глаза: 'Тебе этого не понять! А я весь дрожу!'"[1]. Значит, Пастернак знал об отрицательном отношении своего кумира к роману. Что не помешало ему написать "Доктора Живаго", из которого

1. Цитируется по книге: Лев Шестов. Апофеоз беспочвенности. — М.: Изд. Захаров, 2000.

Голливуд сделал потом “блокбастер” с развесистой клюквой сентиментальности и берущей за душу музыкой.

Итак, вопреки всему, РОМАН продолжает жить. Неужели только как реликт? Нет ответа. Не было его и у Толстого...

Дэвид Шилдс вписывает русских “формалистов” в американский контекст... Но не говорит ничего существенно нового. “В эпоху разложения какого-либо жанра — он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин вплывает в центр новое явление (это и есть явление ‘канонизации младших жанров’, о котором говорит Шкловский”, — писал Юрий Тынянов.

Роман хоронили не раз.

И вообще, об “омертвлении больших жанров” говорили еще в I веке нашей эры:

Ты читай, о чем жизнь может
сказать: “вот мое”.
Ни кентавров ты здесь,
ни горгон не отыщешь,
ни гарпий,
А человеком одним
пахнет страница моя[1].

Марк Валерий Марциал

Эти стихи Дэвид Шилдс мог бы поставить эпиграфом к своей книге. Ибо в них — та “жажда реальности,” которой, оказывается, был одержим и римский сатирик Марк Валерий Марциал, живший в период Римской империи и составлявший “коллажи” из своих эпиграмм...

“Искусство работает своим многотысячелетним всепонимающим живым архивом, — говорит Виктор Шкловский, — искусство обновляет память человечества”.

1. Перевод Ф. Петровского.

Пять эссе

Литература в академической роще

История без устали демонстрирует нам, в последнее время довольно неприятными способами, что Россия устроена крайне центростремительно: практически на каждом перекрестке городских улиц или сельских дорог угадываются невидимые билборды с извечным чеховским “в Москву, в Москву”. Во времена Чехова был, конечно, и бюрократический Санкт-Петербург, но Москва уже утвердилась в качестве культурной столицы, и жизнь провинции в сравнении с этой столицей духа была унылой и беспросветной.

За последние двадцать лет эта центростремительность только усилилась в связи с окончательным превращением страны в предприятие по производству одного-единственного продукта, и, хотя продукт качают где-нибудь в Уренгое, денежная река прекрасно знает, куда ей течь, а люди — куда ведет это могучее русло. Культурная жизнь, судя по всему, тоже понимает, с какой стороны хлеб намазан маслом. В советские времена в Москве располагались центральные творческие союзы, издательства и толстые журналы. Сегодня союзы, размножившись, утратили свою центральность, толстые журналы выживают с трудом, но магнитные качества стали только крепче, несмотря на попытки гальванизировать культурную жизнь провинции в Перми или Екатеринбурге, и доступ к воображаемому столичному пирогу вызывает на периферии зависть и ревность.

Этой явно неуклюжей модели многие противопоставляют западную, где, по слухам, таких комплексов нет. Адепту изобразительных искусств, конечно, по-прежнему трудно выжить за пределами Нью-Йорка, но вот у писателей поводок куда длиннее: Уильям Фолкнер творил у себя в Миссисипи, Сол Беллоу большую часть жизни провел в Чикаго, а Хемингуэй вообще жил на Кубе и горя не знал.

В какой-то степени все действительно так и обстоит, но под этой картиной провинциальной полноценности скрывается реальная борьба за существование двух литератур, которые предстают все более отдельными и источники существования которых весьма различны. Последние новости с фронта противостояния сообщает Чэд Харбач, редактор журнала n+1, где и опубликована его статья, а с ее сокра-

© Алексей Цветков, 2013
Совместно с сайтом “inLiberty.ru”

щенной версией можно ознакомиться на сайте "Slate".

Большинство крупных издательств США имеют штабквартиры в Нью-Йорке, и здесь же предпочитают жить многие писатели — Харбач даже называет район Бруклина, где они поселяются, приводящий на память московскую станцию метро "Аэропорт", вокруг которой в свое время давали квартиры светилам советской литературы. Этот разряд писателей, в том числе бесспорных флагманов американской прозы, таких как Филип Рот, Дон Делилло, Томас Пинчон или Пол Остер, а также плеяда многообещающих из тех что помоложе (не все они обязательно живут в Нью-Йорке), связал свою судьбу с издательствами или такими гламурными журналами как "New Yorker", и судьба этих авторов в значительной мере зависит от судьбы их следующей книги — ее публикации и критических отзывов в той же нью-йоркской прессе, рекламной кампании, читательского приема и возможной продажи прав на экранизацию.

Но все явственнее, и уже давно, вырисовывается другая модель литературы, имеющая с вышеупомянутой не так уж много точек пересечения. Ни для кого не секрет, что большинству писателей в США (как впрочем и в остальном мире) на литературные заработки не прожить. Первыми это поняли, конечно же, поэты, чья участь еще менее завидна, и именно они положили начало альтернативе, осваивая высокие научные степени и преподавая в университетах литературное мастерство, как правило, аспирантам. А затем питомцы этой кузницы талантов, в свою очередь, подключились к процессу и стали преподавать курсы для студентов. Так возникла сеть программ MFA, готовящая так называемых магистров изящных искусств — писателей, источник пропитания которых заключается в обучении следующего поколения писателей.

Одной из старейших и наиболее престижных программ этого типа в США является "Iowa Workshop" при университете Айовы. Но она далеко не единственная: если в 1975 году программ, присуждающих степень MFA, было 79, то сегодня их уже 854 — это особенно поразительно в эпоху, когда многие гуманитарные программы в университетах закрываются из-за нехватки средств. Учитывая, что мы живем во времена прогрессирующего издательского кризиса и наступления по всему фронту электронных устройств для чтения, похоже, что модель выживания найдена.

Кризис острее всего ощущают именно писатели традиционной категории, и Харбач приводит некоторые факты в пользу этого аргумента. Писатели, работающие в рамках "нью-йоркской" парадигмы, вынуждены под давлением рынка упрощать свою прозу и больше внимания уделять сюжету. Речь, конечно же, не о писателях, изначально и безоговорочно на этот рынок работающих, — автор отмечает, что репутации многих представителей "высокой" литера-

туры, в том числе, помимо уже перечисленных, Владимира Набокова и Уильяма Гэддиса, опирались параллельно и на рынок, и на университет, но в университетской среде все заметнее преобладает собственная литература, взращенная на своей почве.

В том, что это действительно другая литература, пусть и не отделенная от нью-йоркской непреодолимым рвом, убеждает хотя бы то, что в ней преобладает рассказ — жанр, которого сегодня рынок, окончательно отдавший предпочтение роману, просто не читает. С точки зрения учебной программы рассказ легче обозрим и проще поддается разбору на семинаре, учиться писать (и читать) на примере романа слишком хлопотно. Именно поэтому в антологиях американского рассказа, издаваемых регулярно, университетская проза занимает все более заметное место.

У выпускников программы MFA образ жизни совершенно иной, чем у ньюйоркцев. В нем, конечно, заметно меньше гламура, но и меньше страха за свое будущее. По словам Харбача, писатель, живущий на воле, фактически полностью зависит от судьбы своей следующей книги — особенно такой писатель, который лишь недавно попал в поле зрения культурной столицы благодаря своему дебютному роману. Провал для него может означать исчезновение со страниц журналов и списков издательства, похороны репутации.

Что касается университетских писателей, то их материальный достаток, пусть и не слишком завидный, поддерживает должность, а репутация всегда на плаву благодаря сети обмена лекциями и сотням журналов, публикуемых университетами, — тиражи их крайне невелики, но они обычно пристально следят друг за другом. Это не значит, конечно, что такой писатель не живет в ожидании триумфа и не следит ревностно за рейтингом своей новой книги в Amazon'е. Но для него лишний пункт в этом рейтинге не является решающим, ставкой, в которую вложены все деньги.

Все сказанное совсем не имеет целью принизить или предпочесть одну из этих двух категорий — я не заметил такого намерения у Харбача и не имею его сам. Дэвид Фостер Уоллес, чей безвременный уход американская литература переживает как кровоточащую рану, был представителем университетской литературы, а его друг и коллега Джонатан Фрэнзин, сегодня один из самых популярных романистов, занимает видное место в журнально-издательской. Тем не менее в университетском писательском семинаре вряд ли проявят интерес к Фрэнзину, а многие из авторов, популярных в университетской среде, практически не упоминаются на страницах нью-йоркских журналов.

Никакой непроницаемой преграды между категориями не существует, и писатель волен переходить из одной в другую. Но в последнее время заметнее перебежчики из из-

дательского лагеря в университетский — так, литературная звезда англоязычного мира Зейди Смит недавно дала согласие занять преподавательскую должность в NYU — своего рода компромисс.

Литература обращает наше внимание на слепое пятно в устройстве свободного рынка. В целом она подчиняется его законам, но для этого она должна внимательно учитывать его требования, и, когда все они учтены, для категории читателей, которую представляю, в частности, и я, она практически перестает существовать, кроме как в качестве средства для снятия стресса, телевизора на бумаге, а сегодня все чаще и на экране. То, что мы считаем литературой, штучный товар, во все времена существовало благодаря меценатству, достаточно вспомнить странный симбиоз Вергилия и Августа. В сегодняшнем обществе таких меценатов нет — невозможно себе представить, к примеру, Уоррена Баффета, заказывающего эпическую поэму Дереку Уолкотту, да и что бы мы подумали о таком Уолкотте. Место мецената в Америке занял университет.

Этой модели можно завидовать или критиковать ее, но ее практически невозможно экспортировать. Насколько мне известно, даже в Европе она не очень распространена, а о том, чтобы реализовать ее в России, пусть не в нынешних условиях, а в гипотетических оптимальных, смешно думать. Представьте себе, скажем, Татьяну Толстую, обучающую хитростям построения сюжета студентов Воронежского университета, — у нее, кстати, был американский опыт, о котором она вспоминала без восторга. Или Эдуарда Лимонова на каком-нибудь далеком сибирском кампусе.

Объект под охраной

Много лет назад покойный Василий Аксенов предложил мне, в числе прочих, подписать петицию в защиту британского писателя Салмана Рушди — уж не помню сейчас, где она была опубликована, но не в этом дело. К тому времени я еще не успел прочитать ни единой строчки, вышедшей из-под его пера, но история с его книгой “Сатанинские стихи” и лицензией на его убийство, выданной аятоллой Хомейни всем правоверным, была слишком хорошо известна. Я, естественно, подписал, даже принял участие в составлении текста петиции.

Впоследствии я попытался познакомиться с творчеством Рушди непосредственно и не испытал особого восторга — это я отмечаю сейчас не в порядке спора, а как простой факт, мало ли у кого какие вкусы. А “Сатанинские стихи” просто не одолел до конца, придумал себе какое-то другое занятие. Тем не менее это никак не отразилось на моей оценке собственного прежнего решения. Аятолла, велевший своим клевретам угробить писателя, на художественные достоинства книги обращал меньше всего внима-

ния, и наша петиция была не в пользу хорошей литературы и в ущерб плохой, а в защиту свободы слова. Свобода внутри либерального общества, по крайней мере в соответствии с законом, — не качество, подлежащее сравнению, а в равной степени достояние каждого, писателя в той же мере, что и почтальона. Тот, кто затыкает рот одному из нас, лишает голоса нас всех.

О дальнейшей судьбе Рушди я узнавал из отрывочных сообщений СМИ: о том, что он скрывается, что ему, как свидетелям на судебных процессах по мафиозным делам, присвоена фиктивная личность и что ему придана личная охрана за счет британского налогоплательщика. Надо сказать, к некоторому своему стыду, что я все эти годы не очень задумывался над механикой этой операции по спасению одного конкретного человека в конкретной стране на фоне неприятностей, ежедневно и неизбежно постигающих многих остальных. А впервые задумался, прочитав рецензию Зои Хеллер в NYRB[1] на недавно вышедшие мемуары Рушди под названием "Джозеф Антон", в которых он описывает годы своих страданий. Чистосердечно признаюсь, что мемуаров этих, в силу уже упомянутых непростых отношений с автором, я не читал, а рецензия окончательно укрепила меня в этом решении. Кстати говоря, не обязательно из-за личных человеческих качеств автора, о которых несколько слов придется сказать, но из-за них тоже.

Мемуары, если кто еще не слышал, написаны в третьем лице, и уже это настораживает. Рушди приводит доводы в пользу такого приема: дескать, это позволяет придать повествованию более художественный, романный характер. Невольно дописываешь в уме, что от такого приема можно ожидать более объективного, может быть, даже критического отношения к герою. Но это ошибка, никакая критика в виду не имелась, от нас ожидают восхищения и попустительства.

Прежде всего о фиктивном имени, которое он выбрал для себя сам. Правительству Ее Величества не составило бы труда выдать Рушди паспорт на имя какого-нибудь Джона Смита, но для художника с тонким вкусом это было бы, конечно, оскорбительно. Поэтому виртуоз слова проделал кропотливую работу по отбору, и в конечном счете взял себе имя Джозеф (у Конрада) и фамилию Антон (от имени Чехова), тем самым ненавязчиво зачислив себя в определенный ряд, из которого долженствовало следовать, как к нему относиться. И конечно же, его не могло не раздражать, когда неотесанные телохранители, поправ любовно изваянный титул, окликали его просто "Джо".

Чем занимается человек, угодивший в такую незавидную ситуацию? Мы, конечно, не ожидаем, что известный

1. Zoë Heller. The Salman Rushdie Case // NYRB, Vol. 59, Num. 20.

писатель пойдет служить скромным счетоводом в безымянную контору, этим он признал бы фактическую победу мракобесов. Он, надо полагать, сидит на затемненной явке и работает с текстами. Но не всегда. Потому что надо еще успевать на встречи с зайчиками "Плейбоя", поп-звездами, развлекать гламурных подружек, нужно успеть вовремя сменить прежнюю жену на новую модель — то есть в прямом смысле, модель с международной репутацией Падму Лакшми. Трудно удержаться от цитаты, чтобы стало понятно, что именно охраняли агенты Скотленд-Ярда, оплачиваемые из налогов скромных счетоводов из безымянных контор.

Он ел в "Бальтазаре", "Да Сильвано" и "Нобу", он посещал кинопросмотры, его можно было видеть веселящимся в ночных заведениях вроде "Мумбы", где Падму хорошо знали... Лишь живя открыто, на глазах у всех и бесстрашно, так, чтобы об этом везде писали, он мог противостоять атмосфере страха вокруг себя, которая теперь, на его взгляд, была куда более серьезным препятствием, чем какие бы то ни было остатки иранской угрозы.

Как видим, мало в чем отказывал себе Джозеф Антон из того, что абсолютно необходимо настоящему писателю его калибра, Конраду, например, или Чехову. А не отплясывай он с Падмой в "Мумбе", ехидно замечает Зои Хеллер, террористы, глядишь, и победили бы.

Впрочем, с ней мне в сарказме не потягаться, и желающие (владеющие английским, конечно), могут проверить. В конечном счете меня интересует здесь не фигура самопровозглашенного гения, а вот этот факт его бесстрашия за счет налогоплательщика, поскольку охранять объект с Падмой в "Мумбе" обходилось явно дороже и хлопотней, чем если бы он строчил свое нетленное в уединенной мансарде.

У государства, будь оно даже минималистским вариантом либертарианской модели, есть перед гражданами долг, возложенный на него общественным договором: разумная гарантия их физической безопасности. В обычных условиях эта миссия поручается полиции и вооруженным силам, но иногда случаются чрезвычайные обстоятельства, как, например, уже упомянутые программы охраны свидетелей в судебных делах, где этим свидетелям могут угрожать неприятности в случае дачи показаний. Довольно часто речь идет о весьма неприглядных субъектах, таких же мафиози, как и подсудимые, и тем не менее законопослушным гражданам приходится раскошеливаться на дорогостоящую программу охраны ради торжества правосудия.

Но принцип защиты имеет свои пределы, и в обычных условиях мы, в том числе самые законопослушные и добродетельные, не вправе рассчитывать на чрезвычайные меры. Если мне позвонил по телефону злоумышленник и пригрозил убийством, я, конечно, извещу полицию, но это не значит, что мне выделят персо-

нальную охрану и я смогу бесстрашно отправляться в "Мумбу" с Падмой или хотя бы со сговорчивой соседкой. И если у звонившего были действительно серьезные намерения, он таки может получить шанс меня застрелить. Полиция попросту не в состоянии снабдить вооруженным эскортом любого, кто опасается за свою безопасность.

Почему же в таком случае охраны удостоился Салман Рушди — неужели потому, что британское правительство разделяет его мнение о самом себе и полагает его Конрадом и Чеховым наших дней, а стало быть, достойным защиты любой ценой? Судя по тону его мемуаров, сам он недалек от этой мысли, но я бы его разочаровал. Высшей ценностью в либеральном обществе, по крайней мере по замыслу, является человеческая личность, и эта ценность не зависит, по крайней мере теоретически, от состояния банковского счета личности, масштабов ее тщеславия и того факта, что его Падму хорошо знают в "Мумбе". Трудность заключается в том, что таких личностей в Соединенном Королевстве десятки миллионов, на каждую приходится малая часть общих ресурсов, всем соломки не подстелишь.

Но существуют принципы, на страже которых либеральное государство должно стоять еще бдительнее, чем на страже конкретной личности, и в этом нет ни парадокса, ни противоречия. Это гражданские свободы, из которых одной из важнейших является свобода слова — именно на нее посягнул аятолла, и, хотя в данном случае ее олицетворением послужил конкретный Салман Рушди, это мог быть кто угодно. Рушди явно не подозревал, на какую подводную мину он напоролся, а аятолла не имел представления о литературных достоинствах продукции британского писателя и о самом его существовании, до того как его внимание привлекли к инциденту. Вполне возможно, что аятолла не подозревал даже о существовании Конрада и Чехова.

В этом смысле план всей операции по охране угрожаемого объекта никак не зависел от реальных или воображаемых талантов Рушди, по идее он ничуть не изменился бы, окажись на месте нашего героя кто-нибудь другой, не обремененный столь злокачественным самомнением, коль скоро предметом конфликта оказалась бы свобода слова. На его месте вполне мог оказаться неосторожный репортер, помянувший всуе имя пророка, — напомню, что дело было задолго до 11 сентября 2001 года, в вегетарианские времена. Британское правительство встало на защиту принципа, а не человека, и оно этот принцип отстояло, несмотря на то что его олицетворением оказался мелкий, самовлюбленный и тщеславный человек, возомнивший себя передним краем обороны всего прогрессивного человечества. Оглянувшись назад, нельзя утверждать, что эта победа была без потерь, но главной потерей оказалась всего лишь одна дутая репутация. Впрочем,

это не потеря — просто издержка.

Место действия

В незапамятные времена, когда я впервые прибыл в Америку и был помещен в специальный питомник для таких же примерно найденышей, в моем распоряжении, помимо города Нью-Йорка (на который у меня катастрофически не хватало денег, и так уже будет, видимо, до финальной черты), оказался телевизор, черно-белый ящик с десятком стандартных в ту пору программ. Нужен он мне был не только и не столько как средство развлечения, но и как окно в новый мир, где я неожиданно и бесповоротно оказался. Я тогда еще лишь смутно догадывался о дефектах такого рода оптики.

В окне я увидел много неожиданного, в том числе фильм "Братья Карамазовы" Ричарда Брукса, в котором экзотический лысый Юл Бриннер в роли Дмитрия, в надраенных сапогах, медвежьей шапке и с неразлучной гитарой, пускается в различные алкогольные эскапады на фоне заснеженной Руси-матушки. Тут я догадался, что образ России, которую я покинул, не обязательно совпадает с тем, который запечатлела в своем сердце западная аудитория. Думаю, что догадался бы и Достоевский, настаивавший на манере Дмитрия, отставного офицера, одеваться с иголочки.

Годы спустя мои друзья, владельцы известного в то время зарубежного издательства русской литературы, предложили мне перевести на русский тогдашний американский бестселлер, детектив Мартина Круза Смита "Парк имени Горького" о приключениях сотрудника советского угрозыска Аркадия Ренко, которого судьба к тому же свела с диссидентами. Смиту следует отдать должное: свой роман он не взял из воздуха, а написал под впечатлением недельной туристической поездки в Советский Союз, под непременным тогда официальным присмотром, из которой он выжал все возможное, но возможного оказалось не совсем достаточно. Было, однако, понятно, что западное понимание России медленно дрейфует в сторону аутентичности. Недоставало, однако, встречного усилия: в то время как западная художественная литература, так или иначе, упорно выбирает Россию местом действия, по капле выдавливая из себя клюкву, российские попытки выбрать западную страну местом действия крайне редки, большей частью сводятся к пасквилю и клюквой изобилуют.

В эссе, опубликованном в британской газете "Observer"[1], писатель А. Д. Миллер размышляет над извечной притягательностью России в качестве места действия художественных произведений, причем не только вышедших из-под пера русских классиков, — действие собственного дебютного романа автора

1. The Observer, Saturday, 18 December 2010.

происходит в России в штормовые постперестроечные годы. Речь идет уже не о клюкве, и Миллер, в частности, обходит вниманием "Доктора Живаго" с арабским красавцем в ведущей роли и перевернутым "я" в надписи на Юрятинском вокзале. Он отмечает новейший пласт литературы на русские темы, поднятый писателями-эмигрантами и детьми эмигрантов, такими как Ольга Грушина, Гэри Штайнгарт или Дэвид Безмозгис. И он разводит руками по поводу того, что современная русская литература остается в англоязычном мире практически неизвестной: "Эпоха Путина, — отмечает он, — в целом не располагает к великой литературе".

Что же касается само́й великой литературы, то можно привести многие примеры вдохновения, почерпнутого западными авторами в России — например, "Дом встреч" Мартина Эмиса, где сюжет развивается на фоне ГУЛАГа, ленинградскую серию Хелен Данмор и роман Джеймса Мика "Народный акт любви" о гражданской войне. Интересен список классиков у Миллера: помимо канонической тройки Толстой-Достоевский-Чехов он упоминает Василия Гроссмана, чья известность на Западе намного превысила его отечественную популярность, судя по всему, из-за панорамности письма, хотя его персонажи, на мой взгляд, никогда не вырываются за пределы двух измерений.

Но это детали — главный вопрос для Миллера заключается в том, почему именно Россия привлекает такое внимание западных литераторов и аудитории. Частично этому виной чисто климатическая экзотика, контраст между жестокой зимой, загоняющей все живое в норы, и летом, которое восстанавливает течение жизни. Россия, с точки зрения европейца, проверяет человека на выживаемость, но главный секрет тут, конечно, не в погоде, а в истории.

Трудно отделаться от мысли, что эта история в призме литературы представляет собой некую параллель климату в своей жестокости — или, напротив, климат играет роль метафоры в этой истории. И проба на выживание оказывается на поверку моральной. Для многих западных читателей, равно как и писателей, представляющих читательские интересы, персонаж с российским прошлым олицетворяет горнило испытаний, пройти через которое случалось мало кому из наших современников, да и среди российских современников таких сегодня практически не осталось. И человеку, уцелевшему в этом аду, полагается обладать нравственными качествами, будь то со знаком плюс или минус, раздвигающими рамки любого реализма. Он просто просится на страницы романа-эпопеи, и, если этот роман не пишет российский писатель, а он его сегодня, конечно же, не пишет, за него берется англичанин или американец.

Фундамент этого образа, конечно же, заложен в значительной мере теми же Толстым и Достоевским, и поэто-

му современный русский литератор, видимо, вправе слагать с себя ответственность за чужие художественные поступки. Не говоря уже о том, что в неослабевающем интересе Запада к России немалую роль играет отдающая все той же клюквой экзотика, от кровожадной и корыстной мафии до сибирского шаманизма.

И тем не менее интерес реален и неподделен, и клюквы к нему примешивается все меньше. Недавно во Франции впервые вышла в переводе книга Юлия Марголина "Путешествие в страну зэка", через сорок лет после смерти автора и через шестьдесят — после ее первой эмигрантской публикации по-русски. Ее автор, уроженец Белоруссии, в 1939 году эмигрировал в Палестину, но вернулся некоторое время спустя навестить родственников, был застигнут советским наступлением на Польшу и отправлен в ГУЛАГ. Его книга стала фактически первым подробным свидетельством о практике сталинизма, задолго до Роберта Конквеста и Александра Солженицына, но в те времена у нее не было аудитории на Западе. Сегодня эту книгу не найти на полках российских книжных магазинов, мода на такие мемуары прошла, а об авторе нет упоминания в русском варианте Википедии, хотя есть статья в английском. Когда-то мы добывали подобные книги с риском если не для жизни, то для свободы, а те, к кому они в первую очередь были обращены, игнорировали их, усматривая в них клевету. Теперь полюса магнита поменялись.

Если, как утверждал Гамлет, весь мир театр, то России слишком часто выпадает роль сцены — к ублажению публики, сидящей в партере, но не обязательно действующих лиц. Сегодня у театра явные проблемы с репертуаром, и его, по мере сил и возможностей, Запад восполняет сам, причем не только в области художественной литературы. Уже упомянутый Мартин Эмис в книге "Коба Грозный" попытался нарисовать портрет Сталина (характерным образом не вызвавший никакого интереса в России), а единственная по сей день история ГУЛАГа принадлежит перу американки Энн Эплбаум.

Странным образом, вопреки законам рынка русская литература вовсе не идет навстречу его ожиданиям, и Миллер, скорее всего, неправ, виня времена Путина. Обостренный внешний спрос почему-то совершенно не ощущается на внутреннем рынке, и его в меру своих сил удовлетворяют на месте писатели-эмигранты вроде Грушиной и Штайнгарта, но их ресурсы в этом плане очевидным образом ограничены, а собственно российский продукт в переводе явно не по вкусу аудитории — на моей памяти несомненным успехом в США были отмечены лишь два первых романа Б. Акунина, отчасти благодаря грамотной рекламной кампании издательства.

Наличие этого спроса, как я попытался показать, вовсе не требует создания специаль-

ного экспортного варианта русской литературы. Были времена, когда она была достаточно универсальной, и те же Толстой, Достоевский и Чехов по-прежнему остаются кумирами западной интеллигенции вовсе не потому, что они специально на нее ориентировались. Эмигрантской литературе последних советских десятилетий мешал, возможно, чрезмерный накал проповедничества и несведенные личные счеты, в результате барьер пробили только Солженицын с Бродским, а плотный модернизм Саши Соколова был явно ошибочно воспринят как повторение прошлого.

У сегодняшней русской литературы этих барьеров нет, но нет, видимо, и интереса к расширению аудитории. Вернее даже сказать, что у нее нет серьезного интереса именно к тем историческим и моральным проблемам, которые Западу представляются наиболее узловыми и характерными для огромной страны на восточном фланге, и такими же представлялись нам — еще недавно. Великая триада отбила нам вкус к эпигонству, который тем не менее победил.

Очень хотелось бы убедиться в ложности собственных предчувствий, но даже если Россия окончательно провалилась как исторический проект, нет никакого закона, по которому та же судьба должна постигнуть его литературную часть. Потому что законы движут массами, но сам по себе каждый человек свободен.

Потерянный в переводе

"Мы живем, под собою не чуя страны", — написал поэт, и этот начатый при нем эксперимент продолжается по сей день. Лучшим индикатором стал сам Осип Мандельштам, чье 120-летие мы отмечали каждый в сугубо частном порядке — контраст с пропагандистской истерикой, поднятой по поводу не столь давнего юбилея Пушкина, но контраст, наверное, уж слишком резкий. А между тем в российской культурной колоде более сильных козырей не так уже много, но духовность, судя по некоторым клерикальным проклamациям, съежилась сегодня до надзора за фасонами женской одежды во избежание чрезмерных выплесков либидо у озабоченной части крестоносцев.

Так оно, видимо, и к лучшему, поскольку Мандельштам, разобранный на цитаты с официальной правкой, выглядел бы еще гротескнее Пушкина. А теперь нам предстоит в стороне от государственной машины, если чадящий примус вправе претендовать на такое название, отметить еще одну дату — 15 лет без Иосифа Бродского.

Серьезной биографии Мандельштама у нас до сих пор нет — это связано, конечно, с особенностями его жизни, поскольку значительная часть относящихся к ней документов лежит в архивах далеко не литературного свойства. Бродскому в этом смысле (хотя, конечно, не только в этом) повезло больше, в США только что опубликована книга по-

койного Льва Лосева “Бродский: жизнь в литературе”, переведенная с русского и удостоенная рецензии “со звездочкой” в журнале “Booklist”, обслуживающем книготорговлю и библиотеки. Мне, увы, не удалось найти ее на прилавках книжных магазинов Нью-Йорка, но нет оснований сомневаться, что это та же самая книга, которая вышла несколько лет назад в серии ЖЗЛ.

Бродскому повезло еще в том смысле, что на протяжении многих лет рядом с ним был талантливый и преданный ему человек, собиравший по крупицам факты его жизни и впечатления об этой жизни явно с дальним прицелом, хотя он, как и все мы, был ошеломлен, узнав, что прицел на самом деле оказался не таким уж дальним. Иосиф Бродский скончался 56 лет от роду, оставив нам, в числе прочих, загадку своего упорного невозвращения.

Есть, однако, в этой близости ловушка, и Лосев, несмотря на американскую профессорскую выучку, постулирующую максимум объективности, в нее угодил: уже на первых страницах своей книги он предупреждает читателя, что речь пойдет о гении. Но мы бы и не взяли книгу в руки, если бы не считали ее предмет достаточно важным, а подобный анонс сразу предупреждает о характере информации, которую в книге искать бесполезно — речь не о “компромате” (хотя и до него нашлись бы охотники), Бродский все-таки не был кинозвездой или премьер-министром, а о возможных сомнениях, от которых не должен быть застрахован ни один из наших кумиров по эту сторону обожествления.

Биография Бродского в некотором смысле уникальна не меньше, чем его творчество, и я имею в виду вовсе не общие места, процесс, ссылку и высылку из страны — эта судьба, а то и похуже, постигала в те годы многих. В сегодняшней России поэтические выступления и даже фестивали стали рутинным событием, но мне вспоминается, например, выступление Бродского в Московском энергетическом институте, уж не знаю через какие каналы согласованное, где публика состояла вовсе не из одних товарищей по перу, а после чтений организовали сборы в шапку. Хотя бы отчасти Бродскому удавалось жить неофициальным литературным трудом в ситуации, которая этого принципиально не допускала — еще до того как Эдуард Лимонов начал продавать свою самиздатовскую книгу. И противоположный этому полюс — Нобелевская премия, а затем небывалое назначение на должность поэта-лауреата США.

Но даже это — всего лишь внешние обстоятельства биографии художника, реальную оценку диктует его творческое наследие, и лично мне очевидно, что Бродский был одним из крупнейших русских поэтов прошлого столетия. Но этой внутренней очевидностью не с каждым поделишься, потому что строгих доказательств нет, и даже посмертная судьба поэтов очень часто зависела

от конъюнктуры: репутация Пушкина, например, никогда так низко не котировалась, как в первые десятилетия после его смерти — стараниями Писарева и К°. Я знаю людей, которые всегда относились к творчеству Бродского с любовью, равно как и таких, кто воспринимает его с подозрением и отторжением, но это, конечно, конъюнктурой не назовешь, она просматривается в синусоиде, постигшей восприятие этого творчества в последние годы: волна эйфории и энтузиазма после премии и у истоков перестройки, нашедшая себе выражение в ряде эпизодов явного эпигонства, а затем некий откат в гиперкритицизм, если здесь применим термин библейской археологии. Сегодня мы все же ближе к точке равновесия и объективности, но это "мы" относится к русскоязычной аудитории. Интересно взглянуть, как обстоит дело с репутацией поэта за пределами русского языка, и публикация перевода книги Лосева — вполне легитимный повод.

В рецензии на книгу Лосева[1] поэт Адам Кирш пишет, что поэзия Бродского вызывает у молодого поколения американских поэтов недоумение, его не цитируют и ему не подражают, а некоторые критики, особенно в Англии, склонны вообще отметать его как случайную фигуру. Этот факт, на мой взгляд, русскоязычной аудитории поэта практически неизвестен и некоторым может показаться неожиданным — на своем родном языке Бродский сегодня разобран на цитаты, и я не помню случая, чтобы в компетентной компании оброненная строка из стихотворения не была тут же кем-то подхвачена. Кирш, чья заметка выдержана в духе объективности и почтительности, не предпринимает попытки объяснить эту странную асимметрию, но он предоставляет в наше распоряжение все факты, необходимые для такого объяснения.

Бродский, как отмечает тот же Кирш, не овладел английским в той степени, в какой это удалось, скажем, Набокову, и на то есть вполне объективные причины — он стал всерьез заниматься языком лишь в зрелом возрасте и, конечно же, не имел в детстве английской бонны. Примерно в той же ситуации оказался в свое время Джозеф Конрад, что не помешало ему, однако, стать одним из крупнейших английских прозаиков. Но Конрад, после не очень удачных опытов на французском, пришел в английскую литературу без багажа, дебютантом, и без труда принял предложенные правила игры, как и подобает большому художнику, в ходе игры эти правила изменил.

Бродский, однако, прибыл в США уже сложившимся поэтом, у него сразу вышли там два сборника из числа его лучших, и правил он, насколько можно судить по его наследию, не принял — по крайней мере далеко не все. К этому времени в английской поэзии традиционная метрика пере-

1. Adam Kirsch. Nowhere Man // Tablet, Dec. 2011.

живала не самый звездный свой период — верлибр доминировал, а из прежних размеров уцелел разве пятистопный ямб, редко с рифмой. Трехсложные размеры, всегда считавшиеся несколько маргинальными, просто вышли из употребления, а излюбленный Бродским дольник воспринимался и воспринимается как раешник, пригодный разве для юмора — или для Роберта Сервиса, фаворита широких масс, чьи баллады наперебой читали друг другу Рональд Рейган и канадский премьер Брайан Малруни.

Что касается поэтического перевода, то он следовал тому же принципу — упор был исключительно на передачу "содержания" тем же верлибром, а форма игнорировалась во избежание искажения и пародийного эффекта. Бродскому эта ситуация явно пришлась не по сердцу, он постепенно отказался от услуг переводчиков и стал переводить свои стихи сам, тем же дольником, а затем и писать им по-английски.

Как мы видим сегодня, это была ошибка. Среди русских поэтов XX века в англоязычном пространстве популярнее всех Ахматова и Мандельштам, но практически никто, даже среди весьма эрудированных людей, не имеет представления о том, как они писали на самом деле. Тут просто сложилась некая тавтологическая конвенция, которая в том и состоит, что надо доверять сложившемуся мнению. Бродский выбился из этого ряда именно тем, что переводил и писал сам, и поэтому нынешнее поколение поэтов воспринимает его не в одном ряду с Ахматовой и Мандельштамом, а как своего, без дистанции перевода и в силу особенностей его английской поэтики неадекватного.

Говоря по совести, я не знаю, как эту ситуацию исправить и подлежит ли она исправлению — поэт, что называется, сам "раскрылся" и пропустил удар. По-русски его стихи не понесли от этого ни малейшего урона, но в чужом контексте они проиграли именно из-за неловкой попытки в него втиснуться.

Можно, конечно, заметить, что я выбрал несколько странную тему для юбилейного эссе, но оно адресуется вовсе не англоязычной аудитории. Как бы ни старались переводчики, поэзия в экспортном варианте умирает, а имена постепенно стираются. Есть, конечно, контрпримеры, вроде знаменитых римлян, но они-то выжили тысячелетиями потому, что теоретически мертвая латынь была все эти века живой и обиходной, а когда она действительно умерла, Лукреций и Вергилий нас покинули. Все, что случается с поэтом за пределами родного языка, даже посмертно, — факт его биографии, а не поэзии. Без живого контекста поэта нет, и его юбилеи навсегда прекращаются. И этот контекст — только мы с вами.

Точка бифуркации

К моменту выхода в свет первого тома "Мертвых душ" Го-

голь уже пользовался в России широкой известностью, он принадлежал к числу тех, чьих новых произведений активно ждали. Тем не менее, если мне не изменяет память, первоначальный тираж книги составил 4 тысячи экземпляров.

А вот другая литературная судьба, из противоположного полушария. Герман Мелвилл тоже успел снискать себе некоторую популярность среди американских и британских читателей повестями о приключениях в южных морях на материале собственных странствий. Но его шедевр, "Моби Дик", вышел в трех с небольшим тысячах экземпляров. На самом деле тут есть существенная разница, потому что новые издания Гоголя выходили затем регулярно и все бóльшими тиражами, и в скором времени книгу стали переводить на иностранные языки. А три с хвостиком тысячи Мелвилла так и не были распроданы на протяжении всех последующих сорока лет его жизни.

Напомню, что первое издание "Мертвых душ" вышло в стране, где грамотность была роскошью для немногих, тогда как в США времен публикации "Моби Дика" она была достоянием большинства. Это обстоятельство, казалось бы, должно было сработать в пользу Мелвилла, но не сработало. И если дать себе труд задуматься, в этом нет ничего удивительного — напротив, многое объясняется. В России грамотная часть населения практически совпадала с читающей и претендующей на "культурность", это было дворянство, духовенство и еще немногочисленные в ту пору разночинцы. В США то, что мы называем элитой (употребляя это слово не в нынешнем российском, а в общечеловеческом смысле), составляло лишь малую часть читающей публики, у которой уже появились свои излюбленные бульварные жанры — массовыми тиражами и по сходным ценам. Между тем "Моби Дик" не только вызывающе элитарен, он предвосхищает многие черты модернизма, до которого оставалось еще полвека пути. Мелвилл стремглав угодил в только что открывшийся водоворот массовой культуры. Он умер прочно забытым, и отсчет его настоящей славы начинается лишь с 20-х годов прошлого века, когда американское литературоведение фактически открыло его заново.

Не вся популярная литература была эскапистским жемчугом — есть яркий контр-пример "Хижины дяди Тома" Харриет Бичер-Стоу, книги скромных литературных достоинств, но огромного нравственного резонанса и небывалых миллионных тиражей. И тем не менее контраст выходит разительный. В России Гоголь прочно завоевал себе всеобщую любовь, но он снискал себе судьбу скорее продукта внутреннего потребления, на международном рынке его сильно потеснила череда последующих русских гигантов. У Мелвилла же в американском XIX веке практически нет соперников, все прочие классики вроде Готорна или Эмерсона толпятся в не-

котором почтительном отдалении даже с нынешней точки зрения, хотя они-то были в свое время вполне популярны и никакого резкого провала в этой популярности не испытали — скорее нечто вроде пологого гиперболического склона. Более того, Мелвилл в каком-то смысле создал Америке национальный миф и символику, что особенно роднит его с Гоголем, — вот только он в своем высоком романтическом экстазе пренебрег существенным атрибутом читабельности и сюжетности, в чем Гоголю, напротив, никак не откажешь. И нельзя ведь сказать, что не умел — приключения на островах свидетельствуют об обратном.

Недавно вышедшая книга Майкла Кернса "Писатели улицы, писатели мансарды"[1] посвящена описанию творческой позиции и судьбы двух главных столпов американской литературы XIX века, двух адептов высокой литературы на пороге (а точнее — уже за порогом) торжествующего масскульта, Германа Мелвилла и Эмили Дикинсон. Сходство между ними очевидно, оба писали без малейшей попытки потакать читателю, но и различие существенно: Мелвилл фактически поставил крест на собственной карьере сравнительно рыночного автора, тогда как Дикинсон упорно сопротивлялась любым попыткам прижизненной публикации ее стихов. Обе репутации — результат посмертной реконструкции. Есть там, правда, и третий герой — поэт Уолт Уитмен, один из первых сторонников новой конъюнктуры, мастер саморекламы и потакания. Тем ироничней, что его неустанные попытки понравиться хотя и принесли плод, но довольно скромный: и Мелвилл, и Дикинсон явно его обошли на этой дистанции.

Интересно вот что: они, судя по всему, понимали не хуже Уитмена, что оказались на развилке дорог, и сознательно выбрали более тернистый путь. Раньше, когда этой развилки не было, выбор не был обязательным. Шекспир сегодня почти единогласно почитается как один из пиков высокого искусства, но прижизненные постановки его пьес привлекали все слои населения, там было достаточно фарса и словесной клоунады для не слишком высоколобых — сегодня этот эффект почти полностью стерся из-за эволюции поп-культуры и языка, но я тем не менее был свидетелем того, как англоязычная аудитория, значительная часть которой явно избежала в школьные годы слишком близкого знакомства с творчеством Барда, неоднократно взрывалась хохотом в ходе представления "Гамлета" — порой даже там, где автор необязательно это предусмотрел.

Именно так все и происходило на протяжении большей части известной нам из письменных источников истории,

1. Michael Kearns. Writing for the Street, Writing in the Garret: Melville, Dickinson, and Private Publication. — Ohio State University Press, 2010.

хотя первая развилка, на которую мы сейчас не очень обращаем внимание, была приурочена именно к возникновению письменности. Устный фольклор, остатки которого мы еще недавно кропотливо собирали, на самом деле не всегда блещет художественными достоинствами, эти сказки похабны и примитивны, пока их не обработают какие-нибудь братья Гримм, а песни сильно зависят от того, кому попадут на язык. Письменность установила новые правила, но эта литература развивалась лишь там, где грамотность перестала быть узкой классовой прерогативой — богатая западная традиция, к примеру, получила привой от античной, а в Греции и особенно в Риме грамотность была распространена как нигде прежде и много позднее.

Перелом наступил с изобретением книгопечатания — здесь я не открываю ничего нового, но поначалу ощущалась острая нехватка популярного "контента", тиражировалась в основном духовная литература, разного рода сонники и памфлеты, и лишь постепенно стал развиваться жанр романа, которому тоже нужно было время, чтобы спуститься с первоначальной высоты к массовому потребителю. Мелвилл угодил как раз в эпоху, когда основные бульварные модели были уже изобретены и сданы в эксплуатацию.

В Россию, ввиду узости ее читающей публики, развилка пришла с опозданием, и Толстой с Достоевским еще не чувствовали острой необходимости выбора, их аудитория почти совпадала с объемом читательской массы. Это не означает, что "народной" литературы не было. Поначалу этот узкий спрос удовлетворяли пресловутые французские романы, и Эжен Сю, например, был одним из заметных формирующих факторов в творчестве Достоевского. Набирала силу, впрочем, и доморощенная "светская повесть", а Некрасов и Панаева добывали средства для своего вполне серьезного журнала писанием бульварной литературы — странный симбиоз, параллель которому в других странах подобрать трудно.

Эпоха модернизма окончательно закрепила бифуркацию. Выбор Джойса, Пруста или Элиота становится определяющим не только для самого автора, но и для читателя — это не обязательно означает, что мы, любители Джойса, никогда не опустимся до детектива или фэнтези, но обратные случаи почти невозможны. Интеллектуальный багаж можно на минуту отстегнуть, но на минуту пристегнуть — никак не получается.

Эта революция была неразрывно связана с удешевлением и массовостью носителей информации, от Гутенберга до интернета и айпода. Максимальная дистанция была достигнута в области изобразительных искусств, где произведение уникально и по-настоящему не тиражируется, здесь местами дошло почти до полного разрыва: можно что угодно воображать себе по поводу "Черного квадрата" Малевича или писсуара Дюшана, но эстетически наслаждаться

ими затруднительно. Впрочем, порок платит дань добродетели — отсюда китч, либо простодушный, как у Джека Веттриано с его "Поющим дворецким", либо мимикрирующий под концепт, как у Фернандо Ботеро.

Сомнительная ситуация, в которой оказалось сегодня высокое искусство — явно встроенная антиномия демократического рыночного общества, и я не знаю пока ни одного успешного способа эту антиномию решить, чешскую попытку нашить футболок из шкуры Франца Кафки вряд ли можно отнести к числу успешных. Постмодернизм в широком смысле пытался ее снять путем заигрывания с массовой культурой, но литература сделала для себя исключение и тут, возведя на пьедестал Томаса Пинчона с его минимальной с точки зрения улицы читабельностью и неподъемным багажом эрудиции.

Капитализм, по выражению австрийского экономиста Йозефа Шумпетера, — это "творческое разрушение", традиции при нем приходится туго. Но есть области, и литература на мой взгляд одна из них, где приз получает тот, кто отвергает оптимальное экономическое решение. Иногда, увы, посмертно.

Григорий Стариковский

Мраморная крошка, или Итальянские каникулы

Борису Ривкину

Ц*юрих*

На церковных башнях золоченые циферблаты. Ни один часовой механизм не забегает вперед, не отстает от своего собрата на соседней кирхе. Хоровое пение времени. В витринах — часы наручные, часы настенные, морские хронометры. Абсолютное совпадение секундных стрелок, — они вышагивают, как солдаты на параде. Ать-два, ать-два, равнение на нерушимое расписание пригородных поездов, на тарабарствующие трамвайные звоночки (ах, я забыл, помалкивают цюрихские трамваи, ходят бесшумно, почти крадучись, точно шпионят). Каждому механизму — *айзернес кройц*[1], за выслугу, за рьяность без запаха, каждому — по дополнительной капле смазки. Вперед, вперед, не оборачиваться, скучные пасынки смерти...

Хмурый полдень. Праздник. Магазины заперты. Цюрихцы сидят по домам. Привокзальный Цюрих — зал ожидания размером с полгорода. Туристы, нищие. Транзитная душа поспешает, озирается на циферблаты, боится пропустить поезд в Штутгарт, Женеву, Лион, Милан; наскоро осматривает то, что положено осматривать: если занесло сюда, значит, крути головой, осматривай — здесь собор, а там река, дальше озеро приальпийское. Пасмурно. Неужели Швейцария? Куда подевались горы? Голо все, голо в такую погоду. Путешественники с физиономиями обманутых вкладчиков. Где тот город, который нам обещали путеводители? Где разбег и размах веселых штрассе? Не то, не то — обыденная, серая паутина улиц. *Васиздас* на замке́, часовых дел мастер возвратился домой из кирхи, переговорил с соседом, а теперь гладит пса и тянет пиво из фамильной кружки с широким раструбом.

В центре, недалеко от главного собора, несмотря на празд-

© Григорий Стариковский, 2013.

1. Железный крест (*нем.*) — немецкая военная награда.

ник, открыта кондитерская. Развязный оберкельнер, весь словно на шарнирах, предупредителен до мерзости: “У нас есть несколько свободных столиков, закажите себе что-нибудь, ну хоть горячего шоколада, почувствуйте себя цюрихцем”. Зал небольшой, приплюснутый. За соседним столиком — импозантный старик в шелковом кашне. Он только что допил кофе; теперь ворошит густую шевелюру и перелистывает “Нойе цюрхер цайтунг”. Возле окна сидят жизнерадостные китайцы, отчаянно жестикулируют, показывая на эстамп с танцующей немкой: цветастая юбка задралась выше колен, немка смеется, румянец заливает щеки.

От главного собора, в котором цицеронствовал Ульрих Цвингли, по мощеной улочке в гору несут деревянный крест. Невысокий мужчина средних лет в коричневой куртке, обхватив лакированный брус левой рукой, придерживает его подбородком, склонив голову набок, как Давид Ойстрах, исполняющий скрипичный концерт Баха. Он несет крест аккуратно и расчетливо. За ним движутся люди, несуетливо, незаносчиво, без лихорадочного блеска в глазах. Со стороны кажется, что это — заурядная прогулка, как будто они каждый день проделывают один и тот же моцион: мужчина взваливает на плечи крест, а остальные следуют за ним, глядят себе под ноги или в сторону. Человек с крестом уводит толпу в небо, туда, где заканчивается взлобье холма. А Цвингли, утконосый мученик, убитый в 1531 году в битве на Каппельской равнине, когда 7000 солдат католических кантонов устроили цюрихским протестантам кровавую бойню, тот самый Цвингли, указуя на свет, льющийся из витражей, кричит им вслед: *Всемогущий, сострадающий, вечный Боже, чье слово – лампада моим стопам, свет стезям нашим ...пролей свет в наши сердца, дабы постигли мы в чистоте и ясности слово Твое.*

Белинзона, Белинзона

Поезд десять раз умирает и рождается заново, выныривая из тоннелей, из сургучевых подвздоший альпийских громад. Не выпускаю из рук камеру — печатлею: озеро, полустанок, кирхи, сосновые шевелюры отрогов, облака, похожие на защитные аэростаты в Москве 41 года. Около окна сидят молодые поляки: у нее на коленях коричневый плед, она тоже впивается в глазок фотокамеры, знай нащелкивает, а он — на голове копна лежалой соломы, глаза мутные — откупоривает одну за другой бутылочки швейцарского пива. В окно не смотрит.

Проезжаем водопады и грязные, как бы подгнившие, закраины ледников. Альпийский лед может быть грязным, пепельным почти, похожим на мартовскую наледь в парке между “Войковской” и “Водным”. Велосипедист нарезает круги вокруг озера, как будто изогнутой спиной заново изобретает колесо. Флагшток с жирным белым перекрестьем. Снова грязца ледников, поко-

реженные стволы деревьев, но тут маленьким чудом выныривает часовенка — толстостенная, как будто напялили на нее три овчинных полушубка; вместительность — меньше, чем в лифте пуэрториканского гетто. И сразу свежестью дохнуло, арбалетно-копейщицким Средневековьем. Вот он, вот он, допорхнул-таки дух схоластов и каменщиков. Двое коренастых немцев в высоких сапогах (увидел широченные голенища — захотелось нажать стоп-кран, выпрыгнуть из поезда и броситься к ним) выводят из конюшни крупную гривастую лошадь. Один немец кормит ее с руки, а другой — расчесывает гриву блестящим черным гребнем.

Рядом сидит улыбчивый румын, посверкивают золотые коронки. Обращается ко мне по-итальянски. Радуется, как ребенок, когда слышит, что по-итальянски я говорю намного хуже, чем он, хотя и его познания в языке Данта оставляют желать лучшего. "Твой итальянский ужасен", — делится он своими наблюдениями. "Конечно, ужасен", — охотно соглашаюсь я. Недалеко от Сен-Бернарского перевала подходят к нему два высоченных молодца в комбинезонах, с автоматами наперевес; приглашают проследовать за собой в тамбур. Устраивают тщательнейший досмотр, перекапывают вещи, проверяют документы, созваниваются с шефом. Румын возвращается на место довольный: документы в порядке. Наискосок сидит старуха в дубленке и цветастом платке. Цыганка не цыганка, кто ее разберет? Платок надвинут на глаза, если, конечно, две слезливо-нагловатые щелки можно назвать глазами. Кондуктор, плешивый очкарик профессорского вида, совершает обход. Подходит к старухе. Старуха кланяется, теребит край плисовой юбки: "Грацие, фрателло[1], фрателло, фрателло". Фрателло — после каждого слова. Кондуктор обращается к ней по-итальянски: "Сударыня, будьте добры, предъявите ваш билетик". Она снова принимается за свое: фрателло, фрателло — и заискивающе так спрашивает: "Белинзона, Белинзона?" А он ей: "Билетик где ваш до Беллинцоны? — Продолжает: — Если билета нет, извольте заплатить штраф, столько-то франков". Наконец, она понимает, чего от нее хотят; глазные щелочки чуть расширяются, взгляд нахален и нечист: "У меня всего три франка, вот, возьмите". Кондуктор брезгливо отворачивается, идет дальше по вагону. А она давай снова причитать "Белинзона, Белинзона". Беллинцона — городок в итальянской Швейцарии. Затертое горами ущелье немецкой Швейцарии расширяется, у горных хребтов открывается второе дыхание. За окном вместо кирх — выштукатуренные кампанилы, с которых исчезли циферблаты: время постепенно останавливается. Поезд выползает из последнего тоннеля, и мы въезжаем в Италию. Первая остановка — Лаго

1. Фрателло (Fratello) в переводе с итальянского — брат.

ди Комо. Сразу обдает тихим, предвечерним сиянием, а слева ангельской грунтовкой голубеет озеро.

Мантуя

В 1470 году Леон-Баттиста Альберти спроектировал глубокую, как омут, триумфальную арку, вступая в которую — между коринфскими пилястрами фасада — попадаешь как бы по ту сторону камня, в торжество полусвета. Триумфальная арка растягивается, как каменная гармонь, до самого алтаря — тоннель с пайковым рационом солнца, процеженного сквозь люнеты. Этажи света, от которого теперь лоснится трансепт, не входили в проект Альберти: через двести лет Филиппо Юварра насадил купол на высокий барабан и впустил своры солнечных лучей. Чтобы представить себе, как выглядело детище Альберти, требуется осведомленность, помноженная на стереометрическое чутье, о котором пишет Мандельштам, что глядящий должен догадаться, как выглядела базилика Сант-Андреа без этого купола и еще без двух-трех достроек.

Хочешь увидеть, как строили римляне или зодчие Возрождения? Взгляни with your mind's eye[1] и домысли то, что видишь перед собой въявь. Без этого предзнания-догадывания Италия так и останется страной с хорошей кухней и приятными видами из окна. Косвенное доказательство — один из самых вдумчивых пассажей Джорджо Вазари: "Гуманитарные науки служат... величайшим подспорьем всем художникам [*и всем, кто ищет встречи с мастерами*]... ибо без них не может обладать совершенным суждением человек, который, хотя по-своему и одарен природой, но лишен благоприобретенных преимуществ, а именно дружеской помощи, оказываемой ему хорошим литературным образованием". Человек, способный домыслить увиденное, становится сотрапезником итальянских художников и зодчих.

Здесь каждая пядь земли румянится на перекрестных жаровнях тысячелетий, каждое деревце неслучайно. Вот тянутся в небо высоченные ломбардийские тополя, медленно кивают автобусу из Кремоны в Мантую. Наклоняются друг к другу, переговариваются между собой тихо, сочувственно. Ведь это же сестры Фаэтона, оплакивающие смерть брата, который погиб неподалеку, выпал из солнечной колесницы и утонул в реке По. Тополиные сестры заламывают скользкие ветви. А вот кусты дикой калины. Еще шестьдесят лет назад местные крестьяне пересказывали легенду о Деве Марии: она прокляла калину, когда та еще была деревом, потому что из ее древесины изготовили крест, на котором распяли Иисуса. После проклятия калину, некогда высокое дерево, разжаловали в кустарники.

Мантуя — как помятая треуголка, в нимбе серо-голубых озер,

1. Очами души твоей (*англ.*).

отороченных тростниковыми зарослями: земля вокруг плоская, как столешница, ни одного выступа, только далеко на севере в ясный день всплывает нечеткий абрис горной гряды. Там — озеро Гарда, которое, по выражению Д. Г. Лоуренса, "в своей любознательности раздвигает горы, пытаясь проникнуть поглубже в Альпы". Там — Верона, Тренто, Виченца. Южнее Мантуи — за рекой По — начинается Эмилия-Романья. До Модены рукой подать, а в Модене — автомобильные заводы, сыроварни, а главное — широкие бульвары, прекрасная, породистая тень ложится щедрыми мазками на асфальт, средневековые львы охраняют фасад романского собора.

Мантуя отрезана от главных туристических маршрутов: до Венеции, Пармы, Болоньи, Равенны добраться можно только с пересадкой. Городской вокзал — игрушечный, электрички — полупустые. Пейзажи выморочные, как на картинах Жана-Франсуа Милле. Приезжающие сюда из соседней Вероны попадают в заштат: полуобморочную итальянскую провинцию с отвратительным климатом; в провинциальный городок, отрезанный от остальной Италии озерами с севера-запада-востока и пыльными нивами — с юга. Посконное ломбардийское герцогство. Налет провинциальной гордыни. Представляю себе, как отплевываются заезжие эстеты, когда после ультрамарина Венеции, после голубизны Лаго ди Гарда они оказываются здесь, вблизи озер, вода в которых даже при самой тщательной солнечной подсветке никогда не теряет неряшливой серости. Недаром английский писатель Эдвард Хаттон[1] сказал: "Нечто от неподвижности и безгласия ее озер опускается на этот город огромных горизонтальных пространств, город светотени и полнейшей тишины. Постепенно, незаметно Мантуя ветшает в сырости своих лагун и уходит от нас медленно, тихо, постепенно, мало-помалу, как проходит сновидение".

Улицы Мантуи неброски и неотзывчивы. Палаццо ди Джустиция и Дом Джулио Романо, который выстроил этот особняк для себя по собственному проекту (*с причудливым*, по выражению Вазари, *наружным фасадом, отделанным цветной лепниной*), напоминают посольства упраздненных государств. Романо похоронили в церкви Сан-Барнаба, и не нашлось никого, кто бы воздвиг памятник художнику и архитектору, спасшему Мантую от гнилой воды, заливавшей город, поднимавшейся в некоторых частях до четырех локтей; в болотной воде месяцами водились лягушки. Это Джулио Романо поднял уровень улиц, снес ветхие постройки и на их месте, на поднятых по его приказу улицах, выстроил высокие, добротные дома *для пользы и удобства города.*

1. Эдвард Хаттон (1875–1969) — английский романист и автор путевых очерков; много писал об Италии.

Брачный Чертог (Camera degli Sposi) в Палаццо Дукале расписан великим падуанцем Андреа Мантеньей, придворным художником мантуанских герцогов Гонзага. На плафоне, как в колодце, голубеет римский окулюс, глядящий в небесный круг, единственный круг чистого неба на всю Мантую. На краю балюстрады сидит павлин — символ Юноны, богини брачных уз. Облокотившись на балюстраду, смотрят вниз хозяйка дома и ее рабыня негритянка. Стоящая рядом кадка с апельсиновым деревцем, кажется, вот-вот свалится на голову посетителю, который задирает голову, чтобы повнимательней разглядеть плафон.

Здесь, в Мантуе, Мантенья пишет свою "Юдифь". Вот она стоит светло-розовая, возле расшитой золотом палатки, опускает голову Олоферна в мешок, который держит служанка, изогнутая в полупоклоне. В правой руке Юдифи — еще теплый клинок. На белом пеплосе — персидская синь накидки. Ее лицо похоже на театральную маску. Кроме темной головы Олоферна и коричневого нутра палатки, полотно Мантеньи — в чаду утреннего сияния. Это — выход из сумерек на библейский просцениум. Убей своего врага и — настанет утро.

На поздней картине Мантеньи "Мертвый Христос" следы приозерных мантуанских сумерек: в глубоких, одеревенелых складках покрывала, в морщинах, как будто проведенных резцом по костяным лицам плакальщиц, в их искривленных ртах, даже в сквозных ранах, оставленных гвоздями. Сумерки выдумал мантуанец Публий Вергилий Марон, который подарил нам пастушескую Аркадию в своих "Буколиках", сказочный край, местами очень похожий на окрестности Мантуи, на водоразделы морщин на картинах Андреа Мантеньи.

В*ергилий*

В 1844 году чичероне-мантуанец подводит Чарльза Диккенса к статуе Вергилия на пьяцца Вирджилиана и заявляет не без кичливости: "Вот он, *наш* поэт!" — "Туземец даже шляпу сдвинул набекрень в порыве гордости", — констатирует ироничный Диккенс. Столетием ранее местный крестьянин, показывая Шарлю де Броссу[1] домик, в котором будто бы родился Вергилий, уверяет француза, что дом этот носит имя "древнего герцога мантуанского, который некогда был королем народа, прозванного поэтами. Тот король, по словам крестьянина, сочинил уйму книг, и, по мере написания, отсылал их во Францию". — "Какие же они тупицы, эти мантуанцы", — всплескивает руками де Бросс. На площади Эрбе стоит огромный красно-белый куб, на одной из сторон которого выведены слова *Mantua me genuit*[2].

1. Шарль де Бросс (1709—1777) — французский историк.
2. *Мантуя родила меня* – начальные слова эпитафии Вергилия.

По Корсо Гарибальди выходишь за городскую черту Мантуи, пересекаешь железнодорожные пути и сразу же, на первом перекрестке, поворачиваешь налево, на узкую асфальтовую дорогу, в сторону фермы “Корте Берсальо”; она же — гостиница и ресторан. Идешь довольно долго, мимо теннисного клуба, тира, стоянки для трейлеров. В “Корте Берсальо” находится школа верховой езды: конюшня, навесы с кормушками. В ресторане выбор небогат, предлагаются два основных блюда: макароны с томатным соусом и ризотто мантовано, промасленная рисовая кашица с кусочками рубленой говядины. В комнатах незатейливая деревенская мебель: кровать, стул, стол, тумбочка. Над раковиной надпись *нон потабиле*: воду пить не рекомендуется, она действительно отдает какой-то гадостью. Окна выходят в поле, на краю которого — выводок тополиных плакальщиц. Потенциальных съемщиков прельщают рыбной ловлей, но рыболовство в озерах запрещено. Иные, впрочем, находят места поукромнее, затаиваются в высоких прорезиненных ботфортах в гуще осоки. Один такой рыболов напугал меня ночью, когда, перепутав двери, вошел в мою комнату, небритый, неся перед собой пивное пузо, объемистое, величиной с хороший бочонок.

Здесь, возле “Корте Берсальо”, заканчивается асфальт и начинается проселок. Позади трейлерной стоянки проселок забирает вправо, упирается в чугунную ограду, за которой — полуразрушенные, замусоренные летние домики и каменное, похожее на бастион, строение, возведенное лет семьдесят назад при Муссолини, пустующее, увитое диким плющом. От излучины проселка скатывается под гору тропинка, которая подводит к самой кромке озера. Грязи намешано по щиколотку. Сыро, припахивает стоялой, подгнившей водой. Навстречу несутся несколько лошадей. Всадники — осанистые немцы с хлыстиками. Величавы и надменны. За кавалькадой бежит черный лохматый пес... Вскоре тропинка поднимается, выводит из низины в поле, к предвечернему солнцу. Первыми попадаются на глаза несколько ульев на краю поля, и ты наконец понимаешь, зачем пришел сюда. За полем начинается поселок: два ряда домов по обеим сторонам улицы виа Парма. Это — Андес (Анды). Здесь — или где-то совсем рядом — родился Публий Вергилий Марон. Считается, что когномен[1] Марон происходит от имени этрусских священников. Вергилий и вправду священнодействовал на сумеречной латыни.

От поселка рукой подать до озера. Земля между поселком и озером либо ущербная, исковерканная, каменистая, либо — ближе к озеру — заболоченная и мягкая, *обметанная* тростниками:

1. Когномен — фамильное имя у римлян, стоявшее на третьем месте. (*Прим. ред.*)

Хватит земли,
даже если она
камениста повсюду,
если болотный камыш
обступает илистый выгон...

Вергилий. *Буколики.* 1.47–48

А в озерных заводях плавают лебеди, те самые сладкозвучные мантуанские лебеди:

Имя твое донесут до небес
лебединые стаи
к самым созвездиям, Вар,
лишь бы Мантуе дали пощаду.

Вергилий. *Буколики.* 9.27–28

* * *

В восьмом круге "Ада", в Двадцатой песни, Данте с Вергилием разглядывают прорицателей и астрологов. Безгласые прорицатели плачут. Их головы повернуты назад. Вперед они идти не могут, потому что видят только то, что происходит у них за спиной. Вот они и пятятся все время, наказанные за умение предсказывать будущее. Среди грешников — Амфиарай и Тиресий, который, пока был жив, сменил мужской пол на женский, а потом снова на мужской. Но больше всего Вергилий, провожатый Данте, говорит о прорицательнице Манто, дочери Тиресия. Вергилий не забывает мельчайших подробностей: "Она закрывает свою грудь, которую ты не видишь, растрепанными косами". Манто поселилась там, где родился Вергилий. Римский поэт упоминает озеро Бенако, то есть Лаго ди Гарда, потом — реку, вытекающую из Лаго, то есть Минчио; говорит о verdi paschi, зеленых лугах, узнаваемых каждым, кто ездил на электричке из Мантуи в Верону; о заболоченных низинах и о тлетворном воздухе в округе. Здесь и обосновалась Манто, на сухой земле посреди трясины. Люди, поселившиеся в этих краях, назвали сушь Мантуей, в честь прорицательницы.

* * *

Дождливым вечером, на пьяцца дель Эрбе, где торгуют футболками с физиономиями Муссолини и Джастина Бибера, где заезжий люд сидит под маркизами и чинно поедает равиоли, кажется, что и город этот похож на свою основательницу; с головой, повернутой назад, Мантуя пятится, пятится, пока не исчезает в дымчатом тумане, только купол Сант-Андреа все еще плывет над озерами.

Верона

Венецианский лев, охраняющий пьяцца дель Эрбе, в Вероне не к месту. Покой гибких, ладно сложенных веронских фатов, которые фланируют по центральным улочкам или сидят за рулем холеных автомобилей, поджидая холеных подруг, должна охранять статуя египетской кошки. Тонкие, самоуверенные веронские фаты. То, что однажды сказал Д. Г. Лоуренс об итальянцах, относится в первую очередь к веронцам: они верят, что сотворены по образу и подобию Божию, что имен-

но в помрачающей ум стройности, телесной жовиальности осуществилось предначертание Господне. Таким, наверное, тяжко жить после сорока, когда божественная корочка морщится, трескается.

Был ли когда-нибудь составлен каталог оттенков веронского мрамора? Есть мрамор миндального цвета, с белесыми потеками, извивами. Мраморный срез — древняя карта мира, а белые загогулины — это озера, реки, снежные шапки вершин. Розовый мрамор на портале веронского Дуомо в дождь похож на жирную лососину. В тени мраморное мясо приобретает бледно-красный оттенок, но даже в тени удается разглядеть прожилки, артерии, вены. Веронцу достаточно посмотреть на образцы мрамора, который добывали к северу от города, чтобы научиться всем световым оттенкам красного, научиться не только цвету, но и технике рисования. В прожилках мрамора можно уловить, вспомнить почти забытую полюбившуюся музыкальную фразу. В церквях мрамор пахнет ладаном, как руки священников. В веронской церкви достаточно приблизиться к мраморной глыбе, чтобы поучаствовать в богослужении. Так пальцы органиста еще не коснулись клавишей, но ты уже слышишь музыку.

Верона — южный город в предгорьях Альп; она то холодна в виду альпийских вершин, то горяча, когда солнечные лучи зализывают румяный веронский мрамор. Над римским амфитеатром кроваво-красный летучий змей пропархивает, как огромная средневековая моль. Гёте, посетив амфитеатр, записывает: “Я увидел нечто великое и в то же время не увидел ничего... Когда амфитеатр пуст, непонятно, велик он или мал. Публика и есть убранство театра”. Верона — это амфитеатр навыворот, в котором все строения и мосты разыгрывают первую часть “Фауста”.

Домик выдуманной Джульетты с выдуманным балкончиком смотрится довольно нелепо. Когда вокруг все *настоящее*, дворик и статуя Джульетты выглядят фальшиво, приторно-гадко. Залапанная, вытертая до блеска грудь Джульетты. Посетивший эти края Чарльз Диккенс партикулярно озирается в поисках Монтекки и Капулетти, но видит лишь крикливых гусей да свирепого пса, который оттяпал бы ногу любому Ромео. Диккенс ищет могилу Джульетты в старинном монастырском парке. Женщина, стирающая белье, указывает Диккенсу на бетонную конструкцию, напоминающую небольшую цистерну: “La tomba di Giulietta la sfortunata”[1]. Благодарный Диккенс отсыпает женщине несколько монет. “Скорее радует, чем разочаровывает то, что никто не помнит, где Джульетта обрела покой”, — заключает английский писатель.

Причем здесь Шекспир? Шекспир здесь вообще ни при чем. Легче представить в Вероне Скарамучча и Пульчи-

1. “Могила несчастной Джульетты” (*итал.*).

нелла на передвижных подмостках, чем трагедию о Ромео и Джульетте. Если и разгуливают по городу тени, то это — отнюдь не Монтекки и Капулетти. Скорее — неукротимый призрак вихрастого Катулла, пробирающегося в спальню к своей зазнобе. Пусть она — коротконожка, пусть рот ее слюняв, пусть она форменная идиотка, не чета Лесбии, пассии № 1, — Катулл прикармливает цепного пса куском мяса и проскальзывает к пуэлле[1], не во имя любви, но ради самой прогулки по темным улочкам Вероны, ради остывающей мостовой и прохладного женского тела.

Город в кипарисовой накипи. Кто-то сравнил кипарисы с кладбищенскими деревьями, но это не так, в них есть что-то ван-гоговское, желание дотянуться до солнца, поиграть ярко-желтым клубком, как дети играют в мяч возле привокзальной церкви. Кипарисы — гении места — протягивают охранную грамоту ветра красным кровлям палаццо и брусчатке площадей. Гёте подбегает к кипарису, отламывает ветвь и гуляет по Вероне, не выпуская ветку из рук, как будто это — золотая ветвь Энея.

Гёте не нравятся обитательницы Вероны. Он изучает их с дотошностью гарнизонного фельдшера. "У местных женщин приятный овал лица, — признает Гёте, — но в большинстве своем они бледны", а наличие zendale[2] только усугубляет отрицательное впечатление, "поскольку под этим прекрасным головным убором надеешься отыскать нечто очаровательное". "Нет, веронские женщины не ровня женщинам из соседней Виченцы", — заявляет сластолюбец. Это в Виченце он обнаруживает *вполне симпатичные создания.* Хороши брюнетки. Встречаются блондинки, но они не в его вкусе...

Анри де Ренье сравнивает веронские кипарисы с воинствующими монахами. Для де Ренье горьковатый запах, источаемый деревьями, — источник неясной, но глубокой радости. Другой француз (не помню кто) сказал, что Верона сгорает, как похоронный костер вожделений. Ну да, город, умирающий каждый вечер среди кипарисовых длиннот.

Венеция

В Венеции льет дождь. Непрерывный поток туристов тянется от вокзала Санта Лючия к площади Сан-Марко. В первой попавшейся кондитерской покупаю венецианскую меренгу, фисташковую, едва умещающуюся на двух ладонях, приставленных друг к другу, как книга, раскрытая на середине. Прячусь от дождя в арке, разламываю застывшую белковую с прозеленью пену надвое. Сладкая пыль сыплется на мостовую, и дождь смывает фисташковые потеки в соседний канал. Вливаюсь в шествие паломников со всего света, надвигаю на лоб капюшон дождевика, расчех-

1. Пуэлла (Puella) в переводе с латыни — девушка.
2. Zendale — шаль для покрытия головы и плеч (*итал.*).

ляю маленький черный зонтик. Вода, падающая с неба, — плоть от плоти малахитовых венецианских каналов. Кроссовки охотно пропускают влагу, струйки воды проникают за воротник. Забегаю в магазины, отсиживаюсь в церквях, потом все-таки выхожу на улицу, снова плетусь в толпе, промокаю насквозь, выбрасываю горе-зонтик.

Захожу в боковой переулок, безлюдный, тесный, в котором дождь не столь безжалостен. Мостовая упирается в канал, ступеньки уходят под воду. Достаю из рюкзака намокшую карту. Дальше идти некуда; надо возвращаться на муравьиную тропу. Я оказался в месте слияния двух каналов, рядом с небольшим причалом, возле которого покачиваются две-три гондолы. Дома по обеим сторонам канала — подагрические, хмурые, как бы оплеванные. Вот появилась старуха с авоськой и тут же исчезла в арке. Я чувствую, что тысячи бирюзовых глаз пристально смотрят на меня из воды.

* * *

Возможно, самый венецианский текст в истории литературы — это "Федр", диалог Платона, написанный задолго до основания Венеции, рассуждение Сократа о природе души. Здесь, среди островов, в виду прозрачных площадей и озябших зданий, легко вообразить, что душа твоя покинула тело. В Венеции нетрудно выскользнуть из телесной оболочки, извиться сигаретным дымком, проплыть над шевелюрой пожилого владельца остерии, улыбнуться старику, нарисовавшись в воздухе слоистой, дымчатой подковой. Здесь вольготно выбирать какое хочешь обличье, превратись хоть в тень Данте из стихотворения Брюсова — *превратись в опаленный лик, не мертвый, но просветленно-страстный, будь не стариком, не мальчиком, останься без возраста, случайным отблеском будущего*[1]. Не хочешь быть Данте, будь Одиссеем, отправляйся в подземное царство, кутайся в плащ и отгоняй тени умерших черным клинком. Или стань Тесеем, только что покинувшим спящую Ариадну на острове Наксос. На радостях ты забыл сменить черное полотно паруса на белое, не успел вовремя сказать: "Я еще жив, отец..."

Этот город в два счета меняет устоявшиеся привычки, привязанности и отношения, проникая гораздо глубже в сердцевину сознания, чем взбрызнутый дунайской накипью мозжечок Зигмунда Фрейда. Венеция выпускает сразу всех джиннов, заточенных до поры до времени в чреве волшебных ламп. Можно сколько угодно воображать, что ты — Одиссей или Данте, и Венеция будет потакать тебе с легким усердием. Но это — лишь начало карнавального превращения. Ты не можешь стать Одиссеем, не вспомнив о Пенелопе и Телемахе. Воспоминание, которое до поры до времени лежит, не шелохнув-

1. Перефраз стихотворения "Данте в Венеции".

шись, на дне сознания и о возможном присутствии которого ты, быть может, не подозревал, настигает тебя внезапно, как миллионы русалочьих зрачков. Ты можешь превратиться в Данте, но тогда за тобой увяжется тень *твоей* Беатриче.

Вспомнилась дневниковая запись одного путешественника, посетившего венецианский театр. Давали какую-то малоинтересную пьесу; путешественник наблюдал за публикой, которая не делала различия между выдумкой драматурга и реальной жизнью. Когда тиран потребовал от сына, чтобы тот заколол мечом свою жену (жена стояла тут же, на сцене), публика стала громко выражать свое неудовольствие. Еще немного, и спектакль был бы сорван. Тогда актер, игравший сына, просительно обратился к зрителям и умолил сидящих в зале набраться терпения — мол, сейчас он убьет свою жену, а потом начнется самое интересное. Сцена убийства, действительно, никуда не годилась...

Теперь и ты участвуешь в нелепой пьесе, вернее, не ты — часть тебя, назовем ее "ты-прежний", а другая половина — "ты-теперешний" — наблюдает за своим двойником. Ты видишь в венецианском воздухе, как на волшебном блюдце, московскую метель, промерзший подъезд, слышишь скулеж подъездной двери. Твой двойник смахивает снежок с ее смешного заячьего треуха. С верхнего этажа кто-то быстро спускается по лестнице, рычит собака, как будто она напала на твой след, и ты узнаешь ее и себя, отпрянувших друг от друга. Потом тот самый "ты-прежний", студент-недоучка, прощается с подругой, бежит на автобусную остановку, чтобы навсегда исчезнуть в метели. "Вернись! Вернись! Не отдавай ее никому", — кричишь ты ему с галерки...

Здесь, в Венеции, она держит твою голову, как Юдифь — голову Олоферна на картине Климта. После отъезда тебе долго снилась эта картина, вернее, все три картины разом, ведь Климт написал три Юдифи... Она сжимала твою отрубленную голову, а сама стояла на фоне золотистой фольги, готовая слиться с ней, утонуть в золотой реке, наглотавшись расплавленного золота. Что она чувствовала, когда убивала тебя каждую ночь, а сама омывалась золотым песком? *Подвиглось сердце твое и душа взволновалась.* Она подошла к столбику постели, сняла с него меч, и, схватив тебя за волосы, отсекла голову, а потом обняла ее нежно, как будто убаюкивала своего ребенка... *Та женщина – двухцветна, шепотлива, в ней, говорят, гнездится бесконечность, она, как узловатая олива, не стеснена собой. От встреч любовных остается шелест мучительной воды, сухой и мертвой: флакон граненый, сумасшедший запах, не пей ее и не смотри назад...*

* * *

Венецию можно положить на музыку. Вернее, сам город играет бесконечную сарабанду. Венеция — фонетична, потому

что единственный звук, который ты услышишь здесь — это звук собственного голоса. Даже если не скажешь ни слова. Иногда запевают гондольеры, но их нынешние песни — с налетом глазета, как лодки, которыми они управляют, — плывущий палех, выставленный на продажу.

Что случилось с венецианскими песнями времен Гёте и Генри Джеймса? Бывало, какой-нибудь венецианец, сидя на краю канала или в лодке своей, начинает петь что-нибудь из "Освобожденного Иерусалима"[1]. Другой лодочник, находящийся от поющего за полкилометра, слышит песню и подхватывает ее, исполняя следующую строфу. Долго не иссякает песня. Так поют друг другу подпаски в эклогах Вергилия, только здесь, в Венеции, вместо мягкой приозерной травы под поющими разостлана пажить бирюзовых вод.

Когда замолкают гондольеры, в Венеции не прекращается цитатная перекличка тех, кто в свое время прикармливал голубей на площади Сан-Марко. Шатобриан судачит с Жорж Санд; француз сравнивает Венецию с прекрасной женщиной, угасающей вместе с дневным светом. В разговор вступает князь Вяземский: "Венеция под дождем и в ненастье то же, что красавица с флюсом... Поневоле изменишь ей, как прежде ни любил ее. Вчера были у княгини Васильчиковой. Грустно видеть дочь ее... Ездили в Армянский монастырь. На возвратном пути вода была так прозрачна и зеркальна, что небеса, деревья, дома отражались в ней, как живые. Больница умалишенных на острове S. Servolo висела вверх дном в водяном пространстве, как головы несчастных ее жильцов". А под конец — вот он, вот он катарсис, освобождение, бирюзовый мираж Венеции рассасывается, голова снова прирастает к телу. Антон Павлович Чехов восклицает вдогонку веронской электричке: "Гондолы, площадь св. Марка, вода, звезды, итальяночки, вечерние серенады, мандолины, фалернское вино — одним словом, все пропало! Не поминайте лихом.Тень прекрасной Дездемоны шлет свою улыбку земскому начальнику".

Нью-Сити,
июнь-август 2012 г.

1. "Освобожденный Иерусалим" — поэма Торкватo Тассо (1544—1595).

Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой
Совместно с радио "Свобода"

Hannah Rosin. *The End of Men and the Rise of Women.* — Riverhead Books, 2012

Название книги журналистки Ханны Розин — "Мужчинам конец" — звучит скорей не как название, а как лозунг и революционный клич. Розин и не скрывает революционного энтузиазма. Она пишет:

Революция, которую феминистки так долго ждали, происходит сейчас, на наших глазах: конец двухсоттысячелетнего периода человеческой истории!.. начало новой эры. И эта эра будет эпохой женщин, требующей именно женских специфических черт, свойств и умений. Уже сейчас по всему миру женщины начинают доминировать почти во всех сферах жизни: в трудовой деятельности, в образовании, в семье и даже в любви и браке. А в тех странах, где все еще правят и доминируют мужчины, этот порядок — уже уходящее явление, уже пережиток.

Кому же (или чему) мы обязаны этой перестановкой сил? *Не* женскому движению, *не* слабому сопротивлению мужчин и *не* прогрессивной политике. Если верить Розин, революцию совершила экономика — став экономикой обслуживания:

Экономика обслуживания редко нуждается в физической силе или в навыках, связанных с механикой. В большинстве случаев она требует понятливости и разумности, усидчивости, сосредоточенности и способности к деловому общению. А эти качества чаще свойственны женщинам, чем мужчинам. Впервые в мировой истории сам характер экономики дает женщинам больше шансов на успех, чем мужчинам.

Розин приводит примеры из мировой экономики, в частности, она пишет: "В Индии женщины, говорящие на местных языках, настолько быстрей мужчин осваивают английский, что именно они занимают большинство рабочих мест в так называемых call centers — в центрах телефонного обслуживания международных компаний, которые сейчас распространились в Индии". Такого рода примеры неубедительны — мы не можем судить о положении в стране по ее "телефонным центрам". Другое дело — обзор ситуации в Соединенных Штатах. Тут автор обрушивает на читателя потоки примеров, результатов профессиональных обследований и статистики:

В 1970 году работающие женщины Америки в среднем прино-

сили в дом от двух до шести процентов семейного дохода, а в 2009 году – сорок два процента. В том же 2009-м число работающих женщин сравнялось с числом работающих мужчин. В 2012 году на каждых двоих мужчин, получивших диплом бакалавра в Америке, придется три женщины с таким же дипломом. Женщины уже доминируют в профессиях бухгалтеров, финансовых менеджеров, врачей-дерматологов, оптометристов, ветеринаров, патолого-анатомов судебной медицины, фармацевтов и еще в сотнях других профессий – скромных, но требующих высшего образования.

"В будущем, – оптимистично считает Ханна Розин, – путь женщин ведет только вверх". Похоже, положение мужчин в этом будущем царстве женщин совершенно не тревожит автора. Между тем вот что пишет в рецензии на ее книгу, опубликованной в "New York Times Book Review", историк, профессор NYU Дженифер Хоманс:

Описанный Розин экономический взлет женщин является симптомом опаснейшего социального сдвига, чтобы не сказать "обвала". "Конец мужчинам" – это конец производственной экономики. Тысячи мужчин, занятых раньше в этой экономике, оказались безработными, подавленными безвыходностью своего положения, зависящими от государства и от женщин, которые зарабатывают на себя и на них. Начиная с 2000 года производственная экономика потеряла 6 миллионов рабочих мест – в основном тех, которые были заняты мужчинами. В 1950 году в Америке безработным был один из 20-ти молодых мужчин. Сейчас – один из пяти.

"Словом, – пишет дальше профессор Хоманс, – если действительно грядет матриархат молодых, образованных, честолюбивых женщин, им придется иметь дело с мужчинами, которые не смогут быть равными партнерами. Особенно тяжело уже сейчас приходится малообеспеченным женщинам. Они работают на двух работах, учатся на курсах или в колледжах, растят детей. Не мудрено, что многие из них не хотят иметь еще и мужа: для них это часто – лишний рот".

Расцвел, было, принцип любовных отношений без обязательств – то, что в Америке в просторечье называют hookup culture. Hookup значит подцеплять, то есть находить случайных любовников – по принципу "свиданье было без любви, разлука будет без печали". Но, как следует из многих интервью в книге Розин, даже среди карьеристок не так много женщин, по выражению автора, "с сердцами из стали". Большинство из них хочет долгой любви и старомодного семейного счастья. По статистике, приведенной Розин, лучше всех справляются с любовью люди образованные. В их среде женщины относятся с пониманием к трудному положению мужчин, а мужчины готовы взять на себя немалую часть традиционно женских обязанностей.

Любопытен раздел книги, посвященный женщинам на

высоких должностях. Розин с удовольствием описывает женщин, которые добиваются всего: карьеры, любви, семьи, детей, уважения коллег и родных. Автор, правда, не очень-то описывает стиль жизни этих замечательных женщин, которые не отрывают глаз от портативных компьютеров, а уши от мобильных телефонов. И вот что добавляет к этому историк Хоманс:

Ханна Розин ввела в свою книгу два новых термина: "картонный мужчина" и "пластиковая женщина", имея в виду ломкость и твердость мужчин и гибкость и податливость женщин — с их уступчивостью, терпеливостью и, как пишет Розин, "с чисто женскими качествами — такими, как готовность сочувствовать другим людям и умение мирно разрешать проблемы, возникающие в коллективе". Но хочу напомнить, что мужчины не держат монополию на жесткость, авторитарность и узколобость. Мелочность и злопамятность — тоже не специфически мужские черты. Словом, в книге "Мужчинам конец" заметна преувеличенная комплиментарность в портрете современной женщины и карикатурность в портрете современного мужчины — слабовольного и безынициативного лентяя. Не исключено, однако, что вскоре мы дойдем до нового поворота в экономике, и женщина снова окажется жертвой — на этот раз жертвой собственного успеха.

Но главная, по-моему, ошибка автора книги "Мужчинам конец" в том, что она настоятельно советует мужчинам адаптироваться к матриархату. Словно перефразируя профессора Хиггинса в мюзикле "Моя прекрасная леди", Ханна Розин взывает от имени женщин: "Почему бы мужчинам не стать такими же, как мы?!". На это можно только сказать: упаси Бог!

Среди книг

с Ольгой Пановой

Знакомый незнакомец: “прогулки с Шарлем Бодлером”.

Шарль Бодлер *Стихотворения в прозе (Парижский сплин). Фанфарло. Дневники* / Пер., коммент. Е. В. Баевской. – СПб.: Наука, 2011.

Шарль Бодлер *Избранные письма* / Пер. с фр. под ред. и с примечаниями С. Л. Фокина. – СПб.: Machina. 2012.

С. Л. Фокин *Пассажи. Этюды о Бодлере.* – СПб.: Machina. 2011.

Шарль Бодлер – “про́клятый поэт” и “денди”, “фланер” и “декадент”, певец сплина, вечно тоскующий по идеалу... Этот давно сложившийся образ имеет в России давнюю историю, основные вехи которой нелишне кратко напомнить, приступая к разговору о новых “кирпичиках”, заложенных в здание отечественной бодлерианы.

Первые переводы французского поэта стали появляться на рубеже 1850–1860-х; в эпоху Серебряного века Бодлера переводят Брюсов, Анненский, Эллис, Цветаева, Вяч. Иванов, Мережковский, Бальмонт. Однако полноценная публикация сборника “Цветы Зла” стала возможна только после отмены цензуры в 1906 году. Уже с конца XIX века в России присутствуют полярно противоположные оценки Бодлера – от резко отрицательной (Лев Толстой, молодой Горький) до восторженной: в кругу символистов и декадентов складывается настоящий культ поэта. В советские годы были опубликованы несколько подборок бодлеровских стихотворений, в том числе и в журнале “Иностранная литература” (1957), а в 1965 году был выпущен небольшой поэтический сборник[1]. О Бодлере пишут А. Луначарский[2], Н. И. Балашов – автор статьи о Бодлере в академической “Истории французской литературы” (1956)[3] и сопроводительной статьи для академического издания “Цветов Зла” в серии “Литературные памятники” (1970)[4], подготовленного Н. И. Балашовым и И. С. Поступальским. Следующим этапом стало по-

1. Ш. Бодлер. Лирика. – М.: Художественная литература, 1965.
2. А. Луначарский. Бодлер // Литературная энциклопедия в 11 тт. – М.: 1929–1939. – Т. 1. – М.: Изд-во Ком. акад., 1930. – С. 547–551.
3. Н. И. Балашов. Творчество Бодлера // История французской литературы в 4 тт. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – Т. II. – С. 567–582.
4. Ш. Бодлер. Цветы Зла. – М.: Наука, 1970. – (сер. “Литературные памятники”).

явление пространной статьи о поэте в книге Д. И. Обломиевского "Французский символизм" (1973). В 1979 году выходит первая монография о Шарле Бодлере М. Л. Нольмана[1]. В восьмидесятые имя Бодлера прочно вошло и в научный обиход, и в вузовские учебные пособия. Важным событием этого десятилетия стало снабженное статьями В. Левика и В. Мильчиной издание, в котором Бодлер предстает в амплуа художественного критика[2].

Новый рубеж веков принес новый всплеск интереса к "прóклятому поэту". В 1990–2000-х годах в России выходят десятки популярных изданий поэтических и прозаических произведений Бодлера ("Цветы Зла", "Обломки", "Парижский сплин", автобиографическая проза, "Искусственный рай", эссеистика). Научная библиография пополнилась статьями С. Н. Зенкина[3] и вышедшей в 1993 году книгой[4], которая до недавнего времени воспринималась как "последнее слово" в деле издания и научного освоения бодлеровского наследия.

В 2010 году в обзоре "Русский Бодлер: судьба творческого наследия Шарля Бодлера в России" был подведен итог полувековой истории бодлеровских публикаций и штудий: "В заключение констатируем, что статус Бодлера в отечественном литературоведении остается пока неопределенным. Поэта причисляют то к поздним романтикам, то к реалистам, то к парнасцам, то к символистам или декадентам... у нас неизданы и неизучены эпистолярное наследие Бодлера, значительная часть его прозы, непреодоленным оказывается и 'шараханье' из крайности в крайность: от созданного в советскую эпоху мифа о Бодлере-реалисте к постперестроечному мифу о Бодлере-сатанисте и 'прóклятом поэте'. Бодлер ждет своих новых исследователей"[1]. Словно в ответ на четко сформулированный "социальный заказ", в минувшем году русская бодлериана пополнилась сразу тремя новыми изданиями. Прежде всего это публикация избранных писем Шарля Бодлера: нехватка этого материала давно и остро ощущалась в отечественной культуре. Творческий коллектив, осуществивший публикацию, – известный исследователь француз-

1. М. Л. Нольман. Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль. – М.: Художественная литература, 1979.
2. Ш. Бодлер. Об искусстве. – М.: Искусство, 1986.
3. С. Н. Зенкин. Современность Бодлера // Литературное обозрение, 1987, № 6. – С. 72–74; Писатель в маске монстра // Иностранная литература, 1993, № 1; Подпорченный парадиз // Иностранная литература, 1998, № 8 и др.
4. Ш. Бодлер. Цветы Зла. Стихотворения в прозе. Дневники. Ж.-П. Сартр. Бодлер. / Пер. с франц. Е. В. Баевской, Г. К. Косикова; Предисловие Г. К. Косикова; Комм. А. Н. Гириенко, Е. В. Баевской, Г. К. Косикова. – М.: Высшая школа, 1993.

1. Вл. А. Луков, В. П. Трыков. "Русский Бодлер": судьба творческого наследия Шарля Бодлера в России // Вестник Международной академии наук. Русская секция, 2010. – Вып 1. – С. 51.

ской литературы Сергей Леонидович Фокин, составитель, редактор и автор комментариев, переводчики Н. В. Притузова, А. И. Владимирова, Л. Э. Гаав-Матис, Е. А. Валеева и специалист по французскому романтизму и fin de siècle Татьяна Викторовна Соколова, автор послесловия.

Достоинства книги очевидны. Помимо новизны материала[1], это профессиональный уровень перевода, наличие именного указателя и комментариев, опора на серьезные научные французские издания бодлеровской переписки; впечатляющий дизайн обложки, который вызывает в памяти название статьи о Бодлере Жерома Тело в галлимаровском издании писем поэта 2000 года — "Больной вулкан"[2].

Первое русское собрание писем Бодлера делалось преимущественно на основе этого сравнительно нового "продукта" издательства "Галлимар": отбор писем, произведенный ведущим французским бодлероведом Клодом Пишуа, виделся в качестве идеального "исходного материала" для проекта, не предусматривавшего полную публикацию переписки поэта по всем канонам академических научных изданий. Однако это хотя и базовый, но не единственный источник русской публикации. Составитель книги С. Л. Фокин, разумеется, ориентировался и на фундаментальное двухтомное галлимаровское издание в серии "Плеяда" 1973 года, подготовленное тем же Клодом Пишуа[1], и на примечательную публикацию Филиппа Озерва 1966 года в издательстве "Грассе" ранее не известных писем юного Бодлера к родным[2].

Вошедшие в первое русское издание 192 письма помогают воссоздать различные аспекты жизненного и творческого пути поэта, составить представление о его круге общения и круге чтения, о динамике его мировоззрения и интересов. В избранных письмах отражены кристаллизация и реализация замысла основных произведений Бодлера, его отношения с литературным миром; Бодлер предстает и как социальный мыслитель, наблюдатель нравов, художественный критик, переводчик, а также как частное лицо. "Портрет поэта" на фоне

1. Это первое отдельное издание писем поэта на русском языке, не считая журнальных публикаций, из которых назовем И.И. Карабутенко. Шарль Бодлер. Письма // Вопросы литературы, 1975, № 4. — С.215–254.
2. Jérôme Thélot. Un volcan malade // Charles Baudelaire. Correspondance. Édition de Claude Pichois et Jérôme Thélot, préface de Jérôme Thélot. — Paris: Gallimard. Collection Folio classique, 2000. — 480 p. — P. 7–26.

1. Charles Baudelaire: Correspondance. Édition de Claude Pichois avec la collaboration de Jean Ziégler. 2 tomes. — Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1973. Двухтомник содержит 1092 письма.
2. Charles Baudelaire. Lettres inédites aux siens, présentées et annotées par Philippe Auserve. — Paris: Grasset, 1966, 246 p. Публикация содержит 92 письма.

повседневности — не только документальный материал, дающий повод еще раз поразмышлять о биографической легенде и принципах жизнестроения. Эпистолярий ценен и как "зеркало эпохи", отразившее литературную, политическую жизнь Франции, ее бытовую культуру второй трети XIX века. Пусть это "зеркало" не столь всеохватно, как знаменитый "Дневник" Гонкуров, но оно интересно своим особым ракурсом. Бодлеровское ви́дение бросает новый свет на фигуры Гюго, Виньи, Флобера, Вагнера, Мане. Знакомство с письмами, этой materia prima, которую получил в свое распоряжение русский читатель, невольно побуждает к "перепроверке" авторитетных суждений о личности и творчестве Бодлера, например, Ж.-П. Сартра или отечественных литературоведов.

Несомненная важность первой репрезентативной публикации писем Бодлера не отменяет некоторых вопросов и пожеланий к книге, которые мы лишь кратко перечислим. В таком издании явно не хватает хронологии жизни поэта; хотелось бы более подробных и обстоятельных комментариев, а также краткой справки об истории публикации эпистолярия во Франции. В целом возникает ощущение, что перед нами — компромиссный вариант, нечто среднее между изданием научным и популярным, цель которого — заинтересовать как специалистов, так и "широкий круг читателей". Отсюда — отказ от "отягощающих" (но на самом деле очень нужных!) "довесков" вроде хронологии жизни поэта, выполненное в научно-популярном духе послесловие — обзор основных тем, возникающих в переписке.

Причина подобной компромиссности, очевидно, кроется в известной хаотичности отечественного книжного рынка, в расплывчатости и смутности представлений о "референтных группах" читателей, в непоследовательности и противоречивости издательской политики. С одной стороны, компромиссная логика кажется странной для издательства, которое специализируется на выпуске интеллектуальной литературы, — среди позиций, указанных в каталоге "Machina", книги Ж. Делеза, А. Бадью, М. Бланшо, Ф. Лаку-Лабарта, Ж. Рансьера. С другой стороны, растиражированность лирики Бодлера, особенно "Цветов Зла", обилие дешевых, ярко и даже кричаще оформленных популярных и карманных изданий, показались издателю гарантией того, что очередной продукт бренда "Бодлер" заинтересует не только высоколобую аудиторию. Может быть, это соображение и не лишено оснований; наверное, не случайно "Избранные письма" сразу получили несколько откликов в интернет-ресурсах и глянцевых журналах. Но все же эпистолярий — это не стихи, не трактат о гашише и опиуме и не доступная биография "про́клятого поэта" à la Анри Труайя; логично предположить, что такая книга в реальности будет востребована главным образом профессиональной

аудиторией, пусть и достаточно широкой – исследователями, преподавателями, студентами, словом, специалистами-гуманитариями, которым придется довольствоваться столь жестко дозированным научным аппаратом.

Урезанный формат издания бодлеровских писем восполняет только что опубликованная монография С. Л. Фокина о Бодлере, которую желательно приобрести "в комплекте" с томом писем, тем более что представленное в монографии ви́дение Бодлера нашло отражение в принципах отбора и составления эпистолярия. Книга "Пассажи. Этюды о Бодлере", вышедшая в том же издательстве "Machina" за год до "Избранных писем", – первая за истекшие тридцать с лишним лет монография о французском поэте. Исследователь с весомым научным именем, сочетающий широкий кругозор с оригинальностью взгляда, стремится представить нам непривычного Бодлера – не "русского", но французского, укорененного, во-первых, в своей родной культуре, во-вторых, в своей эпохе и, в третьих, в своем персональном опыте, обусловившем уникальность и неповторимую субъективность его личности и творчества. Вступая в бой с устойчивыми представлениями, составляющими персону "русского Бодлера", С. Л. Фокин прибегает к бескомпромиссным формулировкам. Французского поэта, оказывается, "невозможно читать в канонических русских переводах" (Эллиса, Брюсова, Вяч. Иванова, Бальмонта и т. п.) – благодаря "цветистым переводам "Цветов Зла" воспринятый "с беспредельной русской отзывчивостью" Бодлер стал "одним из самых русских поэтов Серебряного века", что привело к "прискорбным следствиям русского упоения Бодлером – абсолютной редукции его поэтического гения"[1]. Бодлера также "невозможно читать в обрамлении канонических трактовок его творчества", в "отработанных категориях 'романтизма', 'символизма' или 'натурализма', 'декаданса' или 'дендизма', так как опыт Бодлера 'ими не ухватывается, не передается'"[2].

Задаваясь целью вернуть нам "истинного Бодлера", автор утверждает необходимость дезаувировать как его "русскую персону", сложившуюся в эпоху Серебряного века, так и его "советский образ"; словом, поэта нужно спасать от прокрустова ложа "измов", бытующих в отечественном литературоведении. В противовес всяческим "фальсификациям", в исследовании предпринимается культурная и историческая реконструкция "истинного Бодлера", открыто полемичная по отношению к устойчивой системе общих мест отечественной бодлерианы. Например, стремлению привязать Бодлера к политике и "революционной ситуации" 1848 года противопоставляются концепты "полити-

1. С. Л. Фокин. Пассажи. Этюды о Бодлере. – СПб: Machina, 2011. – С. 10.
2. Там же.

ки поэзии" и "сладострастия революции"; на смену Марксу и Энгельсу с их "призраком коммунизма", назойливо маячившим в тексте и подтексте работ советского периода, является "призрак Прудона", а "забронзовевший" в СССР Карл Маркс предстает в неожиданном амплуа саркастически-злоязычного рассказчика пикантных анекдотов[1]. Вместо обычных для советского литературоведения рассуждений о романтических, декадентских или символистских чертах творчества поэта исследователь пишет о Бодлере в его отношениях с литературной и окололитературной средой (богема, издательские и журналистские круги, Готье, Флобер, Гюго, Виньи, Французская академия и т. д.), о его интересе к революционной и социальной мысли (якобинцы, либертены, Прудон), к мистике и науке и т. д. И напротив, вместо традиционного биографического очерка или психологического анализа личности творца перед нами предстает поэт и мыслитель Бодлер в окружении множества текстов — как в узком, так и в дерридаанском смысле слова. Бодлер у Фокина действительно необычен и непривычен: это автор фарсов и розыгрышей, поэт-парадоксалист, инсургент, памфлетист. Что касается канонического образа Бодлера — "денди" и "декадента", оказывается, что дендизм "был далек от 'насущных забот' поэта"; что Бодлер, противившийся декадентству как "болезни века", был ее "диагностом" и "врачевателем", и только после него декаданс "превратился в позу и культ"[1].

В противовес навязшим в зубах темам "Бодлер в России", "Бодлер и русский Серебряный век" в монографии рассматривается русская тема у Бодлера (образ Камчатки и "черной Сибири" в "Цветах Зла") и русское окружение поэта, представленное "русскими европейцами" и в первую очередь Николаем Ивановичем Сазоновым. Очерк о Сазонове, блестяще образованном человеке, публицисте, переводчике, знакомце Герцена, Огарева, К. С. Аксакова, проведшем немало лет в добровольной, а затем и вынужденной эмиграции, воспринимается в контексте монографии как самостоятельная вставная новелла. По мнению С. Л. Фокина, и Сазонов, и Бодлер — маргиналы, одиночки, и они не случайно оказываются рядом. В своих переводах из Бодлера и в статье 1865 года о современной европейской поэзии "бегун образованной России" Сазонов сумел воссоздать наиболее адекватный облик "истинно парижского поэта", наиболее характерное свойство которого — его "эксцентричность", стремление "быть чужим всему и вся"[2].

Это свойство характерно и для авторского стиля С. Л. Фокина-исследователя Бодлера; именно оно, столь "изоморф-

1. С. Л. Фокин. Пассажи. Этюды о Бодлере. С. 70.

1. С. Л. Фокин. Пассажи. Этюды о Бодлере. С. 66–67.
2. Там же. С. 10.

ное" предмету изучения, делает чтение "Пассажей" увлекательным и непредсказуемым. Оно же порой заставляет читателя ощущать себя странником, сбившимся с привычного маршрута. Наиболее выпукло эта яркая черта исследовательского темперамента проступает в авторских переводах фрагментов из Бодлера, которые представляют самостоятельный интерес.

В противовес "узаконенной русификации" образа Бодлера в отечественной традиции, основанной на концепции кросс-культурного перевода (или даже кросс-культурного пересказа), выдвигается противоположная идея: не Бодлера "к нам, сюда", а, напротив, нас — "туда, к нему". Этот "обратный кросс-культурный перевод", призванный опрокинуть сложившиеся "автоматизмы" (например, "Сплин Парижа" вместо привычного "Парижского сплина"), на практике выражается в том числе и в "новых" правилах написания, в появлении фраз и словосочетаний, которые воспринимаются как иностранные кальки — "последний Бодлер" (последние произведения Бодлера), "Бей Бедных!" (с двух больших букв); наконец, "политика поэзии" / "политика литературы", которые определяются как "способ бытия-вместе-с-другими-людьми" (а не "политические взгляды" поэта, и даже не "ангажированность"). В монографии автор считает нужным пояснить некоторые свои переводческие решения: так, например, он настаивает на переводе "Сплин Парижа" (а не "Парижский сплин"), усматривая в этой конструкции параллель к названию главного произведения Бодлера — "Цветы Зла". Выбор буквального перевода "Маленькие поэмы в прозе" (а не "Стихотворения в прозе") объясняется как желанием избавиться от "ненужных тургеневских ассоциаций", так и соображениями, касающимися жанровой природы цикла. Но поскольку вопросы перевода не являются основной темой "Пассажей", в большинстве случаев читатель, знакомясь с бодлеровскими текстами в переводе автора монографии, должен самостоятельно "переваривать" некоторые весьма нетрадиционные решения.

Выдержки из Бодлера, выполненные в духе концепции, которую мы обозначили как "обратный кросс-культурный перевод", нередко выглядят жесткими, ультрасовременными — лексически, стилистически, грамматически. Русский язык гнется, а порой и ломается под иностранный оригинал, что в нынешней культурной и лингвистической ситуации порой вызывает стойкие ассоциации с бурными процессами "обынострaнивания" нашего языка (калькирование, экспансия транслитераций, иностранных правил написания, например, прописных букв в названиях, устойчивых словосочетаниях и т. п.). Если ассоциации с "новоязом" эры интернета возникают довольно часто, то ассоциации со "староязом" эпохи Бодлера, напротив, минимализируются.

Бодлер Фокина разговаривает русским литературным

языком начала XXI века и читается не через устаревшие советские "измы", не через словарь Серебряного века, но через актуальные парадигмы новых властителей дум — В. Беньямина, Ф. Лаку-Лабарта, М. Фуко и т. д. Взыскуемый "истинный Бодлер" оказывается, таким образом, очередной "персоной", "постпостмодерным" Бодлером. Историческая и культурная реконструкция вдруг оборачивается осовремениванием, "обратный кросс-культурный перевод" — переводом на русский времен всемирной паутины и глобализации. И это, наверное, правильный и единственно возможный путь, ибо не существует реконструкции или перевода без интерпретации, не существует исследования вне диалога культур, и не существует "истинного Бодлера", "истинного Верлена" или "истинного Рембо" вне культурного воображаемого той или иной эпохи. Разыскания "Пассажей" вкупе с публикацией "Избранных писем", обращение к малоисследованным эпизодам биографии и аспектам творчества, пересмотр сложившихся общих мест и ригидных схем бодлероведения — все это работает на главную цель: резко изменить привычный ландшафт бодлеровских штудий. Отсюда — заявка на "обнуление" традиции, на открытие непривычного, неведомого Бодлера; заявка, которая реализуется через обращение к частностям, способным изменить целое, через реинтерпретацию "бесспорного". Разумеется, такие штудии становятся нужны, когда сделано уже многое, когда можно не говорить про общеизвестное, но прорисовывать детали, конкретизируя и корректируя общий абрис.

Совершенно другая, сугубо традиционная переводческая стратегия была взята на вооружение при подготовке очередного тома серии "Библиотека зарубежного поэта", посвященного прозе Бодлера. Здесь перед нами, напротив, предстает привычно-знакомый облик поэта. Новый том серии, снабженный вступительной статьей М.Д. Яснова, составлен в основном из ранее опубликованных переводов Е. В. Баевской. Это "Дневники", входившие в издание Бодлера 1993 года[1], "Парижский сплин", вышедший в издательстве "Искусство" в 1998 году[2]; поэтому главный интерес представляет впервые публикуемая на русском языке небольшая повесть "Фанфарло" (1847), отразившая увлечение поэта дендизмом. Комментарии Е. В. Баевской включают некоторые варианты "Стихотворений в прозе", краткую историю создания и публикации каждого произведения. Автор комментариев нередко прибегает к традиционному методу "параллельных мест", которые позволяют раскрыть замысел произ-

1. Ш. Бодлер. Цветы Зла. Стихотворения в прозе. Дневники. Ж.-П. Сартр. Бодлер. — М.: Высшая школа, 1993.
2. Ш. Бодлер. Парижский сплин. Стихотворения в прозе. / Пер. с франц. Е. В. Баевской. — СПб.: Искусство, 1998.

ведения, круг аллюзий и реминисценций и вообще "релевантных" для Бодлера текстов, а также представить творчество поэта в динамике. Издание бодлеровской прозы готовилось по целому ряду французских изданий, но в качестве основного, что вполне предсказуемо, фигурирует двухтомное галлимаровское Полное собрание сочинений, подготовленное К. Пишуа и вышедшее в серии "Плеяда" в 1975 году[1].

"В переводе Елены Баевской – изящный грациозный язык; ровное дыхание... слышна не умная беседа, а лишь мягкая, естественная музыка литературы"[2]. Эти слова Григория Дашевского о новом русском переводе романа Пруста в исполнении Е. В. Баевской, полностью приложимы и к ее Бодлеру. Перед нами – тонкая, изящная стилизация под поэтический язык эпохи Эллиса и Брюсова; здесь Бодлер – персонаж, созданный традицией русской литературы и русских переводов, начавшейся в Серебряном веке и длящейся по сей день. Переводы Баевской, апеллирующие к "русскому Бодлеру", – современные тексты, связующие два наших рубежа веков – прошлый и нынешний.

Довольно любопытное занятие – читать, а точнее, перечитывать переводы Е. В. Баевской после знакомства с книгой С. Л. Фокина. Именно "перечитывать" – даже если речь идет о совершенно новых работах, потому что после "Пассажей", где перед нами предстает эксцентричный незнакомец, гений, "чужой всему и вся", к Бодлеру Баевской возвращаешься как к доброму знакомому, говорящему русским языком, навеки связанным для нас с "бодлеровским" временем – русским Серебряным веком. Конечно, называть Серебряный век "бодлеровским временем" – анахронизм, ведь он наступает почти через четверть века после выхода "Цветов Зла"; кроме того, достаточно сравнить переводы Е. В. Баевской с переводами Эллиса или Брюсова, как станет ясно, что перед нами искусная стилизация рубежа XX–XXI веков. И все же нам дорог этот "возвышающий обман", и после интеллектуального и эмоционального напряжения, которого требует встреча с незнакомцем "Пассажей", бодлеровский том "Библиотеки зарубежного поэта" дарит утешительное чувство возвращения домой из волнующей, познавательной и немного рискованной поездки по "дальнему зарубежью". Или, быть может, это чувство современного Дез Эссента, который снова оказывается в своем уютном кабинете, полном старинных фолиантов, после вылазки на пространства мировой паутины или прогулок по ультрасовременному мегаполису, где на нынешнего фланера обрушиваются небывалые по интенсивности впечатления.

1. Charles Baudelaire. Œuvres complètes. 2 tomes / Édition de Claude Pichois. – Paris: Gallimard, 1975–1976 (Bibliothèque de la Pléiade).
2. Григорий Дашевский. Пропасти перевода // Коммерсантъ Weekend, 17. 10. 2008. № 40 (86).

Чем больше мужчина культивирует искусства, тем меньше у него стоит. Происходит все более и более ощутимый разрыв между духом и скотом. Только у скота стоит как следует, блуд — это лиризм народа.

Перевод С. Л. Фокина. *Пассажи. Этюды о Бодлере.* С. 136

Чем больше люди занимаются искусством, тем меньше в них похоти. Разрыв между разумом и животным началом сказывается все сильнее. Только животному ведома настоящая похоть, а соитие — это поэзия для простолюдинов.

Перевод Е. В. Баевской. *Шарль Бодлер. Стихотворения в прозе* (Парижский сплин). Фанфарло. Дневники. С. 189

Подчеркнутая традиционность Е. В. Баевской и эпатажное новаторство С. Фокина — две противоположности, которые сходны в одном: это явления, характерные для зрелого и позднего этапа бодлеровских штудий. Новые переводы и комментарии прозы Бодлера, как суммирует М. Д. Яснов, нужны для "построения литературной перспективы"[1], которая, впрочем, давно и прочно задана, живет и прирастает. И если переводы и комментарии Е. В. Баевской — следование в русле традиции, ее количественное приращение, то "Письма" и в особенности "Пассажи..." С. Л. Фокина — попытка создать качественно новую надстройку над зданием традиции. И в том и в другом случае перед нами современное продолжение русской бодлерианы — методом преемственности или разрыва-скачка. Ви́дение Бодлера сквозь призму современности абсолютно совпадает с интенцией бодлеровской эпохи упадка классической и начала модерной культуры. Эта интенция была лапидарно выражена младшим собратом Бодлера по цеху: "Нужно быть абсолютно современным"[1]. Создатель "Цветов Зла" — первый поэт modernité, и его наследие ощущается исследователями и переводчиками не как архивный материал, но как часть нашего опыта, "ибо чувство современности (modernité), провозглашенное и выраженное Бодлером в поэзии, остается действительным, оно было и есть непреложный и постоянно обновляющийся атрибут творчества, вечный его закон"[2].

1. М. Д. Яснов. Человек толпы // Шарль Бодлер. Стихотворения в прозе (Парижский сплин). Фанфарло. Дневники. С. 18.

1. Il faut être absolument moderne — цитата из "Сезона в аду" А. Рембо.
2. Т. В. Соколова. Эпистолярное жизнеописание // Ш. Бодлер. Письма. — Спб: Machina, 2011. — С. 357.

Александр Попович
Александар Поповић
[1929–1996]. Сербский драматург.

Автор более 50 комедий и драм, среди которых *Любинко и Десанка* [*Љубинко и Десанка*, 1964], *Путь развития Боры Шнайдера* [*Развојни пут Боре Шнајдера*, 1967], *Смертоносная мотористика* [*Смртоносна мотористика*, 1967], *Карпы на нересте* [*Мрешћење шарана*, 1984], *Ночь темна* [*Тамна је ноћ*, 1992] и др.
Пьеса *Чулок в сто петель* [*Чарапа од сто петљи*] была написана в 1965 г., опубликована в 1967-м, но впервые поставлена в Югославии [в театре города Заечар] только в 1980-м. Переведена по книге *Избранные драмы* [*Изабране драме*. Београд, 1987].

Антония Поцци
Antonia Pozzi
[1912–1938]. Итальянская поэтесса.

Первый сборник стихов был опубликован лишь после ее смерти, в 1939 г., и был замечен Эудженио Монтале и Томасом С. Элиотом. Постепенно пополняемый, он многократно переиздавался позднее под названием *Parole* [*Слова*]. Были напечатаны также дневники и переписка. Том избранных стихотворений Поцци готовится к выходу в Издательстве Ивана Лимбаха.
Переводы сделаны по последнему исправленному изданию *Стихи меня хранят* [*Poesie che mi guardi*. A cura di Graziella Bernabò e Onorina Dino. Luca Sossella Editore, 2010].

Карло Эмилио Гадда
Carlo Emilio Gadda
[1893–1973]. Итальянский писатель. Лауреат премий *Багутта* [1935], *Виареджо* [1953], *Издателей* [1957].

Автор романов *Такая грязная катавасища на виа Мерулана* [*Quer pasticciaccio brutto de via Merulana*, 1957], *Познание страдания* [*La cognizione del dolore*, 1963], *Механика* [*La meccanica*, 1970] и др., памфлета *Эрос и Приап* [*Eros e Priapo*, 1967], сборников рассказов *Мадонна философов* [*La madonna dei filosofi*, 1931], *Новеллы из объятого пламенем Герцогства* [*Novelle dal ducato in fiamme*, 1953], *Рассудительные соития* [*Accoppiamenti giudiziosi*, 1963] и др., сборников эссе *Чудеса Италии* [*Le meraviglie d'Italia*, 1939], *Замок Удине* [*Il castello di Udine*, 1934], *Годы* [*Gli anni*, 1943], *Скитания, смерть* [*I viaggi la morte*, 1958] и др., философской работы *Миланские размышления* [*Meditazione milanese*, посмертно в 1974].
Публикуемые рассказы печатаются по изданиям *Мадонна философов* [*La Madonna dei filosofi*. Garzanti Libri s.p.a., 2002] и *Рассудительные соития* [*Accoppiamenti giudiziosi*. Garzanti Libri s.p.a., 2001].

Ольга Александровна Седакова
Поэт, прозаик, переводчик с немецкого, французского, английского, итальянского, польского, старосла-

Автор поэтических сборников *Ворота, окна, арки* [1986], *Китайское путешествие* [1990], *Стихи* [1994], *Путешествие волхвов* [2001]. В 2010 опубликовано собрание сочинений в 4-х тт. Произведения Седаковой переводились на английский – отдельными изданиями выходили сборники стихов: *The Silk of Time* [1994], *The Wild Rose* [1997], *Poems and Elegies* [2003], немецкий – отдельным из-

вянского, латыни. Лауреат премии имени Андрея Белого [1980], Парижской премии русскому поэту [1991], Пушкинской премии А. Тёпфера [1994], Европейской премии поэзии [Рим, 1995], премий имени Вл. Соловьева [Ватикан, 1998], Александра Солженицина [2003], *Иноли́ттл* [2005], Данте Алигъери [2011], *Мастер* [2011] и др.

данием – путевые заметки *Reise nach Bryansk*, [2000], французский – том прозы *L'éloge de la poesie* [2001] и сборник стихов *Voyage en Chine et les autres poemes* [2004], датский – отдельным изданием – сборник стихов *Kinesik rejse og andre dikte* [2004], иврит – отдельным изданием – сборник *Старые песни* [1997], итальянский, китайский и другие языки.

Опубликованы также ее поэтические переводы из Франциска Ассизского, Р. М. Рильке, П. Целана, П. Клоделя, С. Малларме, Т. С. Элиота, Э. Паунда и др., а также статьи и исследования о русской и европейской поэзии и фольклористике.

Автор монографий *Поэтика обряда* [2004] и Апология разума [2011], словаря *церковнославяно-русские паронимы* [2005] и др.

В *ИЛ* в ее переводе опубликованы стихи Целана, а также заметки переводчика *Пауль Целан* [2005, № 4].

Игорь Юрьевич Клех
[р. 1952]. Прозаик и эссеист. Член Союза российских писателей, Русского ПЕН-центра. Лауреат Пушкинской премии фонда А. Тёпфера [Гамбург, 1993], премии Берлинской академии искусств [1995], премии имени Юрия Казакова за лучший русский рассказ года [2000].

Печатается с конца 80-х годов. В 90-е в журналах *Новый мир*, *Дружба народов*, *Октябрь* публиковались его повести *Хутор во Вселенной*, *Зимания. Герма*, *Диглоссия*, *Крокодилы не видят снов*, *Смерть лесничего*. Автор книг прозы *Инцидент с классиком* [1998], *Книга с множеством окон и дверей* [2002], *Охота на фазана* [2002], *Светопреставление* [2004] и др.

В *ИЛ* опубликованы его эссе *Нисхождение автора* [1999, № 8], рецензия *Освобожденная память* в рубрике *Среди книг* [2006, № 12] и статьи *Вокруг да около Шульца* [2007, № 9] и *Сверхчеловеческое, слишком сверхчеловеческое* [2008, № 3].

Григорий Исаакович Рыскин
[р. 1937]. Поэт, прозаик, эссеист, журналист. Живет в Нью-Йорке.

Автор 12 книг, в том числе *Записки массажиста* [2010], *Газетчик* [2010], *Ксантиппа* и др. В *ИЛ* в рубрике *Путешествие по книге* опубликован его текст *Безумный гений Бобби Фишер* [2012, № 3].

Алексей Петрович Цветков
[р. 1947]. Поэт, прозаик, переводчик. Редактор газеты *Русская жизнь* в Сан-Франциско [1976–1977], редактор и ведущий программ *Седьмой континент* и *Атлантический дневник* на радио *Свобода* в Мюнхене и Праге. Лауреат премии Андрея Белого [2007].

В американском издательстве *Ардис* вышли три книги его стихов: *Сборник пьес для жизни соло* [1978], *Состояние сна* [1981], *Эдем* [1985]. Книги *Стихотворения* [1996], *Дивно молвить* [2001], *Просто голос* [2002], *Шекспир отдыхает* [2006], *Имена любви* [2007], *Ровный ветер* [2008], *Детектор смысла* [2010] изданы в России. Публиковался в *ИЛ* [1993, № 12; 1996, № 1; 2002, № 5; 2004, № 4, 2011, № 3]. Ведущий рубрики *ИЛ В устье Гудзона с Алексеем Цветковым.*

Григорий Геннадиевич Стариковский [р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его записки *По Ирландии* [2008, № 7], *Homeroom* [2009, № 12], *Копенгаген* [2012, № 5], а также переводы стихов Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Канаваха [2006, № 3], Р. Крили [2006, № 4], Э. Берни [2006, № 11], П. Лейна [2006, № 11], М. Ондатже [2006, № 11], Д. Махуна [2007, № 6], П. Малдуна [2007, № 6], Л. Макниса [2007, № 6], Т. Лакса [2007, № 9], Дж. Грэм [2007, № 9], М. Уолтерс [2010, № 7], эссе Ш. Хини [2007, № 6].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света*.

Ольга Юрьевна Панова
Литературовед, переводчик с английского, испанского и французского языков, кандидат филологических наук.

Автор статей и переводов по истории американской, афро-американской и французской литературы, переводчик детской литературы. В *ИЛ* опубликован подготовленный ею Литературный гид *Роман-невидимка Ральфа Элисона* [2013, № 1].

Переводчики

Лариса Александровна Савельева
Филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков, лауреат премии Библиотеки журнала *Иностранная литература* [1997].

В ее переводе публиковались произведения Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича, М. Павича, Г. Петровича, Н. Тодоровича, Н. Фабрио и др., работы сербских и хорватских авторов по истории, социологии и политологии. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Петр Епифанов
[р. 1963]. Историк, прозаик, поэт, переводчик. Родился в Сибири.

Автор двух книг прозы и ряда публикаций в журналах *Знамя*, *Звезда*, *Зинзивер* [СПб.], *Русская провинция* [Тверь] и др. Занимается также исследованием и переводами сочинений французского философа Симоны Вейль [переводы публиковались в журналах *Иностранная литература*, *Континент*, альманахе *Крылья голубиные* и на интернет-сайте simoneweil.ru]. В *ИЛ* в его переводе опубликованы также стихи Д. Унгаретти [2011, № 2] и *Сказка сказок* Д. Базиле [2012, № 8].

Геннадий Николаевич Федоров
[р. 1946]. Переводчик с итальянского языка.

В его переводе опубликован роман М. Сольдати *Америка, первая любовь*. В *ИЛ* в его переводе напечатан роман К. Малапарте *Шкура* [2005, № 5].

RINET
Internet Service Provider

Интернет в квартиры и офисы

- Надежная связь и высокая скорость доступа — волоконно-оптический канал 1 Гбит/с в каждый дом
- Квалифицированное и оперативное обслуживание
- 15-летний опыт работы RiNet — гарантия качества и стабильности сервиса

Москва, 1-й Хвостов пер., д.11А

981-45-71

www.rinet.net

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Ричарда Эстеса [р. 1932] *Парк Роу: вид на Сити Холл* [1992].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко. Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Экспресс-хроника" (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 18.05.2013
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 2770.
Тираж 4800 экз.
Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.oaompk.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

“ИЛ” до конца 2013 года:

В ознаменование столетия со дня рождения АЛЬБЕРА КАМЮ “Иностранная литература” печатает впервые переведенные на русский язык путевые очерки, раннюю эссеистику нобелевского лауреата, классика мировой и французской литературы.

В романе **“Затаив дыхание”** известный современный английский писатель АДАМ ТОРП возвращается к вечной теме литературы и искусства – любви. И рисует эту тему далеко не в радужных тонах.

Рассказы “аргентинца из аргентинцев” ХУЛИО КОРТАСАРА - как всегда парадоксальные, гротескные, полные фантазии.

“Антикоды” – экспериментальная, “типографическая” поэзия ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, политического деятеля, талантливого драматурга и яркого публициста, а также его эссе **“Встреча с Горбачевым”** (о визите “царя-реформатора в губернию, где правят контрреформаторы”).

“Борхес” - дневники БЬОЯ КАСАРЕСА, охватывающие более полувека (1947-1999 гг.), где записи бесед с Борхесом соседствуют с картинками повседневной жизни и с анализом тех или иных поступков великого аргентинского писателя.

Специальный номер **“Голландия: в поисках себя”**, посвященный современной литературе Нидерландов.

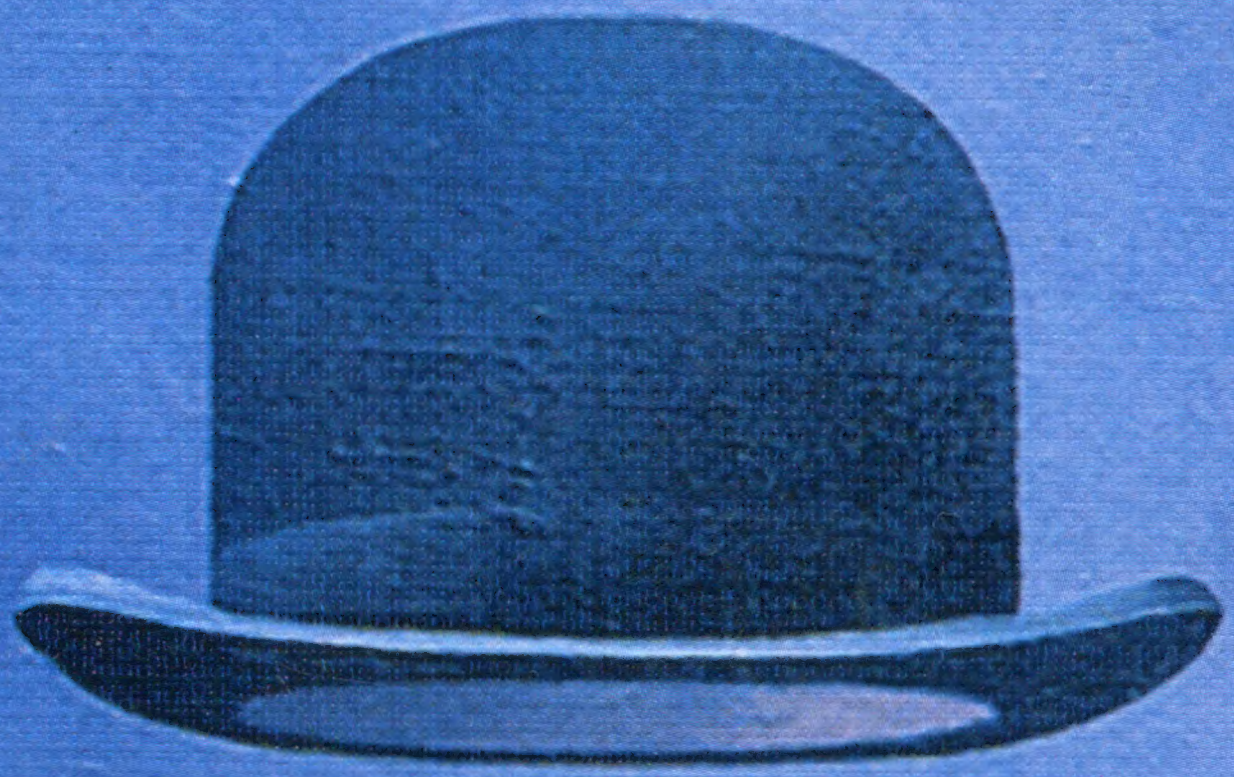
Специальный номер, посвященный швейцарской литературе, куда вошли произведения современных швейцарских писателей на немецком, французском, итальянском и ретороманском языках.

---

[7] 2013

РОМАН АДАМА ТОРПА “ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ” / “БОРХЕС” — ИЗ ДНЕВНИКОВ АДОЛЬФО БЬОЯ КАСАРЕСА / “ГРАНАТ И СОЛОВЕЙ” НАТАЛЬИ МАЛИНОВСКОЙ В РУБРИКЕ “СЛАГАЕМЫЕ ПЕРЕВОДА” / ФРАГМЕНТЫ КНИГИ “ДРИБЛИНГОМ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ. ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-2012” / СТАТЬИ АЛАНА ГАРНЕРА И ВЕРЫ КАЛМЫКОВОЙ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература":
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 12005
9 770130 654770

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2013, №5, 1-288